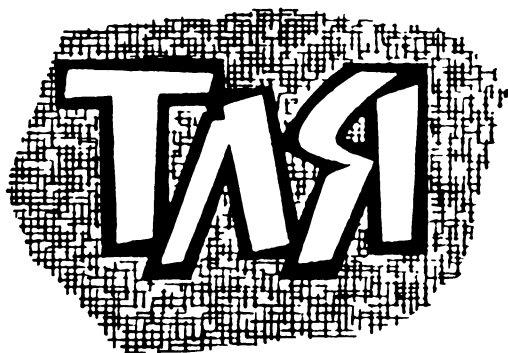


ИВАН ШЕВЦОВ

ТЛЯ



ИВАН ШЕВЦОВ



РОМАН-ПАМФЛЕТ

*Издательство*  
• СОВЕТСКАЯ РОССИЯ •  
*Москва . 1964*

«Тля» — новый роман-памфлет Ивана Шевцова, известного советскому читателю своими острыми книгами «Свет не без добрых людей», «Подвиг богатыря» («Орел смотрит на солнце»), «Семя грядущего», «На краю света». Роман «Тля» посвящен актуальным проблемам нашей сегодняшней жизни, вопросам борьбы на идеологическом фронте против носителей буржуазной идеологии в искусстве. Действие романа происходит главным образом в Москве, в среде художников. В сложных жизненных ситуациях автор показывает острую борьбу между представителями реалистического и формалистического искусства. Роман непосредственно перекликается с недавними решениями июньского Пленума ЦК КПСС. Это боевая, наступательная книга.



## О РОМАНЕ „ТЛЯ“ И ЕГО АВТОРЕ

Темы «Искусство и жизнь», «Художник — народ — время» издавна привлекают внимание писателей. Мировая литература знает не так уж мало книг, посвященных жизни и творчеству художника. Нет нужды их перечислять. Обращались к ней неоднократно и многие крупнейшие русские писатели от Гоголя до Сергеева-Ценского. Тема эта вечна и злободневна, как тема любви или, скажем, мужества, поэтому, мне кажется, интерес к ней и писателей и читателей вполне естествен и закономерен. Конечно, в разные эпохи и времена по-разному ставились вопросы отношения искусства к действительности. По-разному отвечали авторы (писатели) и их герои (художники) на главный вопрос: *что, как и для кого творить?* Наш ответ на этот вопрос ясен, он четко сформулирован великим Лениным: искусство принадлежит народу, оно должно быть понятным широким массам трудящихся и любимо ими.

Советское искусство — искусство социалистического реализма — рождалось, мужало и закалялось в ожесточенных битвах с антинародным, растленным буржуазным искусством, докатившимся до маразма абстракционистов. В среде наших художников были и есть

представители различных взглядов на искусство, в том числе и поклонники буржуазного искусства, сторонники сосуществования в идеологии. Об этом много и убедительно говорилось во время бурных и острых дискуссий, предшествовавших июньскому Пленуму ЦК КПСС. Подвизаются еще в нашем искусстве и просто бездарные шарлатаны, ловкие и бесстыжие дельцы, которые, не имея ничего за душой, метят в гении, пытаются выдать свою худосочную стряпню, свои подделки за подлинные шедевры. Лавры формалистов и абстракционистов буржуазного Запада явно не дают им покоя.

Одним словом, в искусстве идет острая идейная борьба. Отдельные ее моменты и стороны нашли довольно яркое отражение в романе-памфлете Ивана Шевцова «Тля» — произведении остром, актуальном, глубоко партийном.

В том, что Иван Шевцов написал роман о художниках, лично для меня, да и для моих коллег, нет ничего удивительного. Ведь он отлично знает нашу среду, разбирается во всех тонкостях нашего творчества. Мы знаем его статьи о живописи, скульптуре, всегда острые и принципиальные. Его перу принадлежат хорошая книга о Е. Вучетиче, великолепные статьи о П. Корине, Н. Томском. В своем большом романе «Свет не без добрых людей» наряду с другими проблемами И. Шевцов ставит и острые вопросы современного искусства.

«Тля» — роман-памфлет едкий, боевой и гневный. Наверняка он вызовет горячие споры, возможно, и резкие нападки со стороны некоторых искусствоведов и критиков. Что ж, борьба есть борьба, и она правдиво отображена в романе писателем беспокойного, «ершистого» характера, человеком, который сам постоянно находится на переднем крае этой борьбы.

*Действительный член Академии художеств  
А. ЛАКТИОНОВ*

Тля — моль, платяная и иная, также огородная вошь. Тлетворный — вредоносный. Тлетворное поветрие, зараза. Тлеть что, подвергать глению, губить и уничтожать, гнить, истреблять. (Развратом нравы тлятся)

*Толковый словарь Даля*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Нужен голос, громко, как труба, провозглашающий, что без идеи нет искусства, но в то же время еще более того, без живописи, живой и разительной, нет картины, а есть благие намерения, и только.

*И. Крамской*

С кистью и палитрой в руках Владимир ходил по комнате перед мольбертом и тихо насвистывал «Песню индийского гостя». В коридоре зазвонил телефон. Никто из соседей не подходил. «Наверно, во всей квартире нет никого, кроме меня», — с досадой подумал художник и, положив на стол кисть и палитру, подошел к телефону. Звонили из журнала «Советский воин». Сотрудник отдела оформления спрашивал, готовы ли рисунки к рассказу «В разведке». Машков глубоко вздох-

нул в трубку, так, что вздох этот был услышан на другом конце провода, и сказал с досадой:

— Рисунков нет.

— Когда же, Владимир Иванович? — В голосе сотрудника редакции звучало огорчение.

— Никогда. Я не могу иллюстрировать этот фальшивый рассказ. Автор — товарищ Брунин — имеет весьма туманное представление о разведке.

— Ну, что вы, Владимир Иванович! — В голосе явное замешательство. — Рассказ подготовлен к печати. Одобрен редколлегией.

— Разведчики у Брунина, — продолжал Машков, — без труда захватили «языка» и возвращаются тем же путем, каким шли к немцам. Весь конфликт рассказа надуман.

Художник хотел пояснить, что это дело хорошо знает, сам командовал взводом разведки, но, подумав, что это нескромно, умолчал о себе и спросил:

— А где он воевал, этот товарищ Брунин?

— То ли в Алма-Ате, то ли в Ташкенте, — в ответе прозвучала откровенная ирония. — Хорошо, Владимир Иванович, я доложу ваше мнение начальству.

Возвратясь к себе в комнату, Машков отыскал на столе среди газет и бумаг злополучный рассказ, грустно взглянул на слепой машинописный текст. Наверно, это был четвертый или пятый экземпляр. «Правильно ли я поступил? Человек трудился, выдумывал, тратил время, на гонорар рассчитывал, небось уже и в долги залез, и вдруг такой оборот... И, собственно, какое мне дело до содержания. Есть редактор. Он одобрил, он отвечает. Да, но и я не могу иллюстрировать то, что мне не нравится. Пусть эти рисунки делает кто-нибудь другой», — сердито решил он и снова взялся за палитру.

На мольберте — портрет паренька с большими цепкими и в то же время восторженно-удивленными глазами. «Такие глаза были и у меня в детстве», — вспомнил художник. Он взглянул в зеркало на свое строгое, оттененное давним загаром лицо с покатым лбом и крутой волной темно-русых волос. «Парень в расцвете лет, — с грустной иронией подумал он о себе. — А юность-то ускользнула..»

Солнце заливало комнату. Машков подошел к окну,

стал прислушиваться к гомону ранней весны. Капели звонко барабанили о ржавую жесть подоконника. В водосточных трубах громыхал падающий лед.

Художник вздохнул, вернулся к мольберту, убрал портрет подростка и на его место поставил картину. Взглянул на нее и поморщился. Непроданная картина напомнила ему о том, что нужно где-то доставать деньги и срочно платить старый долг... Он снял с себя рабочий халат и, засунув руки в карманы просторного серого пиджака, задумчиво зашагал по комнате.

Раздался звонок. Машков вышел в длинный узкий коридор и открыл дверь. На пороге стоял невысокий плотный майор в серой поношенной шинели.

— Гостей принимаешь? — густым голосом спросил майор, весело и хитровато уставившись на Машкова черными глазами.

— Аркадий Николаевич! — Машков порывисто обнял майора.

— Не ждал? — улыбнулся тот, снимая шинель. Он уселся в кресло и окинул художника долгим оценивающим взглядом.

— Признаться, не ждал, хотя часто вспоминал тебя. Сверлящие глаза майора все еще изучали художника.

— Первый раз вижу тебя в штатском. Пожалуй, вот так, на улице, узнал бы не сразу.

Гость осмотрелся. Машковы занимали две комнаты коммунальной квартиры, в которой жили три семьи. В одной — тесной и темной — была спальня Валентины Ивановны, матери художника, формовщицы, в другой — большой и светлой, с высоким потолком и балконом — обитал Владимир.

Комната обставлена скромно. Посредине — круглый стол, покрытый скатертью. У окна — другой стол, письменный, заваленный книгами, бумагами, репродукциями, альбомами, красками. Это было единственное место в квартире, где дозволялся такой беспорядок. Диван, покрытый стареньким ковром, прильнул к стене, увешанной этюдами, портретами, фотографиями.

— Значит, здесь, в этой обители, ты ешь, спишь и творишь свои шедевры?

Машков молча кивнул и продолжал хлопотать у круглого стола, гремя тарелками и чайными чашками.



Аркадий Николаевич Волгин рассматривал стоящую на мольберте картину.

— Хорошо схватил! — Аркадий Николаевич поднял быстрые глаза на Владимира и с довольным видом облизал сухие губы.

На холсте небольшого размера выписана светлая комната, похожая на мастерскую художника. И окно с балконом, и голубые плюшевые гардины. Даже обои те же — светло-оранжевые, мягкие, без крика. Обстановка только другая. В одном углу — пышная ветвистая пальма, в другом — письменный стол с красным сукном, за ним — пожилая седоволосая женщина с лицом не столько строгим, сколько озабоченным. Напротив нее в глубоких кожаных креслах сидят юноша и девушка. Они, видно, волнуются. На лице юноши пылает румянец. Он сидит в профиль к зрителю, выражение глаз его можно читать по дрожащим длинным ресницам, беспокойные губы выдают волнение. В руках девушки живые цветы.. А за окном мороз. Пушистый снег легким валиком лежит на перилах балкона. Он не тает на солнце, а лишь сверкает веселыми блестками. На столе перед пожилой женщиной — незаполненный бланк, в ее руке застыло перо. Еще минута, и в жизни двух молодых людей свершится нечто очень важное, быть может, самое важное, и кажется, что женщина с сединой в волосах спрашивает: «А вы хорошо подумали?»

Картина называлась «В загсе».

Волгин долго, внимательно всматривался в нее. Он хотел понять, что задело сокровенные струны его души, то самое, что не постигается сразу. «Хорошо» — это оценка, которую он мысленно дал понравившейся ему картине. Теперь он искал для себя самого ответа: чем именно понравилась? Тем, что он слишком хорошо понимал и чувствовал состояние всех троих ее героев? А потом — эти контрасты! Мороз и солнце.

Юная смущенная девушка, еще не знающая, что такое жизнь, семья, супружеское счастье, и рядом — женщина с жизненным опытом. Волгин внимательно всмотрелся в ее лицо, в глаза, устремленные на девушку, и нашел в них отражение каких-то глубоких чувств, точно женщина эта была одновременно учительницей, судьей и матерью.

— Ловко схватил! — повторил Аркадий Николаевич. — Или, может, себя изобразил?

Владимир уклонился от ответа.

— Вчера на художественном совете забраковали, — мрачно сообщил он и двумя руками отбросил назад рассыпающиеся волосы. — Предложили «доделать». А у меня на нее договор.

— Доделать? — переспросил Волгин. — А что доделать?

— Вот этого-то я и не знаю, — с грустной усмешкой сознался художник.

— Худо. Значит, работал-работал, и все впустую. Так я понимаю?

Владимир через силу улыбнулся.

— Выходит, так У художников это случается..

— Гм... — Волгин нахмурился — А как думаешь дальше жить?

— Дальше? — задумчиво переспросил Владимир. — В студию военных художников приглашают..

— Ты согласился? — перебил его Волгин

— Работа там интересная, но.. Посоветуй, Аркадий. А может, не идти мне в студию? Тематика у них ограниченная. Там надо быть баталистом

Аркадий Николаевич прошелся по комнате, глухо покашлял.

— Как же тут советовать, друг? Тебе видней. Справишься — иди, сомневаешься — подумай.

— Выходит, опять погоны. Ты снимаешь их, а я должен надеть?

— Кому что — Волгин передернул плечами и, должно быть, отводя скрытый упрек Владимира, добавил: — Солдаты возвращаются домой не отдыхать. Ведь дел-то у нас.. — Он остановился, сощурил глаза, словно для того, чтобы мысленно представить, как много дел впереди, и сжал жилистую руку в крепкий кулак. — Руки чешутся по работе. Вот эту нынешнюю мирную жизнь и показать бы

Владимир легко поднялся, достал из-за ширмы портрет подростка, прислонил его к стойке мольберта, спросил:

— Не узнаешь?

Аркадий Николаевич с минуту смотрел напряженно и наконец сознался:

— Не узнаю.

— Коля Ильин!

— Сын Никиты?! — вскочил Волгин с дивана и словно перед начальством поправил военную гимнастерку. — Я ведь его не видел. Похож на отца. Видать, такой же упрямец, с характером. Учится?

— Работает. Токарь. И учится в вечерней школе.

Помолчали. Должно быть, оба вспомнили Никиту Ильина, человека озорного и упрямого характера. В бою он вел себя бесстрашно, а в дни затишья озорывал. Однажды он стоял в боевом охранении вдвоем с солдатом, который по возрасту годился ему в сыновья. Линия фронта проходила по берегу неглубокой реки, разрезавшей районный городишко на две неравные части. По одну сторону реки — немцы, по другую — советские войска. Фронт был неподвижен, изредка велась ленивая перестрелка. Никита слышал доносившуюся из-за реки чужую речь. «Расположились как дома, совсем обнаглели», — злился Никита. Река, изредка освещаемая тревожными вспышками ракет, монотонно шумела в ночи. Никита вплотную приблизился к своему напарнику и шепнул ему в самое ухо:

— Ты гляди тут в оба. А я пойду немчуру потревожу.

Ильин скрылся в темноте. Река по-прежнему тихо плескалась и все так же слышалась чужая речь на том берегу. Вдруг где-то совсем близко раздался один за другим три взрыва, и сразу же торопливо затрещал автомат. В небо взлетели десятки ракет, поднялась безалаберная, суматошная стрельба, похожая на лай потревоженных собак. Через четверть часа все улеглось. Никита вернулся на пост возбужденный, довольный. Шепотом он сказал напарнику:

— Фрицев человек десять скапутилось!..

За самовольный уход с поста и самочинные действия Ильину грозила штрафная рота. Узнав об этом, пропагандист полка Аркадий Волгин разыскал Никиту и долго беседовал с ним.

— Ты что же, подвига ищешь?

— Нет, товарищ капитан. На войне подвига искать нечего, он у каждого солдата за поясом. — Никита потрогал гранату. — Зло меня берет: немцы у нас под самым носом разгуливают...

Ему хотелось большого, горячего дела. Рассказывая о нем командиру полка, Волгин умолял:

— В последний раз простите Ильина. Лучше переведите его в разведвзвод к Машкову. Там он будет на месте. Я ручаюсь за него.

— Машков только и ждет твоего Никиту, — усмехнулся подполковник. — В разведке больше, чем где-либо, нужны дисциплинированные солдаты! — бросил он, однако вызвал Машкова, спросил: — Как ты, Владимир Иванович, возьмешь к себе Ильина?

Владимир пытливо взглянул на Волгина и твердо ответил:

— Возьму.

Никита Ильин подружился с Машковым, открывал ему душу, отличался в хитрых, рискованных операциях. Спустя некоторое время Ильина приняли в партию, присвоили ему звание сержанта. Он стал верным помощником Машкова. В октябре сорок четвертого года Ильин был тяжело ранен. Умирая на руках Владимира, Никита прошептал:

— Коле моему накажите пусть в строители идет..

Когда Машков вернулся после войны домой, Коля Ильин уже окончил школу ФЗО и работал на заводе токарем. Владимир передал ему последний наказ отца. Паренек очень растрогался, но профессию менять не стал.

— Папа хотел, чтобы я стал рабочим. Так и говорил бывало: «Коля, учись на рабочего!»

Таким этот подросток и изображен на портрете.

...Владимир открыл бутылку сухого вина. Выпили за встречу, и начались взаимные расспросы. Они ведь расстались давно, и теперь им было о чем поговорить

— Вот и я уволился в запас. Еду на родную Смоленщину, — закончил Волгин свой рассказ и снова посмотрел на картину. — Сознайся, Владимир Иванович, тут что-то есть и твое, пережитое...

Владимир улыбнулся:

— Говорят, во всех произведениях есть что-то автобиографичное.

— Вывернулся! Значит, не доверяешь? — с обидой сказал Волгин.

— Что ты, Аркаша! У нас никогда не было тайн

друг от друга Просто это очень сложно, и для меня самого не совсем ясно.

— «Сложно», «неясно»... Так думают все влюбленные Должно быть, оттого, что о любви нельзя говорить шутя И ты это очень хорошо выразил в картине.

В коридоре опять позвонили, и через минуту в комнату с шумом ворвалась ватага молодых художников. Владимир, знакомя Аркадия Николаевича с друзьями, давал им шутливые характеристики.

Первым был представлен высокий франтоватый юноша с темной пышной шевелюрой, упитанным лицом и пухленькими, как у девушки, губами:

— Борис Юлин! Новая и самая яркая звезда на нашем далеко не живописном небосклоне.

Юлин галантно раскланялся.

— Яша Канцель. Скульптор-работяга. Всем коллективом преклоняемся перед его трудолюбием и, разумеется, талантом

Худенький юноша с бледным усталым лицом, украшенным ниточкой черных усов, смущенно подал руку майору и тотчас же спрятался за широкую спину художника, о котором Владимир говорил в это время

— Павел Окунев! Гениальный пейзажист и иконописец, законченный лентяй и беспартийный индивидуалист На днях женится на дочери полковника, которую охмурил своими талантливыми натюрмортами.

Ощущая крепкое рукопожатие кареглазого детины, Волгин подумал: «Такой медведя голыми руками задушит». А Владимир уже представлял задумчивого блондина с капитанскими погонами

— Петя Еременко! Внук Верещагина и сын Грекова, главная надежда нашей батальной живописи А это Карен Вартамян, певец солнечной Армении, лирик, романтик, комсомолец, холостяк. Этикетки на винах треста «Арагат» — тоже его работа

Пока шла эта балагурная церемония представлений, художники рассаживались кто где мог.

— Кончил паясничать?— дружелюбно пробасил Окунев. Не находя себе места, он, как туча, двигался возле мольберта, заслоняя собой всю картину. — Теперь докладывай, за что «зарезали»

Владимир понял им все известно о провале картины

на художественном совете. «Пришли соболезнавать», — мелькнула досадная мысль. И он помрачнел.

— Да так .. Считай, ни за что.

— Ну, а все-таки? — не отступал Окунев.

— Одному снег на балконе не понравился, другому — пальма. Слишком, говорят, детально выписано. У молодоженов выражение на лицах неопределенное... Винокуров подвел итог. Во-первых, он спросил, женат ли я, и когда узнал, что не женат, заключил: «Теперь понятно неясное решение образов новобрачных. Автору незнакомы чувства его героев ..»

Все рассмеялись, а Окунев выругался:

— Дурак!

— Кто? — спросил Юлин.

— Твой приятель Винокуров!

Посыпались безобидные шутки:

— Винокуров прав: жениться надо Володьке!

— Хоть бы временно, чтобы прочувствовать состояние молодожена.

— Вот Паша женится, я на его свадьбе и понаблюдаю, — отшутился Владимир.

Окунев вернул разговор в прежнее русло:

— А еще какие замечания были?

— Никаких. Винокуров обобщил: мол, и снег на балконе, и пальма, и вообще натурализм...

— А что понимает Винокуров в искусстве? — с жаром заговорил Яша Канцель. — Для него эта область непостижима!

— Ты, Яша, ему это скажи, — мрачно пошутил Окунев.

— А что? И скажу! — вскипел Яша.

— Нам от этого не станет легче, — грустно выговорил Еременко, разглядывая свои грязные сапоги. — Хорошую картину провалил. А твой патрон Пчелкин был на совете?

Владимир пожал плечами.

— К сожалению, Николай Николаевич не был

— Твой Николай Николаевич умеет отсутствовать тогда, когда он нужен, — проворчал Окунев. — А вообще ничего страшного не произошло. Ну и черт с ними. Убери снег, сделай пальму немного помягче и снова представь. Пройдет.

— Все это не так просто, Паша. — Владимир вски-

нул голову и выпрямился.— Дело не в снеге и не в пальме. Мне непонятно, почему я должен убирать этот снег, почему хорошо выписанная деталь считается натурализмом? Если так, тогда и Федотов, и Перов, и Федор Васильев, и Шишкин — все натуралисты!

— Не горячись, Володька,— дружелюбно остановил его Юлин.— Ты пока не Федотов и не Перов..

Владимир с прежней горячностью перебил его:

— Погоди...

— Нет, ты погоди! — вскричал Юлин.— Сегодня нельзя писать так, как писали, скажем, Иванов и Брюллов — И, как бы усовестившись громкого голоса, заговорил рассудительно:— Сто с лишним лет отделяют нас. За этот срок можно же было научиться чему-нибудь новому... За сто лет успели родиться и умереть Серов и Врубель, Нестеров и Коровин... Фальк и Штернберг...

— футуристы, кубисты, импрессионисты, конструктивисты,— продолжил ему в тон Владимир.— И не везде они умерли. Кое-где еще здравствуют.

Юлин поморщился и махнул рукой. Он не считал нужным продолжать этот спор, возникавший не впервые. Он лишь снисходительно вздохнул, будто говоря: «Трудно нам прийти к общему знаменателю».

— Из-за чего буря? — вступил в разговор Вартамян.— Пусть каждый пишет своим почерком.

— Ну, а если у кого почерк неразборчивый? — усмешливо спросил Еременко.— Тогда как?

— Да, тогда как? — подхватил Павел.

В ответ Борис снисходительно улыбнулся:

— Оставим эту софистику до другого случая. Предлагаю перенести наш спор на собрание московских художников, которое, как вам известно, состоится сегодня... через два часа.

Спор, однако, продолжался, хотя Борису Юлину и не хотелось влезать в дискуссию с друзьями. Они не признавали так называемой новой живописи, которая господствовала на Западе, а он называл передвижников устаревшими. Борис считал, что живопись, как и всякое другое искусство, должна поражать зрителя чем-то необыкновенным. Эту мысль ему внушали с детства в семье, в том изысканном кругу, в котором он рос и воспитывался. В этом кругу говорили с обожанием

о деньгах и об искусстве. Отец Бориса, Марк Викторович Юлин, никакими талантами не обладал, работал всю жизнь по торговой части, в последнее время — директором мебельного магазина, но был близко знаком с известными и малоизвестными искусствоведами, критиками, поэтами, режиссерами, художниками, музыкантами, журналистами Юлин-старший был искренне убежден в том, что главное в искусстве — необыкновенная форма, она ведет художника к шумному преуспеванию и богатству.

— Ты вот что, философ необыкновенной формы, — положив свою могучую руку на округлое плечо Бориса, добродушно пробасил ему на ухо Павел, — чем спорить, выкладывай-ка лучше денежки. Надо выручать Володьку.

Борис поморщился. Он хотёл это сделать сам, без подсказки, а Окунев испортил впечатление. Еще вчера, узнав, что картину Машкова «завалили» на художественном совете, он решил выручить Владимира, предложить ему займы тысячи две.

— Да, Володька, — сказал он теперь, как бы вспомнив забытое, — я вчера получил за натюрморт и могу одолжить тебе... — И, не ожидая ответа, вытащил пачку новеньких денег.

«Откуда он узнал о моей нужде? — растроганно подумал Владимир. — Ах, да, я, кажется, Павлу говорил...» И, прочувствованно оглядев товарищей, сказал вполголоса:

— Спасибо, ребята.

— Ребята тут ни при чем, — буркнул Павел. — Бориса благодарю.

Карен, опережая Машкова, вскочил с подоконника и, дурашливо кривляясь, пожал Юлину руку:

— Молодец, Боря! Ты наш предоподлинный и пренстоящий денежный друг!

— Хватит дурачиться, — одернул Павел Карена. — Нам всерьез не мешало бы поговорить, что делать.

— Что делать? — не сбавляя веселого тона переспросил Карен. — Работать надо, к весенней выставке готовиться, натюрморты писать, поскольку в них — хлеб наш насущный.

Его шутливость друзья не поддержали. Разговор о весенней выставке сделал их озабоченными.



— Ты что, Володя, думаешь дать на весеннюю? — спросил Еременко.

— Еще не решил. Наверно, вот этого паренька — Он поставил на мольберт портрет Коли Ильина — Да вот не знаю, успею ли закончить.

— А чего здесь еще заканчивать? — Яша Канцель удивленно развел руками. — Чудесный портрет!

— В этом деле Володя мастак, — сказал Павел, и все с ним согласились. Портреты у Машкова получались живые, глубокие

— Везет ему, — позавидовал Юлин, глядя на портрет. — Умеет найти интересную натуру. А я вот все на позеров нарываюсь

Павел посмотрел на пустую бутылку и сказал:

— Карен, ты бы позаботился

Карен вышел и вскоре вернулся с бутылкой шампанского. Закусывали черным хлебом с горчицей и дешевыми конфетами, шутили.

— Такой пир мог быть только у Рембрандта!

— Или у нас на фронте! — воскликнул Владимир.

Аркадий Николаевич подхватил:

— А помнишь, Володя, как под Волковыском перед атакой наши солдаты о любви и ненависти говорили?

— Помню .

Борис перебил, усмехаясь:

— Небось все говорили одно и то же. любят Родину, ненавидят фашистов

Владимир, не замечая его усмешки, воодушевился.

— О, это надо было слышать собственными ушами! И не так-то просто сказать об этом. Вот, скажем, ты, Петя, кого любишь, что ненавидишь?

Скромный и стеснительный Еременко ответил, не поднимая головы:

— Больше всего люблю детей и ненавижу войну...

— А ты, Борис?

— Я беззаветно люблю искусство и ненавижу дураков, — с апломбом выпалил Юлин

Яша сказал, что он любит правду и ненавидит управдома. А Окунев высказался так:

— Русскую широкую песню люблю! И ненавижу сынков-лоботрясов, потребителей коктейлей и обитателей прочих холлов Ну, а сам-то, Володя, что любишь?

Тот сказал, не задумываясь:

— Обожаю Москву и ненавижу паразитов!

— А я люблю — Карен сделал мечтательное лицо, засветил глазами, — весеннее утро, когда сады цветут и пчелы звенят... Ах, какой аромат! И розовые краски на вершинах гор, и голубое небо, и журчанье ручьев

— Ну, поехал, теперь не остановишь, — перебил Павел. — Говори, что ненавидишь?

— Ну, а это уже совсем просто: ненавижу худсовет.

— Плохая шутка, — мрачно сказал Владимир. — В художественном совете есть и умные, честные люди, такие, как Николай Николаевич

— Он не в счет, — уточнил Карен

— А знаете, как бы ответил на наш вопрос тот же Николай Николаевич? — хитро сощурившись, спросил Окунев и, подражая Пчелкину, проговорил: «Люблю деньги и ненавижу тещу».

— Вот узнает, он покажет тебе вместо тещи кузькину мать! — пошутил Карен. — В бригаду не возьмет

— Это меня-то? Шалишь! Пчелкин человек неглупый, от меня не откажется.

В парадном уже дважды звонили, но никто не слышал. Теперь постучали в дверь, и в комнату со словами: «Можно к вам?» — ввалилась дама в каракулевом манти. С любопытством взглянув на компанию, она сказала:

— Я к художнику Машкову, — и когда Владимир назвал, театральным движением подала ему теплую мягкую руку. Остальным она коротко кивнула и, не дожидаясь приглашения, втиснулась в кресло, но потом, должно быть сообразив, что за столом ей будет неудобно, пересела на диван

Неожиданный приход самоуверенной незнакомки вызвал веселое недоумение присутствующих, но дама не обратила на это внимания и сейчас же принялась рассматривать портрет Коли. Потом протяжно воскликнула:

— Великолепно! Какой милый мальчик! Только уж очень сердитый. Ишь, какой серьезный! — Она кокетливо складывала ярко накрашенные пухлые губы, словно дразнила портрет. Потом бодро подняла голову и, обращаясь к Машкову, заговорила по-деловому:

— Мне рекомендовал вас Николай Николаевич. Он о вас высокого мнения. Говорит, что вы — великолепный портретист! Мне бы очень хотелось заказать вам мой портрет и портрет моей дочери Ирины.

— Вам обязательно хочется живописные портреты? — сдерживая себя, тихо спросил Владимир. — А может, желаете бюсты? — И, повернувшись к Канцелю, добавил: — Принимай, Яша, заказ: два бюста из белого мрамора. Деньги, разумеется, вперед.

Дама опешила. Испытующе глядя на художников, она пыталась угадать: шутят они или говорят всерьез.

— А это не слишком дорого будет, в белом мраморе? — спросила она нерешительно.

— По десяти тысяч за голову, — ответил за смущенного Канцеля Окунев.

Пока дама в уме прикидывала свои возможности, Борис Юлин предложил:

— А натюрморт у меня не купите?

— Нет, — категорически отрезала дама. — Мы хотим портреты

— Я частных заказов не принимаю, — уже совершенно серьезно ответил Владимир.

— Но ведь вас рекомендовал мне Николай Николаевич! — забеспокоилась дама в каракулях. Взгляд ее снова зацепился за портрет Коли Ильина. — Этого мальчика вы рисовали?

— Я. Этого мальчика я хорошо знаю.

Она не так его поняла:

— Но меня же Николай Николаевич Пчелкин знает! Он мне вас рекомендовал. Вы можете ему верить?

— Могу. Но личных заказов не принимаю. Пусть Пчелкин напишет ваш портрет, раз он хорошо вас знает, а я не могу, не имею права, — растолковывал Владимир. — Фотограф — другое дело... А художник не может писать человека, которого не знает. Вместо портрета у меня может получиться цветная фотография.

— Я вас не понимаю, — обидчиво протянула дама и скривила губы. — Кто же я, по-вашему, есть? Самозванка какая-нибудь? Я честная женщина, у меня муж в министерстве..

— Охотно верю,— учтиво перебил ее Владимир.— Но вы меня не поняли. Этот мальчик — герой труда, талант.

— У меня муж тоже ..

— Но то муж, а вы хотите иметь свой портрет и портрет дочери, не так ли?

Оскорбившись, дама решительно встала и направилась к двери. Борис кинулся за ней. На пороге она обернулась и бросила с негодованием:

— Строят из себя! Таланты тоже!

— Вы не обращайте внимания на его слова,— успокаивал ее Борис.— Он сегодня не в духе: от него, видите ли, невеста ушла. А с портретами я улажу. Оставьте мне свой телефончик.

В комнате остался резкий запах духов.

— Черт ее принес,— оправдывался Владимир.— А Боря все-таки ее напишет. И дочку

— А что! — воскликнул Карен — Небось богатая невеста!

Шумно вошел Борис, заговорил с ходу:

— Нельзя так грубо, Володька! Что же здесь такого? Человек хочет иметь свой портрет. Это же естественно! Надо радоваться, что народ тянется к искусству.

— «Народ»! Да разве это народ? — гневно спросил Владимир.— Народ работает, а эта с жиру бесится. Удружил Николай Николаевич. Взял бы да сам написал. Недавно и поп приходил, тоже с заказом. Говорю ему: «Извините, батюшка, не могу, морального права не имею быть богомазом, я неверующий». А он смеется: «Это,— говорит,— неважно, сын мой». Насилу выпроводил

— Найдет другого,— заверил Окунев

Борис истолковал эти слова как скрытый упрек себе и Пчелкину и сказал неодобрительно:

— Николай Николаевич от чистого сердца хотел помочь Володьке — И, повернувшись к Машкову, добавил:— Что тебе стоило — два портрета? По два сеанса. Не так уж плохо

— Брось, Боря! — горячо возразил Владимир, и все заметили произошедшую в нем перемену.

«Сейчас нам всем достанется», — весело и добродушно подумал Павел, глядя на пустую бутылку. Он лю-

бил Владимира, когда тот, будучи чуть-чуть навеселе, говорил откровенно и страстно.

— Кто мы и что?— продолжал Владимир, все более воодушевляясь.— Так себе, замеченные, но непризнанные. С нами можно обращаться как угодно: требовать убирать кому-то не понравившийся снег, переписывать нос, который кому-то показался недостаточно длинным. До каких пор на нас будут смотреть свысока, как на желторотых?

— До тех пор, пока мы не создадим что-нибудь действительно новое,— ответил Борис.

— Что значит «новое» — на лету перехватил его слова Канцель.— Голову на отсечение даю: ни преуспевающему Пчелкину — я люблю Николая Николаевича, — ни маститому и прославленному Барселонскому — я глубоко уважаю Льва Михайловича — в жизни не написать такое — Он с необыкновенной быстротой вытащил из-за шкафа картину «В загсе» и поставил ее у мольберта.

— В наши годы, Яша, Федор Васильев успел прославиться и умереть. Айвазовский гремел на весь мир, Репин в двадцать девять лет написал своих «Бурлаков», — спокойно и внушительно урезонивал Канцеля Юлин.

— Ну и что же? — с мрачной усмешкой спросил Павел.— Наш Пчелкин тоже гремит, и уже давно...

Борис Юлин опять уклонился от спора, и разговор снова вернулся в спокойное русло. После вина говорили все сразу — шутили, смеялись и пели. Подделываясь под Шаляпина, Павел дважды начинал «Дубинушку» и оба раза обрывал на середине, многозначительно поясняя:

— Першит в горле, до нормы не дотянул...

— Дотянешь когда-нибудь, — утешил его Карен.

— Пётро, ты на Волгу едешь? — спросил Машков Еременку.

— Ага, — отозвался тот — Месяца на два.

— Каренчик, идем в артель к Пчелкину, — предложил Павел.

— А что мне там делать? Кисти чистить?

— Писать будешь, чудак. Только бросишь свою восточно-декоративную манеру. В пейзаже, может, оно и красиво, а в жанровой картине пестро,

— Нет, Паша, от своего хвоста никуда не уйдешь,— вздохнув, сказал Карен — Я люблю яркое, сочное, а ты любишь другое. Каждый своей дорогой идет Один в колхоз, другой на Волгу, а я в Ленкорань еду.

Вспомнив, что нужно спешить на собрание, друзья встали из-за стола У Аркадия Волгина оставалось еще часа три свободного времени, и он сказал, что не прочь бы посмотреть и послушать маститых художников. Друзья пригласили его с собой и шумно вышли на улицу

Асфальт был мокрый и грязный, в воздухе чувствовался запах ранней весны Солнце за тонкой пеленой облаков казалось желтком, но грело ошутимо

На Кузнецком мосту в здании с большим длинным залом под стеклянной крышей, где должно было состояться собрание художников, открылась персональная выставка академика живописи Тестова. Друзья ввалились в зал ватагой, а там разбрелись кто куда. Владимир и Аркадий молча переходили от полотна к полотну с видом полного равнодушия картины Тестова их не волновали.

Вдруг Владимир оживился По его глазам и взгляду Волгин понял причину оживления друга: это была высокая девушка в зеленом шерстяном костюме строгого покроя, с университетским значком и броскими сережками в маленьких ушах

Не оборачиваясь, Владимир тронул Аркадия за локоть, подвел к девушке и, краснея, стал знакомить. Девушка нехотя протянула руку в зеленой сетчатой перчатке и, сказав с подчеркнутой отчетливостью: «Люся Лебедева», сразу же отошла в сторону.

— Она? — вполголоса спросил Аркадий.

Владимир кивнул.

— Актриса?

— Искусствовед Художественный редактор издательства «Искусство»

Волгин рассматривал картины Тестова с недоумением Они не возбуждали никаких чувств и мыслей, кроме удивления: зачем все это? «Может, я ничего в этом деле не смыслю?»— подумал он и стал прислушиваться к разговору посетителей Маленький лысый человек в коричневом костюме и старомодных лакированных туфлях говорил, обращаясь к высокому седому мужчине:

— И все-таки интересный, оригинальный талант, большой талант! — При этом он энергично жестикулировал и почему-то беспокойно оглядывался по сторонам. — Это настоящее искусство!

— Эффектно, но.. плоско,— сказал другой.

— Напрасно вы так. Есть благие порывы, динамика — неуверенно возражал ему третий голос.

— Кисть плохая. Этот резкий колорит создает настроение. Тени несколько тяжелые, но сочные. Ей-богу, хороши.

— Что вы! Да он совсем не владеет красками. Холодный, какой-то мертвый тон. Вон посмотрите у девушки розовые глаза и лиловые щеки. Не живопись, а мазня на каком-то чахоточном фоне. И главное — мысли нет. Ни мысли, ни чувства.

— Да что вы в самом деле! Какие еще вам мысли! Это же картина, а не философский трактат. Дидактика — область политического плаката и карикатуры.

— Но ведь передвижники.

— Что «передвижники»? Пройденный этап! Так писать теперь нельзя. Живопись Крамского представляет теперь только исторический интерес. Это вчерашний день искусства.

Лебедева оказалась рядом с Владимиром.

— Какая прелесть! — восторженно заговорила она, кивая на зимний пейзаж под названием «Ворона».

На переднем плане у заснеженного хутора черным пятном сидела та, именем которой называлась картина, и чистила клюв.

— Ничего особенного,— отвечал равнодушно Владимир.

— Это вы от зависти,— усмехнулась Люся.— Вам так не написать — И отошла к другой картине.

— Такое я не собираюсь писать.

— Нет, вы обратите внимание на этот букет. Вот отсюда. Станьте сюда! — командовала она.— Правда, хорошо? Особенно сирень. Даже запах чувствуется. Правда? — Она слегка повела носом, будто действительно ловила воображаемый запах сирени.

— Запах действительно чувствуется. Запах хороших духов,— улыбнулся Владимир, скосив глаза на Люсю.

Лебедева наигранно фыркнула, скривив уголок обильно накрашенных губ, повела тонкими бровями и

отошла в сторону Владимир и Аркадий пошли за ней и остановились у небольшого холста, на котором выписан ледяной каток, весь изрезанный синими следами коньков. Следы похожи на обледенелые сучья дерева. Посредине пруда изображены крошечные фигурки людей в розовых, синих, коричневых и лиловых спортивных костюмах. У картины уже стояли пожилая толстая дама и мужчина с ребенком на руках.

— А вот каток, это Сокольники,— быстро пояснила Лебедева.— Правда, неплохо? — спросила она Аркадия. Тот не ответил, только пошевелил бровями.

Мальчик, обняв одной ручонкой отца, а другой указывая на картину, воскликнул.

— Папа, смотри, какие хорошенькие птички! Синенькие...

Это касалось конькобежцев в пестрых костюмах.

— Действительно,— улыбнулся Владимир.

— А правда, похожи на птичек,— негромко сказал скупой на слова Аркадий и посмотрел в глаза Лебедевой, как бы отвечая на ее вопрос.

— Вам не нравится? — с удивлением спросила Лебедева.

— Видите ли, я не знаток,— с сожалением начал Аркадий, подбирая выражения — Я рядовой зритель, и мое мнение слишком субъективно. Откровенно говоря, мне не нравится.

Лебедева рассердилась и начала говорить колкости, но не Волгину, а Машкову. Тот добродушно молчал: дескать, давай, давай, стерплю.

— Вы хотите всех причесать под одну гребенку, под репинскую,— с притворной строгостью говорила девушка — А если человек под Репина не может, а под Сурикова не хочет? Если по-своему пишет, что тогда? — И без всякого перехода обратилась к Волгину: — Давайте посидим. А Владимир Иванович пусть походит один.

Люся опустила в мягкое кресло, обитое красным бархатом Аркадий не стал возражать, сел рядом. Лебедева тотчас начала убеждать его, какой замечательный, оригинальный художник Тестов, Волгин слушал с большим вниманием и думал: «Колючая! Такую нужно укрощать, но это не в характере Владимира».

Люся не была красавицей, но каштановые вьющиеся локоны, правильные черты лица, чуточку бледнова-



тая кожа, энергичный подбородок, большие с прозеленью глаза, смотрившие настороженно и вызывающе, делали ее интересной. Аркадий обратил внимание и на ее голос, которым она охотно поучала,—голос чистый и нежный и в то же время самоуверенный, дерзкий.

К Владимиру подошел Еременко.

— Ну как? — спросил его Машков о выставке.

— Холста сколько пошло на эти окорока и лягавых собак... Для витрин продовольственных магазинов лучшей рекламы не найти.

— Пощади старика,— в шутку попросил Владимир.

— Старики разные бывают. Вон Верещагин. Писал под огнем врага, жил со своими героями и погиб, как воин. А тут,— он окинул взглядом выставку,— жизни настоящей нет. Да Тестов ее не знает...

Люся слышала этот разговор и, когда Еременко отошел, сказала насмешливо:

— Ваш Еременко самоуверенный, как гений.

— Гении и должны быть самоуверенными,— ответил Владимир, повернувшись к Люсе, и добавил с явным намеком. — Хуже, когда посредственность воображает себя гением.

— Чего-чего, а воображения у вашего капитана больше чем надо,— не поняв намека, отозвалась Люся. Ей всегда хотелось возражать Владимиру. С ним она спорила даже и тогда, когда явно была неправа и сама это знала.

Раздался звонок, все стали усаживаться. На сцене за длинным столом появился президиум. Аркадий то и дело спрашивал Владимира: который Герасимов? Где Иогансон? Присутствует ли Вучетич? Владимир отвечал рассеянно: он искал глазами внезапно упорхнувшую Люсю.

— А вон тот седовласый, что справа в первом ряду, кто такой?

— Там два седовласых: тот, что поменьше,— Богородский,— вполголоса отвечал Владимир. — Помнишь «Слава павшим»? А второй, тот, что с гривой,— Барселонский.

Так вот он какой, Лев Барселонский! Его карикатуры, печатавшиеся в центральных газетах, и военные плакаты пользовались большой известностью. «Держится величаво и независимо,— отметил про себя Аркадий.—

Этот себе цену знает!» Только вид его, подчеркнуто равнодушный ко всему окружающему, не понравился Аркадию Он спросил

— Сколько ему лет?

— Точно не знаю. То ли седьмой, то ли восьмой десятков

Как ни странно, собрание началось без традиционных опозданий. Ведь художники — народ тяжелый на подъем, сидят в своих мастерских да еще имеют привычку запираяться, чтобы, не дай бог, какой-либо посторонний глаз не смог взглянуть на неоконченную работу. И правильно делают! Случайные посетители считают своим долгом что-то подсказать, заметить и посоветовать художнику даже тогда, когда их об этом не просят.

На трибуне появился Николай Николаевич Пчелкин — человек подвижный и крепкий, хотя и расположенный к полноте. Он говорил с юношеским задором, интересно и умно, отвечая на главный вопрос своего доклада: что делать художникам?

После докладчика первым на трибуну поднялся искусствовед и музыкальный критик Осип Давыдович Иванов-Петренко. Был он мал ростом, узок в плечах, с блистающей широкой лысиной и в огромных очках в роговой оправе. Голос его, на удивление, загремел:

— Да, действительно, мирное время поставило перед искусством новые задачи. Здесь их красочно и полно изложил докладчик. Военная тема должна уступить место иной, мирной. Но я хотел бы предостеречь некоторых художников, особенно молодых, от многих злых соблазнов. Молодежь горячая, пытливая, она любит гоняться за фактами жизни и кладет их в основу своих произведений. А что получается? Натурализм, чистейшей воды натурализм, бесстрастная иллюстративность текущих событий общественной жизни

Оратор грозно сверкнул очками, призывно махнул рукой и продолжал:

— Мы должны разрабатывать высокие, вечные вопросы жизни, такие, как любовь и ненависть, радость и горе. Это великолепно понимали великие мастера прошлого, гиганты античности и ренессанса, и потому именно их творения вечны, бессмертны. Это понимали и классики русского изобразительного искусства. Возь-

мите фанатизм суриковских героев или физиологию смеха репинских запорожцев...

В зале кашлянули, раздался молодой «физиологический» смешок. Оратор насторожился и вновь с нарастающим пафосом.

— Искусство жестоко мстит художнику, когда тот гонится за фактом или выполняет заказ, чей бы он ни был. Не вышла же у Репина «Парижская коммуна», плохо получилась и картина «Заседание государственного совета». А ведь это был Репин, автор «Ивана Грозного»!..

Голос из зала:

— А кто заказывал Репину «Парижскую коммуну»?

Оратор пропустил этот вопрос мимо ушей, но через минуту из зала раздался другой голос:

— «Иван Грозный» — тоже исторический факт!

Ни на секунду не задумываясь, даже не прерывая своей речи, а лишь поправив очки, оратор ответил:

— Да, это исторический факт, но как он подан? Он раскрыт под углом зрения общечеловеческих страстей! Сам факт убийства царем своего сына — лишь предлог для выражения главного психологии отца-убийцы. И Репин написал это с потрясающей силой

Возражения вспыхивали в сознании Владимира как-то неорганизованно и тут же заглушались другими, казалось правильными, мыслями оратора. Машкову понравилось, когда оратор говорил об умении художника оттолкнуться от маленького факта и подняться до глубокого обобщения, но возмутило отношение критика к Репину. «Физиология смеха и психология убийцы», — мысленно повторил Владимир. «Фанатизм суриковских героев». Он живо представил себе запорожцев, пишущих письмо турецкому султану, боярину Морозову, закованную в цепи, и, уже не слушая Иванова-Петренку, снова повторил его недавнюю фразу: «Общечеловеческие страсти». Черта с два! Где еще, в какой другой стране найдешь таких запорожцев? А ведь факт, исторический факт — писали письмо, злое, колючее, смелое, и в каждом слове его чувствовалась могучая сила запорожской вольницы»...

Машков очнулся от аплодисментов, прервавших его мысли, подумал: «Зачем аплодируют, по какому случаю?» А председательствующий уже объявил:

— Слово имеет товарищ Винокуров!

Кто-то за спиной Владимира сказал многозначительно:

— Теперь послушаем противника предыдущего оратора...

«Винокуров? А, это тот самый, что «завалил» на художестве мою картину?» — вспомнил Владимир. У него не было вражды или неприязни к этому подвижному, суетливому человеку с апломбом. Он плохо знал его как критика, встречал в печати его статьи, но они как-то не оставляли в памяти никаких следов.

— Я не могу согласиться с уважаемым Осипом Давыдовичем, — начал Винокуров — Ведь жизненный факт — основа искусства социалистического реализма. И вечные человеческие страсти заключены в повседневном, даже в самом мелком. Нужно только, чтобы это мелкое было оригинально подано, броско написано, чтобы создавало настроение...

А дальше пошли обычные, затасканные слова, за которыми невозможно было уловить сколько-нибудь четких и ясных мыслей. Такие речи не воспринимаются слушателями, они проходят через мозг не задерживаясь. В народе о них говорят. в одно ухо вошло — в другое вышло. Впрочем, мыслей нельзя было уловить по той простой причине, что их вовсе и не было. Существуют же слова без мыслей. Из таких слов некоторые ловкие и опытные ораторы составляют громкие витиеватые речи. Такой была и речь Винокурова. Она не мешала Владимиру думать о другом, о том, что только что говорил Иванов-Петренко. Он попытался вызвать перед своим мысленным взором картину Репина и посмотреть на нее глазами Осипа Давыдовича, увидеть «психологию убийцы». А виделось совсем другое — умирающий сын прильнул к отцу, такой беспомощный, жалкий, и точно просит. спаси! О спасении просят и угасающий взгляд с застывшей слезой, и судорожно-неможные руки сына — просят о спасении того, кто дал ему жизнь. Не раскаяние, а мольба. не дай умереть. Все что угодно, только не смерть.

Это сын. А вот отец. Рука его, убившая сына, в судороге зажала рану, из которой хлещет кровь. Рука, залитая кровью. Кровь, кровь. Кровь на руках, на халате, на ковре, на лице. О, сколько ее, человеческой крови, пролито жестоким коронованным диктатором. И все же

Не она, не кровь запоминается с первого взгляда, а глаза царя — обезумевшие, охваченные ужасом от сознания непоправимого. Глаза не убийцы, а отца

Владимиру вспомнились лекции по истории. Перед ним вставало время больших социальных противоречий, столкновений, сдвигов, уособиц, борьбы.

Нет, совсем не то говорит Осип Давыдович

Так в размышлениях Владимир не заметил, как кончилось собрание. Все встали со своих мест, и зал гудит, как ярмарка.

Вон и Люся: она разговаривает с Осипом Давыдовичем. К ним подошел Николай Николаевич Пчелкин, полненький, круглолицый человек среднего роста, всегда веселый, со всеми любезный. Он здоровался с Ивановым-Петренкой и Люсей. Владимир хотел подойти к ним, но постеснялся Осипа Давыдовича, с которым Люся о чем-то советовалась. Она пишет работу о Сурикове. Но вот к ним присоединился Борис Юлин. Его познакомили с Люсей. Что-то непонятное, неизведанное кольнуло Владимира. Ему захотелось уйти отсюда, и он спросил Аркадия

— А мы не опоздаем?

На вокзал прибыли вовремя. Внесли вещи в вагон и вышли на перрон. Подмораживало. Снова заговорили об искусстве. Аркадий сказал, что художники его разочаровали.

— И собрание прошло, как принято писать в критических отчетах, при низкой активности и не на высоком идейном уровне, — подытожил Аркадий и вдруг спросил: — Ну, что оно дало тебе?

— Сегодня я понял, — начал Владимир, вдумчиво подбирая слова, — в нашем искусстве идет борьба, хотя я пока не уловил ни ее сути, ни расстановки сил.

— Попробуй разобраться, — посоветовал Аркадий. — А знаешь, Волсдя, приезжай весной к нам в село, когда посевная начнется. Интересное время. Поживешь лето, настоящую жизнь увидишь.

Предложение было неожиданным.

— Я подумаю, Аркаша, и напишу тебе.

По дороге с вокзала домой Владимир думал о поездке в село, и это невольно напомнило ему детство.

Он родился в небольшой рязанской деревеньке, затерявшейся среди полей, лесов и болот, но жил там недолго.

го. Родители его переехали в Москву. Отец, Иван Ефремович, сначала работал в отделе сельских школ Наркомпроса, а затем по собственному желанию пошел учителем младших классов в одну из московских школ. В первое время, когда жив был еще дедушка Ефрем, Володю в летнюю пору вывозили из Москвы в родную деревню. А со смертью дедушки оборвалась последняя ниточка, связывающая Ивана Ефремовича. Машкова и его семью с родными краями. Теперь Москва стала для них родиной, и Володя вправе был считать себя самым что ни есть закоренелым москвичом. Здесь все ему было не только знакомым, но близким и родным: это были его улицы и дома, его кинотеатры, музеи, парки и сады.

Воспоминания о сельском раннем детстве где-то в глубинах души хранились милыми, не до конца прорисованными картинками-этюдами, которые нередко всплывали в памяти.

Владимир забыл имена сельских ребят, с которыми вместе ловил пескарей, ездил в ночное, собирал малину и грибы, драл с молодой липы лыко на лапти, а зимой катался на санках и вязал березовые метлы, которые потом дедушка возил на базар продавать по тридцати копеек за штуку. Имена выветрило из памяти время, но осталась нетронутой, немеркнувшей общая картина деревенской жизни.

Владимир давно намеревался съездить в село, и не просто любопытным туристом, а поработать, засучив рукава, пописать пейзажи, людей. Теперь он был рад случаю.

Для поездки в село требовались деньги, которых в настоящее время ни сам Владимир, ни его мать, Валентина Ивановна, не имели. Правда, на первое время выручали две тысячи, занятые у Юлина.

Все эти размышления о поездке в село перебивались беспокойной мыслью о Люсе. И чем настойчивей он пытался отмахнуться от этой мысли, тем сильнее она лезла в голову, заслоняя собой все остальное.

Домой он пришел поздно. Мать встретила вопросом:

— Что за гости у нас были? — Она уже успела навести в комнате порядок.

— Извини, мамочка, не успели убрать: торопились.

Он рассказал. Рассказывая, достал деньги и положил на стол.

— Вот, мама... Завтра верни долг. Это я у Бориса Юлина занял. До осени.

Вместо ожидаемой радости лицо Валентины Ивановны выразило растерянность. Приоткрыв рот, она хотела что-то сказать, но слова застыли на ее губах, и лишь глаза, такие же синие,<sup>1</sup> как у сына, говорили, что деньги ей не нужны.

— Знаешь, Володенька,— начала она нерешительно,— я уже отдала долг. Вчера шубу свою снесла в комиссионный и сегодня расплатилась.

— Что ты наделала, мама?! — в ужасе воскликнул сын и, как от яркого света, закрыл ладонью глаза.

Старинная шуба — подарок покойного отца — была гордостью матери. И вот теперь нет этой шубы.

Валентина Ивановна знала, что огорчит сына этим поступком, но что будешь делать! Теперь она попыталась успокоить Владимира.

— Я так рассудила, Володенька: зима уже кончилась, а новый сезон пойдет, там видно будет: может, к тому времени у нас и деньги появятся. Ты только, пожалуйста, не расстраивайся.

— Эх, мама, мама. — Владимир зашагал по комнате. — Уж лучше бы пианино продать. А?

Он вопросительно посмотрел на мать. Валентина Ивановна решительно замотала головой.

— Пианино? Нет, сынок. Это уж на самый худой конец. — В тихом приглушенном голосе ее зазвучали осуждающие нотки — Это, можно сказать, лучшая память об отце. Его мечта. Он любил слушать музыку. Бывало, сядет, задумается, весь отрешится от всего, только глаза одни блестят. Любил музыку, хоть сам играть и не умел. В деревне рос, в бедности, какая там музыка. Пианино в первый раз увидел, когда в Москву приехал. А песни как пел. Да ты-то помнишь. Любил он песни, до слез любил. Все хотел, чтобы сын у нас был знаменитый музыкант или певец. Я, бывало, говорю: «Зачем тебе Ваня, обязательно певец, пусть лучше доктором будет или инженером». А он мне. «Не понимаешь ты... В песне душа народа. Музыка,— говорит,— это моя мечта, которой не довелось сбыться». Чего отец в жизни не успел или не смог — пусть дети достигнут. Потому и учили тебя музыке и пианино купили. Трудно было: по рублю откладывали, недоедали, во многом себе отказывали. Только ты сызмальства к рисованию пристрастился.

А музыкой не горел. Другая судьба тебе на роду написана. А я так скажу. отец не жалел потом, когда увидел, что из тебя художник получится.

— А я вот не знаю, получился из меня художник или нет. Как ты считаешь, мама?

— Да что я считаю? Я мать. Людей надо спрашивать. Не знаю, как там ваши художники думают, а наши заводские люди считают, что у тебя талант настоящий. Твои картины им нравятся.

Владимир подошел к матери, нежно обнял ее, поцеловал мягкие без единой седины, но уже не густые волосы, искренне признался.

— А хочется, мама, быть настоящим художником. Очень хочется. Чтобы людей волновали мои картины.

— То-то и оно. А шуба что, о ней и толковать не стоит.

— Верно, только шубу я тебе куплю хорошую, еще лучшую, чем та была.

Он отошел в сторону и, прислонившись к столу, пристально посмотрел на мать.

— Ты не очень устала? Нет желания посидеть немного?

Валентина Ивановна ласково улыбнулась сыну, сказала:

— Да уж посижу. Сидеть — не работать.

Владимир в один миг приколол к доске большой лист белой бумаги и принялся делать рисунок углем. Ему нравились руки матери — не грубые, но крепкие, жилистые руки неутомимой труженицы. Он много раз их рисовал и писал с большим наслаждением и всякий раз находил в них что-то новое, необыкновенно прекрасное, освещал их новым светом. Это была удивительная поэзия рук, не холеных и изнеженных, а мозолистых, много сделавших людям добра. И теперь, когда он сделал на бумаге первые штрихи, мать спросила:

— Опять будешь руки рисовать?

— Нет. Сегодня буду голову. Лицо у тебя сегодня какое-то.. особенное. И глаза. Расскажи, как там у вас на заводе?

Владимир был в курсе заводской жизни. Там его тоже знали. Он помогал их Дому культуры, шефствовал над изокружком, бывал на вечерах, до мельчайших подробностей знал, что делается в формовочном цехе, где работала мать.



Я ни о чем другом не помышляю, как только день и ночь работать. Какое несчастье может сравниться с утраченным временем

*Микеланджело*

В воскресенье утром Машков поехал к Павлу. Окуневы жили на улице Горького рядом с Моссоветом, занимали отдельную квартиру. Самая большая комната с окном, выходящим на Советскую площадь, была мастерской Павла. В последние три месяца в ней господствовал дух Маяковского. Гипсовая маска поэта, фотографии, рисунки, одотомник его стихов, множество этюдов, два эскиза, сделанных углем, — все это, разбросанное по стульям, на столе и даже на полу, теперь показалось Владимиру лишним, ненужным в присутствии большой законченной картины, которая называлась «Маяковский за границей».

Павел в темном халате, с растрепанными жесткими прядями волос сидел в легком плетеном кресле в ожидании дружеской критики. Владимир стоял у окна, сложив на груди руки и вприщурку всматривался в картину. Табачный дым серым облаком поднимался к потолку, жидкие тени от него легли на ярко освещенную стену. Владимир посоветовал «убрать» папиросу, зажатую в зубах Маяковского. Павел согласился, но не спешил воспользоваться советом. Он вообще не любил спешить.

Владимир вдруг начал словами поэта:

— «У советских собственная гордость: на буржуев смотрим свысока». Да, Паша, эту идею ты выразил. А вот Америки доллара, Америки линча.

Он хотел сказать «не получилось» и не успел. Павел резко поднял голову, откинул назад длинные волосы и, перебивая товарища, заговорил:

— Вижу, Володя, чувствую и теряюсь. Видно, правду говорят: всего в одной картине о Маяковском не расскажешь.

Павел любил Маяковского. Часто в компании друзей вдруг поднимается за столом его тучная фигура и густой низкий голос рывкнет так, что рюмки зазвенят:

Слушайте,  
товарищи потомки,  
Агитатора,  
горлана-главаря!

И теперь Павел встал, зажал в руке массивную дубовую линейку и, размахивая ею, продолжал с подъемом:

— Маяковский!.. Глыбища-то какая, утес! Мало кто из писателей понимал так глубоко мир империалистических хищников, как он.— И, бросая грохочущие слова, продекламировал:

Но пока  
доллар  
всех поэм родовей.  
Обирая,  
лапая,  
хапая,  
Выступает,  
порфирой надев Бродвей,  
Капитал,  
его препохабие.

Владимир с волнением слушал, как он читает стихи «горлана-главаря», затем сказал, вставая.

— Работай, Паша, не буду тебе мешать...

Павел остановил его за рукав:

— погоди, ты твердо решил ехать в колхоз?

Владимир утвердительно кивнул, и лицо Павла по-мрачнело

Глядя в окно на многолюдную улицу, он негромко сказал:

— Мне тоже хочется поехать. Куда угодно: в Сибирь, на Дальний Восток, в Заполярье или на Кавказ. Тысячу пейзажей написал бы. И ни в одном бы не повторился. Да, брат Володя, мечты и звуки. А пока придется с Николаем Николаевичем... И ты напрасно отказываешься. Колхоз от тебя никуда не уйдет. Давай вот заработаем денег и махнем по стране. Вместе, а?

— Для артели Николая Николаевича я не гожусь, а ждать не могу. Вопреки предостережениям Иванова-Петренки спешу «фотографировать» действительность..

— Тебя задела его болтовня? — удивился Павел.

— Только ли болтовня? — переспросил Владимир.— В ней что-то есть. Смысл какой-то есть. Что-то не очень

чистое, подленькое. Вот нутром чувствую какой-то подвох, а поймать его не могу, скользкий.

— Чепуха все это. Да мы-то кто — дети? Как-нибудь сами поймем, что такое хорошо, что такое плохо.

Но этот довод не успокоил Владимира.

— Не так просто, Паша! У Осипа Давыдовича своя логика. — И Владимир заговорил голосом Иванова-Петренки: — Искусство общечеловечно. Оно всегда и везде выражало общечеловеческие страсти: горе и радость, гнев и ненависть. Национальные особенности не имеют никакого значения, они противоречат интернационализму искусства. . Согласись, Паша, в этих формулировках что-то есть... Действительно, мы — интернационалисты, враги национализма. Не так ли? Вот на этом и спекулирует Осип Давыдович. А спроси-ка его: чьи это страсти, чье горе, чьи радости? Горе безработного или горе миллионерши, у которой скончалась ее любимая собачка? Радость советского человека или радость капиталиста? Или мы отказались от классовых понятий и перестали быть марксистами? Как бы ответил на эти вопросы искусствовед Иванов-Петренко, считающий себя марксистом? Ты вдумайся только, о чем он говорил: «Главное в репинском «Иване Грозном» — психология отца-убийцы!» Это мог сказать или бездарный путаник, или шарлатан.

— Ну и пусть себе болтает. А нам-то что от его болтовни? К нам это не пристанет, — дружески усмехнулся Павел. Он ко всему этому относился более спокойно и даже равнодушно, быть может, в силу своего уравновешенного характера Павел не впервые слышал Иванова-Петренку и его друзей, видел в журналах их статьи, но никогда не читал. «К чему засорять разным вздором голову», — рассуждал он. И вчера его не возмутили речи Иванова-Петренки и Винокурова, но удивило, что им никто не возразил из маститых. Это должен был сделать и докладчик в заключительном слове. Но Николай Николаевич Пчелкин вообще отказался от заключительного слова.

Владимир долго еще не мог успокоиться. Он вдруг вспомнил, что в творчестве Сурикова Иванов-Петренко считает главным «фанатизм» его героев, а в творчестве Репина он усмотрел «социальный заказ», якобы погубивший некоторые его работы. Владимир считал обращение

Репина к революционной теме Парижской коммуны выдающимся фактом в его творчестве, а Осип Давыдович поносил великого художника за это. Что же это? Невежество или сознательная попытка развенчать передвижников, корифеев русского искусства?

Павел слушал друга не перебивая, потом встал и предложил:

— Пошли бродить. К Яше зайдем.

Яшу Канцеля друзья застали в его мрачной неуютной мастерской. Скульптор озабоченно ходил вокруг фигур, закутанных в сырые тряпки, и опрыскивал их водой из пульверизатора.

— Работал? — спросил Павел, подавая руку.

— Самую малость. Да вот сохнет быстро, — ответил Канцель, кивнув на скульптуру. — Сейчас Борис должен прийти, — добавил он после паузы.

Весь в глине и гипсе, усталый и чем-то раздосадованный, Яша усадил гостей на старые, расхлябанные стулья спиной к закрытой мокрыми тряпками скульптуре, а сам сел на какой-то ящик и живо стал расспрашивать Павла о его картине. Потом, перебив себя, пояснил:

— Я тоже... о Маяковском подумываю. Скажи, очень трудно? Мне как-то боязно..

Павел понимающе улыбнулся и ответил стихами Маяковского:

— «Я боюсь этих строчек тыщи, как мальчишкой боишься фальши». — И уже серьезно — В скульптуре, должно быть, легче, чем в живописи. Начинай, Яша, лепить. Не откладывай. А на гранитном постаменте вырубь стихи: «И я, как весну человечества, рожденную в труде и в бою, пою мое отечество, республику мою!»

Он стоял посреди мастерской — могучий, готовый еще и еще читать стихи любимого поэта.

— Вот с него и лепи Маяковского, — всерьез посоветовал Владимир Канцелью, указывая глазами на Павла.

А тот шагнул к укрытой скульптуре и сказал повелительно:

— Показывай!

Канцель встал и, хитро подмигнув друзьям, пошел к скульптуре.

— Только уговор: говорить, что думаете, любую правду.

— Ладно, ладно, открывай, твоего самолюбия не пошадим.

Это была скульптура Николая Островского. Писатель-боец был изображен лежащим в постели. Нижняя часть тела до пояса закрыта пледом, голова приподнята на подушке. Высокий лоб, волевое лицо напряжено в глубокой мысли, незрячий взгляд устремлен ввысь. Левая рука лежит поверх пледа на груди, правая — вытянута параллельно телу, крепко сжатый кулак опущен на книгу.

— Любопытно, интересно... — негромко сказал Владимир и почувствовал, что недоговаривает всего противоречивого чувства, вызванного скульптурой.

То ли интуицией, то ли острым наблюдательным взглядом это заметил Канцель и дружески-строго сказал:

— Володя, посмотри мне в глаза. Мы, кажется, условились?

Владимир еще не знал, как объяснить свои сомнения, и начал издали:

— Видишь ли... Он получился одухотворенный, живой: и лицо, и правая рука — это вылеплено здорово. Но... — И тут блеснула догадка: «Постель! Да, да, зачем постель?» И он продолжал уже уверенно: — Но все это ты, Яша, убил постелью. Постель придавила его. Она заслоняет все живое, хорошее. И даже, ты прости меня, неприятно действует на зрителя. Чем-то напоминает саркофаг.

— М-да, — криво улыбаясь, протянул Канцель. — А что делать? Это же... так и было в жизни, в действительности... Это ведь правда

Канцель перевел вопросительный взгляд на Окунева. Павел понимал, что нужно сказать что-то, но не знал, что. Внутренне он был согласен с Владимиром, но, как всегда, не торопился с выводами. Он был тугодум и вообще человек невозмутимо-спокойного, рассудочного характера.

— Я кое в чем согласен с Володей: это памятник не для площади, в нем что-то камерное... Но мне лично нравится...

Вошел Юлин. Лицо сияющее.

— Наверное, сто тысяч выиграл? — шутя спросил Павел.

— Выиграл. Пашенька, и больше чем сто тысяч! — Довольно причмокнув языком, Борис выпалил. — Если б вы знали, какая необыкновенная девушка! Мечта, сказка!

— Не все сказки хороши, бывают и страшные, — заметил Павел. — Однако, так и быть, рассказывай. Готовы слушать.

— Я догадываюсь, — уныло сообщил Яша. — Вчера на собрании он познакомился с кудряшками из издательства «Искусство».

Владимир вспыхнул и отвернулся. Окунев сказал:

— Я вижу, это закончится гибелью одного из вас.

Эти слова Павла заставили Бориса взглянуть на Владимира. Взглянув, понял и, чтобы загладить неловкость, сказал:

— Да ведь ты с ней, кажется, знаком?

— Вполне возможно, — ответил Владимир, и Борис понял, что разговор этот неприятен для них обоих.

— Да, товарищи, — спохватился Борис, — вчера Николай Николаевич приглашал нас в свою бригаду, так сказать, официально. Большой мастер ищет подмастерье. Рассчитывает на нас троих.

— Ну и пусть рассчитывает, — мрачно, даже с вызовом бросил Владимир. — А я на днях в колхоз еду.

— Напрасно, — урезонивал его Юлин — Поработать с Пчелкиным полезно, своего рода школа! А в случае удачи можно и денежки и медальку заработать — И подмигнул понимающе: — Николай Николаевич знает, что делать.

— Я против бригадного метода в искусстве, — отрезал Владимир.

— А Кукрыниксы? — спросил Павел в упор.

— Кукрыниксы — другое дело Там редкое творческое содружество, а тут случайное сборище. Что общего между твоим почерком и почерком Карена?

Разошлись хмурые, каждый при своем мнении

Дома, как только Владимир вошел в комнату, Валентина Ивановна спросила, как спрашивала всегда:

— Какие новости, Володенька?

Владимир был сосредоточенно-задумчив. Ответил рассеянно:

— У Паши Маяковский хорош. А Яше Николай Островский не удался...

Мать насторожилась, посмотрела на сына пристально и, должно быть, почувствовала в нем какие-то важные душевные перемены.

Он снял с себя пиджак и галстук и все это аккуратно повесил на спинку стула у обеденного стола. Это означало, что забежал он домой ненадолго. От обеда отказался, сославшись, что «перекусил по дороге». Ему просто не хотелось есть. Постоял у этажерки, снизу доверху заставленной книгами, подошел к картине «В загсе», но тотчас же от нее отвернулся и зашагал по комнате, силясь что-то припомнить, но после встречи с Юлиным думалось только о Люсе.

Владимир подошел к книжной полке, взял томик Горького, раскрыл заложенное место.

«Любовь! Я смотрю на нее серьезно... Когда я люблю женщину, я хочу поднять ее выше над землей... Я хочу украсить ее жизнь всеми цветами чувства и мысли моей». Как это верно! Как и всякий молодой человек, Владимир мечтал об идеальной девушке, и долгое время Люся казалась ему такой. Но теперь...

«А что теперь? Разве произошло что-нибудь. Ведь ничего же не произошло! Борис?.. Ну и что же?»

Мать утюжила на круглом столе белье и тайком наблюдала за сыном.

— Ты бы отдохнула, мама,— посоветовал он.— Дай-ка я доутюжу, а ты ложись, отдохни.

Сын привычно взял электрический утюг, попробовал, достаточно ли он горяч, и с проворством, присущим разве только портным, принялся за работу. С малых лет он был приучен помогать матери по хозяйству: накрыть на стол, вымыть посуду, натереть пол, выутюжить костюм, а иногда и выстирать рубашу для него было обычным делом.

— Как же Яша-то теперь будет? Не примут у него скульптуру? — с участием спросила Валентина Ивановна.

— Ну, это еще не известно. Мне не понравилась, а другим, может, понравится. Наше дело такое...

— Не говори, трудное ваше дело.— Валентина Ивановна сочувственно вздохнула.— Что ни человек, то свой вкус. На всех не угодишь — Немного подумала и не согласилась с собой.— Хотя хорошая вещь, она для всех хороша. Вот в Третьяковской галерее — смотришь

не насмотришься И ничего, что старинное. Я вот думаю: почему это раньше умели так хорошо рисовать? Почему теперь так не рисуют?

— Да ведь и раньше разные художники были, и теперь не все одинаково пишут. И зрители разные. Ты верно говоришь: что ни человек, то вкус И Шишкин с Левитаном не всем нравятся.

— Не пойму, кому это Шишкин может не понравиться.

— Есть такие,— подтвердил Владимир.— Перед всем иностранным они готовы на коленях ползать. «Каштаны—это изумительно! Это не то, что традиционные чахлые березки»,— передразнил он кого-то.

Валентина Ивановна подумала и сказала, уходя в свою комнату:

— Вот и Борис все о каштанах говорит.

«Почему-то недолюбливает она Бориса»,— подумал Владимир, и мысли его снова вернулись к Люсе.

Закончив утюжить, Владимир достал несколько листов белой гладкой бумаги, сел за письменный стол и крупными буквами написал: «Людмила Васильевна!» Но, подумав, зачеркнул и ниже написал торопливо: «Дорогая Люсенька!» И тотчас же зачеркнул и на новом листе начал писать снова:

«Добрый вечер, Люсенька!

Простите мне это письмо: оно будет последним. Сегодня я понял, что нам нужно расстаться. Навсегда... Это нужно было сделать давно. Моя вина. Я не хотел понять, не хотел поверить, что я чужой для Вас, или, как говорят, не герой Вашего романа. Не знаю, будет ли еще кто любить Вас так, как я. Наверно, будет: Вы славная, Вы достойны большой любви и счастья. Так будьте счастливы, Люсенька. Спасибо вам за все доброе и светлое, что оставили в сердце моем.

Быть может, время и расстояние помогут мне. На днях я уезжаю на все лето из Москвы..

Люсенька! Хочется на прощание сказать Вам очень много, но чувствую, что Вы в этом теперь не нуждаетесь. Помните, если Вам когда-нибудь придется трудно и нужна будет моя помощь, Вы всегда на нее можете рассчитывать.

Прощайте, Люсенька, и простите за эту сумбурную записку.

Вл. Машков».



Внимательно перечитав письмо, он остался им недоволен. Ему казалось, что главное не сказано. А что главное, он и сам еще толком не знал. «Пусть останется так» Запечатал конверт, вложил его в книгу, не спеша оделся и вышел из дому.

Сгушались сумерки, было туманно и сыро.

У Люси Владимир никогда не был, но по почтовому адресу хорошо представлял, где она живет. Комсомольская площадь, большой старинный дом... Бросить письмо в почтовый ящик он не решился: а вдруг на почте затеряется. Нет уж, лучше он отвезет это письмо сам.

Пошел пешком. Помнится, Люся говорила как-то, что живет на пятом этаже... Он поднимется на пятый этаж, опустит письмо в почтовый ящик Люсиной квартиры — и все.

Вот и дом. Вошел в парадное. Лифтерша даже не взглянула на него и не спросила: «Вам к кому?» Но вот на шестом этаже хлопнула дверь. Скорей! Быстро шагнул к почтовому ящику, приоткрыл крышку. Письмо тревожно стукнулось о дно пустого ящика. Он стремительно повернулся и на площадке увидел перед собой Люсю: она спускалась с шестого этажа. Глаза их встретились. Люся протянула ему руку и, не выпуская его руки, точно он мог убежать, сказала:

— Вы ко мне? — и бросила взгляд на почтовый ящик. Сквозь мелкие отверстия виднелось письмо.

Владимир покраснел.

Люся открыла дверь, обитую черным дерматином, пропустила вперед Владимира и, бросив на ходу: «Раздевайтесь», — сняла висящий здесь же в прихожей ключ от почтового ящика и скрылась за дверью. Владимир еще не успел снять пальто, как она появилась с письмом в руках. Вместе они прошли в гостиную, обставленную строго и со вкусом. Навстречу поднялась дама с большим узлом темных волос на макушке, протянула Владимиру мягкую белую руку. Люся сказала певучим голосом:

— Знакомьтесь, моя мама...

— Лидия Константиновна, — добавила ее мама с любезной улыбкой на моложавом лице.

Машков назвал свое имя и почувствовал какую-то скованность во всем теле. Его пригласили сесть. Он беглым взглядом окинул гостиную. Дверь в другую ком-

нату была приоткрыта, виднелись край большого орехового письменного стола и резной книжный шкаф мореного дуба. «Кабинет отца», — сообразил Владимир. В гостиной, служившей одновременно и столовой, стояло пианино, сплошь уставленное изящными безделушками. Высокий старинный буфет сверкал дорогой посудой.

Поручив матери занять гостя, Люся вышла в свою комнату.

Судя по тому, как умело и непринужденно Лидия Константиновна повела разговор с Владимиром, ей не впервые доводилось занимать молодых гостей дочери. Каждая фраза заключала в себе скрытый вопрос, на который нужно было отвечать. И Владимир отвечал... Лидия Константиновна слушала, не сводя с него изумительно-пристального взгляда. Владимиру порой казалось, что он сидит перед следователем, умным и давно все знающим, и потому бесполезно от него что-либо скрыть.

Из одной не случайно оброненной Лидией Константиновной фразы Владимир понял, что хозяин квартиры, Василий Нестерович Лебедев, стал заместителем министра и что сейчас он находится в командировке.

Люся появилась переодетая, причесанная, надушенная. Она села рядом с матерью напротив Владимира и спросила его многозначительно:

— Неужели вы хотели сбежать от меня, не прощаясь?

И горящие щеки, и возбужденные глаза, и необычайно нежный, ласковый ее голос говорили Владимиру, что письмо задело ее за живое. Заметив, что мать насторожилась, Люся овладела собой.

— Куда вы вчера исчезли после собрания? — спросила она.

— На вокзал... Товарища провожал.

— Ах, да, — вспомнила она. И неожиданно: — А что вам даст поездка в колхоз?

Он не успел ответить, а она уже спрашивала о другом:

— Правда, хорошо выступил вчера Осип Давыдович?

— Хорошо? Смотря для кого, — усмехнулся Машков.

— Как? — изумилась Люся. — Вы несогласны с Осипом Давыдовичем?

— А вы согласны с этим... — он хотел сказать «бол-

туном», но, взглянув на Люсю, сдержался. От этого ему стало неловко, и он перевел взгляд на Лидию Константиновну. «До чего же они похожи друг на друга! И, должно быть, не только внешнестью».

Люся тоже мельком посмотрела на мать и, переведя на Владимира упрямый, острый взгляд, заговорила поучающе:

— Иванов-Петренко и Винокуров — два кита в искусстве. Быть живописцем и не прислушиваться к этим критикам — непостижимо! — Поймав в глазах Владимира насмешливые искорки, Люся добавила примирительно: — Во всяком случае, это эрудированные люди, умеющие думать.

— О чем? — спросил Владимир.

— Об искусстве, конечно! Кто у нас серьезно занимается вопросами истории и теории искусства? Только они. Художники наши, не в пример Репину и Серову, двух слов связать не умеют. Разве вот Барселонский и Пчелкин

— Почему же, — возразил Владимир, — я читал дельные статьи и других художников.

Люся снисходительно пояснила:

— Вы думаете, они сами писали, эти «другие»? Навивный вы человек, Володя! За них пишут те же Иванов-Петренко и Винокуров.

Машков пожал плечами. Тон Люси начинал раздражать и задирать его. Чуть помолчав, он спросил:

— Скажите, а картин за них никто не пишет?

— До этого еще не дошло, — улыбнулась Люся.

Улыбка ее показалась Владимиру какой-то новой, естественной, по-человечески искренней и простодушной. Эта улыбка на какой-то миг приоткрыла ширму, за которой промелькнул образ Люси таким, каким рисовал его себе Владимир — ясным и нежным. Но Люся по-прежнему поучала:

— Искусству нашему не хватает крыльев и всемирной глубины. Оно слишком серо и обыденно...

Это были чужие слова и мысли, заимствованные Люсей у своих учителей, но, к счастью ее, это были слова и только: за ними не было глубоких убеждений. Владимиру очень не хотелось спорить с Люсей, но эти чужие слова приводили его в ярость. Еле сдержавшись, он возразил:

— А я хочу показать простых и хороших людей, которые живут на нашей земле и украшают ее.

— Тоже правильно,— одобрила Люся. И тут же вспомнила:— Но не забывайте предостережений Осипа Давыдовича: подлинно новаторское произведение нельзя создать средствами передвижников. Репин безнадежно устарел. Надо изобрести нечто новое, необычное, не похожее на будничную жизнь. Подлинное искусство всегда было условно. Возьмите оперу

Лидия Константиновна вышла. Воспользовавшись ее отсутствием, Владимир тотчас заговорил о своем письме, но Люся перебила его:

— Володя, вам обязательно нужно ехать в деревню?

— Да ..— тихо ответил он

— А без вас здесь будет скучно,— со вздохом сказала она нараспев, и глаза ее затуманились.

Не поверить в искренность ее слов было невозможно. Но он все-таки набрался мужества и усомнился:

— Не думаю. Борис Юлин не даст вам скучать...

— Юлин? А при чем здесь Юлин? Я до вчерашнего дня вообще о нем ничего не знала.

— Зато теперь, надеюсь, вы узнаете его поближе..

Она посмотрела на Владимира с удивлением и загадочно улыбнулась своим мыслям

— Напрасно вы так думаете, Володя. Мне иногда бывает очень скучно. Чего-то хочется нового, хорошего, а чего — сама не знаю.— Голос ее зазвучал мягко, нежно, даже тоскующе.— Вы на меня обижаетесь понапрасну. Я не могу вам всего объяснить, а вы не хотите понять этого.

— Помогите, может, пойму.

Оба вздрогнули от резкого звонка. Вошла Лидия Константиновна, сказала:

— Я открою. Наверно, отец приехал.— А через минуту в передней ее голос гостеприимно приглашал кого-то:— Проходите, пожалуйста! Люсенька, это к тебе.

Люся пожала плечами — она и в самом деле никого не ждала в этот вечер. Обернувшись к Владимиру, она сказала полупшепотом:

— Кого еще там не вовремя принесло! — И вышла.

На пороге гостиной в сопровождении Люси и Лидии Константиновны появился... Борис Юлин. Розовое, самодовольное лицо — сплошная улыбка. Но как только

он увидел Владимира, лицо погасло, сделалось испуганно-тревожным. Однако же он умел владеть собой! Растерянность продолжалась одно мгновение, а в следующее — он снова улыбался, правда, уже по-другому, с кислой миной

— Ба-а! — воскликнул он с притворной радостью. — Володя! Ты что тут делаешь?

— Тебя поджидал, — просто ответил Владимир.

Борис опять не растерялся:

— И долго же я заставил тебя ждать?

— Меня-то что, я готов был сидеть здесь хоть год, а вот хозяева... — И тут он со значением посмотрел на Люсю.

— Да нет, что вы, что вы! — подхватила любезная Лидия Константиновна.

Но острая на язык Люся не удержалась и уколола:

— А хозяева тоже могли бы подождать.

Борис сделал вид, что не понял колкости. Галантно поклонившись Люсе, он протянул ей букет мимоз. Она поблагодарила, но суховато, и Лидия Константиновна кинулась на выручку:

— Ах, какая прелесть! Первый голос весны! Где это вы их достали в такую рань?

— Случайно... — Но это слово он сказал так, что никто не поверил в случайность.

Через несколько минут Борис уже вполне освоился и чувствовал себя как дома: балагурил, рассказывал забавные истории и наиновейшие анекдоты. Заканчивая один анекдот, он тотчас же начинал следующий: «А вот еще одна хохма», точно боялся, что кто-нибудь другой перехватит инициативу разговора. «Специально подготовился», — решил Владимир, наблюдая за Борисом.

— Или вот последняя хохма, — продолжал тот и, прищуря масляные глаза, сделал паузу.

— Вы меня простите, Борис Маркович, — смущенно перебила Лидия Константиновна. — Что это за слово — «хохма»? Должно быть, нерусское?

— Вы не знаете этого слова? — удивился Борис, будто речь шла о слове «хлеб» — Оно же самое что ни есть русское!

— Люсенька, — подал свой голос Владимир, — возьмите, пожалуйста, толковый словарь Даля и докажите Борису, что слово «хохма» имеет такое же родство с

русским языком, как я, скажем, с американским президентом.

— В словаре Даля этого нового слова, может, и нет,— рассуждал Борис.— Русский язык постоянно обогащается...

— О, великий и могучий русский язык! — вздохнул многозначительно Владимир.

Борис снисходительно улыбнулся и замял этот разговор.

Он поднялся, подошел к пианино, потрогал ноты.

— Людмила Васильевна, может, вы нам сыграете?

— Правда, сыграй, Люсенька! — поддержала Лидия Константиновна. Люся наотрез отказалась.

— В карты могу сыграть с вами. Хотите? — предложила она.

— В преферанс? — уточнил Борис

— Нет, в дурака.— И ее озорной насмешливый взгляд прошупывал то одного, то другого гостя.

— Перспектива остаться в дураках меня не прельщает,— ответил Борис с улыбочкой.

— Вам не везет в карты? — спросила Лидия Константиновна.

— Да, представьте себе...— голос и взгляд Бориса многозначительны. Владимир поднялся и сказал:

— Нам, пожалуй, пора и честь знать Пошли, Боря?

— Куда ты спешишь? — забеспокоился Борис.— Вечно ему не сидится!

— Ну что ж, тогда оставайся.— И Владимир стал прощаться.

— Не уходите, Володя,— попросила Люся.— Посидите еще немножко и вместе уйдете...

— Вместе? — с деланным удивлением переспросил Владимир.— Вы не знаете нашего Боря!

И Юлину ничего не оставалось, как уйти вместе с Владимиром. На улице, перед тем как проститься, он сказал:

— Мы, кажется, помешали друг другу?

— Не нахожу,— коротко ответил Машков. Ему хотелось побыстрей отвязаться от Бориса.

Но у Юлина, видимо, были свои планы, и он предложил зайти в кафе. Машков отрицательно покачал головой

— На тебя хандра нашла, это нехорошо, старик! —

Борис пхлопал Владимира по плечу, тот отстранился.  
— Будь здоров, Боря, я спать пойду.

Один, Машков долго бродил по улицам вечерней Москвы. Все думал о Люсе и злился на Бориса: «Черт его принес не вовремя! И что Люся хотела сказать своими словами: «Я не могу вам всего объяснить»?»

Странные у него были отношения с Люсей. Он любил и боготворил ее и в то же время наверняка не знал, как она к нему относится. Люся и не отталкивала его от себя, и не позволяла перейти тот рубеж, за которым начинается любовь. Она говорила: «Будем просто друзьями». Впрочем, и дружба у них не дружба, а так... игра в кошки и мышки, как сказал однажды Павел. Как все влюбленные в его годы, он считал Люсю самой красивой и самой умной девушкой на целом свете. Иногда он сердился и досадовал, но стоило ей взглянуть на него тем обжигающим лучистым взглядом, каким она дважды посмотрела сегодня, и он делался сам не свой. Вот ведь чертовщина!

Накануне отъезда в деревню Владимир зашел в мастерскую Пчелкина. На звонок долго не открывали, и он уже решил уходить, начал даже спускаться по лестнице, как его окликнули. На пороге мастерской стоял плотный, круглый, затянутый в рыжую суконную пижаму Николай Николаевич.

— Вот он, беглец! Наконец-то! Где ты пропадал? Почему не показываешься? — воскликнул Пчелкин, пропуская впереди себя Владимира. В маленькой уютной гостиной у зеленого столика сидел бескровный, крутолобый бородач неопределенного возраста. Машков узнал Винокурова, но вида не подал. Пчелкин представил его:

— Мой ученик, талантливый молодой художник Владимир Иванович Машков. А это Семен Семенович Винокуров. Рекомендации, как говорится, излишни.

Семен Семенович важно поднялся и, протянув руку, спросил снисходительно:

— Мы, кажется, встречались на худсовете... Кстати, как ваша картина? Дорабатываете?

— Нет, — ответил Владимир, разглядывая критика. В его фигуре, облике было что-то неуловимое, неопреде-

ленное. Трудно было сказать, толст он или тощ, стар или молод, даже рост его был какой-то непостоянный. В кресле он показался Владимиру маленьким, а когда встал, оказался почти высоким, будто поднялся на постамент.

А Пчелкин между тем говорил Владимиру:

— Звонил я тебе, а вчера с Пашей Окуновым заходили домой и не застали. Где же ты все-таки пропадал?

— В Москве,— натянуто улыбнулся Владимир. Присутствие Винокурова стесняло его

— Говорят, ты написал неплохую картину на тему любви и женитьбы? — с хитрецей допрашивал Пчелкин.

— Дым без огня не бывает

— И, говорят, ее какой-то чудак провалил на худсовете?

— К сожалению, верно и это.

— А чудака, очевидно, я,— ухмыльнулся Винокуров.

Пчелкин залился смехом и сказал укоряюще:

— Не ожидал я от вас, Семен Семенович, право, не ожидал. Как же так, своих бьете? Володя — мой ученик и друг, а вы его завалили, ха-ха-ха

И непонятно было Владимиру, в шутку он говорит или всерьез. Но Семен Семенович, видимо, понял все как надо.

— С вашей картиной произошло какое-то недоразумение,— заговорил он совсем другим, вкрадчивым голосом — Дело в том, что ее никто не забраковал. Картина всем понравилась, но есть досадные мелочишки, которые нужно исправить. От этого картина только выиграет. Сколько мне помнится, вы согласились с моими пожеланиями...

— Напротив,— удивился Владимир.

— Дело ваше,— недовольно буркнул Винокуров и нервно заходил по комнате. Потом обратился к Пчелкину:— Я у вас могу на несколько дней забрать эти рисунки? — он показал на бумаги, разбросанные по столу.

— С возвратом.— Пчелкин подошел к столу и стал собирать рисунки.— Семен Семенович книжку обо мне пишет,— скромно пояснил он Машкову.

— Творчество Николая Николаевича заслуживает самого серьезного исследования,— уточнил критик, сядя в кресло. Теперь, в кресле, он опять показался маленьким и смешным. Крохотные усики, куцая седею-



шая бородка клинышком — все казалось ненастоящим; тронь — и отвалится.

— Смотря как исследовать,— усмехнулся Машков.— В монографии можно так отстегать художника, что он своих не узнает. И сделать это можно с доброжелательной улыбочкой Хотите примеры? На днях я прочитал такую монографию о Репине. Критик, правда, именует живописца и великим, и гениальным, и в то же время утверждает, что идея «Запорожцев» — это физиология смеха, а тема «Парижской коммуны» оказалась для Репина непосильной и он с ней не справился. И как итог всему этому — вывод: у Репина вовсе не было воображения... Вот вам и гений!

— Я знаю, о чем идет речь,— нетерпеливо перебил Винокуров.— Талантливая монография. Вы, к своему несчастью, не поняли ее.

— Все может быть,— смиренно согласился Машков.— Николай Николаевич, пожалуйста, достань том, вон на той полке.

Пчелкин проворно достал толстую книгу. Владимир начал быстро листать ее:

— Вот, черным по белому написано: «Здесь мы подходим к самому существенному моменту репинского творчества...» Слушайте же, в чем заключается существо гениального Репина: «..отсутствию воображения не только в «Запорожцах» и «Николае», но и вообще во всем искусстве Репина».

Сунув книжку в руки Пчелкина, Владимир повернулся к Винокурову и спросил резко:

— Как же вы прикажете понимать? Гениальный художник Репин без воображения! А знает ли автор этой монографии, что без воображения вообще нет искусства? Где кончается воображение, там начинается холодное ремесленничество. Это же школьникам известно!

Винокуров молчал, что-то соображая. Влажные губы его тревожно вздрагивали.

Пчелкин сказал примирительно:

— Тут, Семен Семенович, действительно что-то запутано. Володя правильно подметил. Должно быть, редакторская небрежность..

Николай Николаевич умел улаживать неприятные споры.

Владимир не пошел на компромисс:

— Репин в защите не нуждается, но хватит дурачить нас подобной писаниной.

С этой минуты между Машковым и Винокуровым установились явно недружелюбные отношения.

Пчелкин, желая замять неприятный инцидент, вовремя подсунул Владимиру свои рисунки, а Семену Семеновичу — какой-то альбом. Прошло две-три минуты, и Машков уже восторгался.

— Да это же прелесть! Ты — маг, а не художник!

Николай Николаевич Пчелкин был и в самом деле отличным рисовальщиком. Однажды во время его персональной выставки один рабочий оставил в книге отзыв такую запись: «Вот это художник! Я никогда раньше не знал, что обыкновенный пятикопеечный карандаш может с такой силой выражать наши чувства: радость и горе, ненависть и любовь». Пчелкин гордился этим отзывом больше, чем похвалой своих старых учителей. Польщенный похвалами Владимира, он пожаловался:

— А Еременке эти рисунки не нравятся. Говорит — безделушки.

— Капитан Еременко? — переспросил Винокуров с гримасой пренебрежения. — Все грековцы таковы. Ведь это их начальнику принадлежит крылатая фраза: «Хватит писать беспартийные березки!»

— Глупый анекдот, Семен Семенович, — мягко возразил Пчелкин. — В студии Грекова творческий коллектив талантливый. — И, обернувшись к Владимиру, перевел разговор на другое. — Ты видел выставку Тестова? Вместо ответа Владимир сказал:

— Меня возмущает ажиотаж, поднятый истеричками от искусства по поводу этой выставки.

— Ну, а сама выставка? — настаивал Пчелкин.

— Ничего особенного, — отвечал Владимир.

— А Борис Юлин в восторге, — сообщил Пчелкин чужое мнение, скрывая, таким образом, свое собственное.

— Тестов — превосходный колорист, — тоном, не допускающим возражений, сказал Винокуров. — Другого такого у нас нет. А Борис Юлин — ученик Тестова. Юлин еще молод, но талант большой и оригинальный.

Владимир вспомнил полотна Тестова: гнилые сараи, зеленые щеки, оранжевые волосы — и с ожесточе-

нием подумал: «Так вот что мило вашему сердцу, уважаемый критик». Хотелось об этом сказать Винокурову, но Владимир сдержался: такого словами не прошибешь. Взглянув на Пчелкина, в его светло-карне с крапинками глаза, озорные и вызывающие, Владимир понял: «Подтравливаешь, как петуха, ради потехи. Не дамся! Не доставлю тебе удовольствия». Однако ж обидно, что Винокуров будет анализировать творчество Пчелкина, которого Владимир искренне уважал.

Николай Николаевич увлек гостей во вторую, более просторную комнату. Здесь было очень светло. На мольберте стояла большая картина: «Горький на Волге», написанная маслом. Владимир знал, что Пчелкин давно работает над ней, но еще ни разу не видел ее.

Горький был изображен в профиль. Он стоял на высоком зеленом берегу с березками и задумчиво смотрел вдаль, на Волгу. Сухая, высокая, угловатая фигура в белой косоворотке, темных шароварах и в тяжелых сапогах. Через плечо — пиджак. Волосы длинные, жесткие, падают на виски и затылок тяжелой гривой.

Владимир и Винокуров присели перед картиной и минуты три молчали. Пчелкин ждал.

— Превосходно! Великолепно решен образ Горького, — высказался наконец критик и вытер платком лысину.

Пчелкин предугадывал такой отзыв и не очень верил в его искренность. Он ждал мнения своего ученика, а тот все еще щурился на картину и молчал, покусывая губу. Пчелкин не вытерпел:

— Не нравится? Волги не видно?

Владимир молча кивнул.

— Ну вот, я так и думал, — без огорчения сказал Пчелкин. — Горький на Волге, а Волги-то и нет. — Он хотел показать, что заранее знает, за что его будут критиковать.

Но Владимир его огорошил:

— И Волги нет, и Горького пока нет, — задумчиво и доброжелательно сказал он.

Винокуров посчитал себя уязвленным. Он вскочил со стула и, смешно размахивая руками, начал доказывать, что картина по-настоящему великолепна, что так писать у нас редко кто может. Критик говорил о богатстве световой гаммы, о сочных красках и еще о чем-

то другом, говорил быстро, тускло и... неубедительно. Владимир не спорил. Он спокойно рассматривал краски, видел неточные мазки, неправдоподобные оттенки. Портрет был написан небрежно, в манере давным-давно знакомой и уже позабытой.

— Импрессионизм,— выговорил наконец Машков.

Это слово сорвалось у него случайно. Он не хотел говорить его вслух и теперь неловко прибавил:

— А может, я ошибаюсь?

— Ты сегодня не в духе,— возразил Пчелкин с недоброй усмешкой.

А Винокуров заговорил об импрессионистах и почему-то приплел сюда Сезанна. Владимир попытался вслушаться, но вскоре понял, что в словах критика нет никакой мысли, и уже больше не слушал его.

— Нет у нас ни импрессионистов, ни формалистов,— разошелся Семен Семенович.— Есть только любители приклеивать ярлыки. И не забывайте: импрессионисты сыграли в свое время весьма и весьма положительную роль в живописи. Они научили чувствовать свет. Импрессионизм был шагом вперед, он оказал благотворное влияние почти на всех наших маститых художников!

«Однако он здесь более откровенен, чем в своих статьях»,— подумал Машков

— Дорогой Николай Николаевич! — захлебываясь и брызгая слюной, продолжал Винокуров — Вот яркий пример: ваша картина. Люди, которые обожествляют передвижников, не поймут ее. Вы сейчас могли в этом убедиться. А не поймут потому, что вы написали ее необычно, по-своему. Она свежа и нова. Наше время особенное, и его нельзя изображать по старинке. Надо искать новые оригинальные формы.

Владимир заметил, что в словах критика зазвучали опять лицемерие и цинизм. Слушать его было утомительно. Может быть, поэтому Пчелкин, выждав паузу, спросил Владимира:

— Почему же нет Горького?

— Вот и я удивляюсь: почему? — повторил Владимир с горечью в голосе.— Почему ты, мастер точного рисунка, пренебрег здесь рисунком? Какая-то странная нарочитость. На тебя это совсем не похоже. Это не твое. Честное слово, чужое это.

Владимир выжидательно замолчал. Но Пчелкин,

кажется, не собирався спорить, а Винокуров уже устал говорить и теперь молча облизывал губы, шныряя глазами по комнате.

— Мне кажется,— снова заговорил Машков,— ты слишком увлекся красками и ради цветовых эффектов забыл о самом Горьком.

Пчелкин больше не обижался. Трудно было понять, что он думал. Владимир знал непоследовательность Пчелкина, но надеялся на его утонченный художественный вкус. «Понервничает, а потом поймет»,— думал он. И, сославшись на какие-то дела, стал прощаться.

— погоди,— задержал его Николай Николаевич.— Мне нужно с тобой серьезно поговорить.

Владимир вопросительно посмотрел на него, дескать, говори, если нужно, я слушаю.

— В порядке очереди,— пошутил Пчелкин.— Сперва я кончу дела с Семеном Семеновичем...

Винокуров понял намек и сказал:

— Собственно, мы с вами обо всем уже договорились. Если возникнут дополнительные детали, то я, с вашего разрешения, позвоню вам.

— Милости прошу,— обрадовался Пчелкин,— в любое время к вашим услугам,— и протянул Винокурову свою пухленькую, мягкую руку.

Когда Винокуров ушел, Николай Николаевич устало плюхнулся в кресло и, закрыв лицо руками, отдыхался.

— Уморил. До чего же утомительный человек!

— Представляю, какую монографию он о тебе напишет!

— А, все равно... Не он, так другой такой же. Этот немного в искусстве разбирается. А вообще он работяга. Садись, Володя, в ноги правды нет, рассказывай, что у тебя нового. Как мама?

— Мама здорова, а новости все у тебя.

— Да, есть одна новость, хорошая,— начал Пчелкин, таинственно оглядываясь.— Получил я заказ на большую картину. Написать нужно быстро, а размеры картины внушительные, одному не управиться. Решил создать бригаду.

— Слышал.

— Тем лучше. Так вот, Володя, я хотел бы пригласить тебя, Павла, Бориса и еще некоторых молодых ху-

дожников в качестве, ну, как тебе сказать, компаньонов, что ли. .

— Спасибо, Николай Николаевич, но я не смогу принять участия.

— Почему? — Пчелкин, должно быть, не ожидал отказа — Тебе не нравится состав бригады?

— Не в том дело. Я завтра еду в деревню на все лето.

Пчелкин был явно разочарован. Встал, подошел к окну и, глядя сверху на влажные рыжие крыши домов, сказал:

— Жаль. Очень жаль. У меня на тебя были особые надежды. Скажу откровенно: в случае удачи премия обеспечена.

На это Владимир ничего не сказал, лишь пожал плечами.

На вокзал Машкова провожали всем «колхозом»: Еременко, Окунев, Канцель, Вартанян и Юлин. Прощаясь, Еременко сказал:

— Через полмесяца и я уезжаю На Волгу. Собрать материал для диорамы.

— А я в Армению,— сообщил Карен.

— А мы с Борисом,— сказал Павел,— в акционерное общество «Пчелкин и компания». Ты, Володька, почаще пиши нам. Слог у тебя хороший, терпение есть, пиши, не ленись

Владимир обещал писать.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### *Письма Владимира*

Я реалист и коренной русский человек.

*П. Чайковский*

### Письмо первое

Дорогой Паша!

За окном вагона бегут перелески любимого Подмосковья; сейчас они серые, влажные. На полях почти не осталось снега, в низинах — половодье. Идет весна! Кру-

гом туманно и серо, и настроение у меня под стать погоде: радость вперемежку с грустью. Хорошо и радостно от сознания, что есть у меня добрые, настоящие друзья. Все вы — славные, чудные ребята. И мне совестно перед Борисом: я в последние дни был несправедлив к нему. Вел я себя задиристо, спорил. А из-за чего? Из-за пустяков. У каждого свой «почерк», ну и хорошо! Надо радоваться, что все мы разные, не похожие друг на друга. Надо дорожить дружбой, помогать друг другу, быть всегда выше мелочей жизни.

Да, Паша, хорошо мне и грустно. Грустно потому, что сегодня среди провожающих не было Люси. Мы разошлись с ней. Хотя слово «разошлись» звучит здесь неуместно. Кстати, с Борей мы неожиданно стали соперниками. Смешно? «Скорее глупо, Барон», — скажешь ты словами горьковского Сатина. После того собрания Борис начал серьезно ухаживать за Люсей. Разумеется, я не осуждаю его: она ему нравится. И вообще я не могу себе представить такого мужчину, которому бы она не понравилась. Боря — видный парень, умный и, наверно, талантливый.

А мы с ней расстались. Навсегда? Да, Паша, может быть, навсегда, как это ни тяжело. Ты не представляешь, как я ее любил... За что? Таких вопросов не задают. В ней вдруг я вообразил свой воплощенный идеал женщины и готов был боготворить ее всю жизнь. Кто она и что — я не могу сказать определенно, но, видимо, она не та, за которую я ее принимал. Если сказать правду, то я уже давно заметил, что образ, созданный моим воображением, далеко не соответствует оригиналу. Я стал умышленно подчеркивать ее недостатки, преувеличивал их и, не стесняясь, говорил ей в глаза неприятности. Она к этому привыкла и, должно быть, догадывалась, что это «разоблачение» несколько не умаляет ее в моих глазах. Помню ее первое и единственное письмо. Оно потрясло меня. Мне казалось: вот девушка, которая может осчастливить. За такую и жизнь отдашь с радостью.

«Мой далекий незнакомый друг, — писала она, — смотрите, не ошибитесь! Помните, что все прекрасно на расстоянии. Я тоже однажды нашла в жизни «звезду» и любовалась ею, а потом поняла, что звезды, как и облака, прекрасны на расстоянии».

По ночам я тайком от матери зажигал свет и перечи-

тывал эти необыкновенные строчки. Я боялся своей любви и считал себя недостойным ее. Серьезно, я даже в мыслях не решался представить себя ее мужем. Для меня в ней все было тогда идеально, начиная от прически с завитками на чистом белом лбу и кончая походкой — легкой, стремительной. Все ее манеры и привычки казались необыкновенно прелестными.

Видишь, какой сдвиг я стараюсь говорить обо всем этом в прошедшем времени. Прости за сумбур, сегодня я лучше не могу.

Может быть, спросишь: «А что между вами произошло?» Ничего. Типичный пример безответной любви, которая всегда состоит наполовину из комичного и наполовину из трагичного.

Я решил уйти с дороги, уступить место другому. Знаю, что ты будешь возражать: не по-мужски, мол, поступил, за свое счастье нужно бороться! Но это противно моим взглядам на любовь, на семью, на жизнь. Получается, что я навязываю себя, насильно заставляю ее любить. Это же абсурд! Настоящая любовь должна быть свободна от хитростей и насилий. Любовь — это когда люди не могут жить друг без друга. Я мог бы напомнить тебе очень сильные и верные слова о любви, вычитанные у великих писателей, художников и мыслителей, но они, увы, не выручают меня...

Может, нехорошо, что разоткровенничался, да что поделаешь, ты же друг. Если тебе не излить душу, то кому же? Пожалуй, даже Пете я не решился бы рассказать то, что написал сейчас тебе. Петя слишком замкнут, сам ни с кем не поделится сокровенным и других не располагает к откровенности.

Написал длинно и плохо: главного не сказал. А впрочем, я и сам не знаю пока, что главное. Отвел вот душу, и как будто стало легче. Пиши мне, когда будет настроение. А не будет — не пиши: не люблю «обязательных» писем.

Обнимаю тебя и всех ребят.

Твой Вл. Машков.

### Письмо второе

Здравствуй, дорогой Петя!

Итак, я добрался до цели. На маленьком полустанке, где поезд стоит одну минуту, меня встретили, по просьбе



Аркадия, два колхозника. Сам Аркадий в этот день был в обкоме на совещании. Он, оказывается, уже не директор Павловской школы, а второй секретарь райкома партии и живет в районном центре. А меня решил все-таки устроить в деревне, так сказать, поближе к жизни. И это, конечно, верно.

От станции до деревни Павловки километров пятнадцать по грязному, разбитому шоссе. Моими спутниками оказались весьма интересные люди, самые что ни на есть натуральные «сеятели и хранители» земли русской. Один — крепкий и бойкий старичок в черном старом полушубке и с огненной, торчащей во все стороны бородой — оказался старшим конюхом колхоза Сергеем Карповичем Вишняковым, другой — средних лет, сутулый, в поношенной солдатской шинели, в артиллерийской фуражке, из-под которой выползали клочья черных жестких волос. Этот сутулый все время отворачивался от меня и равнодушно смотрел в пространство. Равнодушие его показалось мне напускным и я спросил, как его звать-величать.

— Гвардии ефрейтор Степан Бугаев, бывший ординарец гвардии майора Конь, — ответил он по-военному, но на меня так и не взглянул.

Старик, подтягивавший чересседельник, мельком метнул на него неодобрительный взгляд и сказал при этом слово, которого я уже давно не слыхал:

— Супостат!

И тут мне показалось, что Бугаев «под градусом». Но почему он «супостат», я так и не понял.

Подтянув чересседельник и потрогав упряж, Сергей Карпович сказал мне:

— Давай свой чемодан. Вот сюда ставь. Хрупкого ничего там нет? А то дорога неровная. Ну, едем!

Лошади шли мелкой ленивой рысцой, и колеса громыхали по камням так гулко, что казалось не две, а сто подвод мчатся во весь дух. Я ехал на первой подводе вместе с Вишняковым, а Степан Бугаев лежал на второй, вытянувшись на животе во всю телегу. На поворотах я видел его угрюмое лицо. Оно показалось мне примечательным, и я не удержался от соблазна, стал набрасывать карандашом композицию. Степан заметил это, и его равнодушие будто ветром сдуло. Привязав повод своего мерина к задку нашей телеги, он пересел к нам и стал

бесцеремонно заглядывать ко мне в альбом. Потом приложил ладонь к щеке и притворно застонал.

— Зубы, проклятые, ноют...

— Что ж не зашел в лечебницу-то? — с ехидством спросил старик

— Да, заходил, — глухо ответил Степан, — двести граммов выпил, пивом закусил. Не помогает. — И, повернувшись ко мне, спросил с тревогой:

— Из редакции?

Я ответил отрицательно, но он, видимо, не поверил.

— А зачем рисуешь? Разве не для газеты?

Сергей Карпович подмигнул мне:

— Протащи его, да позлей!

Степан обиделся:

— Как бы не так? Что я такого сделал?

— То-то, что ничего, ни хорошего, ни плохого, — ворчливо ответил старик. — А только пьянствуешь.

— Старая песня, — перебил его Степан — В стенгазете читали: Бугаев — лодырь, Бугаев — рвач. Ерунда! А кто достал для колхоза пять пудов бобу? А ну, скажи? Чем бы вы сеяли, если б не я? Пропадете вы без Степана Бугаева! Алешка, щенок, только и умеет бумагу марать, а товарищ Волгин не разобрался, вот и... Меня агитировать нечего, я человек твердой линии, и, значит, никакими словами меня не проймешь. Я его, этого Алешку, прямо спросил: «За твое пью? Ты меня кормишь?» Паразитом меня обозвал! Это меня-то, бывшего воина-гвардейца! Кто ему дал право?

В тяжелых его словах звучала застарелая обида. У меня пропала охота рисовать этих людей. «Их сначала понять нужно», — подумал я и решил слушать.

— Аркадий Николаевич Волгин — человек справедливый, — рассудительно заговорил старик Вишняков и осторожно спросил меня: — А вы ему не родственник, слушаем?

— Нет. Воевали вместе, — ответил я.

Помолчали, и старик снова вскинул брови:

— А книг с собой не везете?

— Везу кое-что, — ответил я и спросил: — Читать любите?

— Читаю... Книга не баба, что ее любить. В книге разум человеческий. Дурак книгу не напишет. Вот заставь, к примеру, Степана написать. Человек он грамот-

ный, на фронте в денщиках при гвардейском майоре со-  
стоял, а книгу не напишет.

Степан молчал и все глядел куда-то вдаль. Старик Вишняков оставил его в покое и принялся допрашивать меня: по какому делу еду, надолго ли и почему именно решил я остановиться у Щербаковых. (Этого, разумеется, я не знал).

— У них тихо,— продолжал старик рассудительно,— разве вот только Алексей будет мешать, он заводной парень.

Не успел я поинтересоваться, кто такой этот Алексей и почему он «заводной», а Вишняков уже спрашивал о Москве и все изучал меня беспокойными колющими глазками. Вдруг он спросил, знаю ли я, на чем растут чересседельники.

— На вербе,— без тени улыбки ответил я и, погодя, добавил вполне серьезно:— Бывает и на березах растут.

Он понял, что «покупка» не удалась, и заговорил с притворством философствующего простачка.

— Все растет на земле. Все движется, развивается. Диалектика, значит. Вот и чересседельники... Но, козьявка!

У меня появилась охота написать красками его красноватое лицо с синими прожилками, запрятанные в мохнатых бровях хитрые, лукавые глаза и огненную бороду, в которой, должно быть, постоянно торчали, как иглы, стебельки сухих трав.

— Ты вот человек ученый,— говорил между тем старик,— объясни мне, пожалуйста: может ли живое родиться из ничего?

— Из ничего? — переспросил я, чувствуя какой-то подвох.— Сомнительно.

Вишняков оглянулся.

— А как же тогда червь появляется в свежем здоровом грибе? Набрал ты, скажем, белых грибов. Здоровые, крепкие, один к одному. Полежали сутки — и, смотришь, черви завелись. Откудова? Внутри родились из ничего...

Я молчал, а старик смотрел на меня с укоризной. Потом произнес довольным тоном:

— То-то, а говоришь, сомнительно! Уж на что — камни, ан и те растут. Медленно, незаметно для глаза, а

все-таки растут, если, значит, с землей соприкасаются, соки от нее получают. Вот эти, скажем,— он указал кнутовищем на два придорожных валуна.— На моей памяти махонькими были. А теперь, гляди, за полсотню-то лет как вытянулись! Слыхал, на Кавказе каменные горы есть? А откудава они взялись? Из камня выросли. Значит, там земля особо питательные боки имеет, да и климат подходящий.

— И все ты врешь,— громко засмеялся Степан. При этом лопатки его задвигались под шинелью, а красные, осоловелые глаза стали влажными.— Ты его не слушай, он хитрый и врать любит. Ты меня слушай. Я в бога не верую. И никто не верует. И раньше не веровали, а в церковь от скуки ходили.

Для большей убедительности Степан по-лошадиному мотал лохматой головой и сопел. Старик попытался перевести разговор на другое и спросил меня:

— А стишки любишь?

Я ответил утвердительно.

— Стишки — детская забава,— опять вмешался Степан.— Я слышал, что стишки пишут только до двадцати годов.

— Много ты знаешь! — возмутился Вишняков.— Один стихотворец сто лет без одного года прожил и до самой смерти стихи сочинял. Ну, как бишь его? Тот, который с балалайкой. .

— Джамбул,— подсказал я.

— Вот, вот, Джамбул. Девяносто девять лет прожил. А ты говоришь — забава!

Солнце таяло в белесом мареве и грело спину. Оно светило с самого утра, обдавая землю своим теплом. Даже белые громады облаков ходили стороной, бросая на поля широкие серые тени. В небольшой рощице, мимо которой катились телеги, стоял неумолчный крик грачей. Все деревья, еще голые, безлистые, загромождены большими темными гнездами. Как у Саврасова.

Удивительное дело: когда я глядел, бывало, на эту картину в зале Третьяковки, я всегда слышал вот этот весенний крик грачей. Это, брат, большое искусство — создать в картине звук. Как это сделать? Я задумался, всматриваясь в шелковистую, легкую, прозрачную ткань, затянувшую горизонт. Мысли мои спугнул голос Сергея Карповича:

— Вот переедем ручей, а там до Павловки рукой подать

Переехали ручей, и дорога пошла в гору.

— Тяжелая дорожка,— сказал как бы про себя старик и легко выскочил из телеги

Я понял намек и тоже спрыгнул на обочину.

— Слезай, Степан!

— Ничего, вывезет,— ответил тот.

Старик рассердился:

— Слазь, не балуй!

Степан даже не пошевелился.

— Ну что у тебя за лошади,— сказал он лениво.— Вот у нас в роте был мерин, Ватником звали, это конь! В гору, бывало, рысью бегал. У него, как у зайца, задние ноги длиннее передних были..

Я легко шел по сухой прошлогодней траве в гору, а позади меня продолжалась перебранка.

— Порядочного человека сразу видно,— возбужденно говорил старик.— Он вон сам слез, а ты

— Он — другое дело, он молодой,— лениво отбивался Степан,— ему полезно пройтись, можно сказать, в диковинку, а я человек изработанный...

В конце концов он все-таки слез и, согнувшись, покачиваясь, медленно побрел в гору. Лошадь догнала меня и пошла рядом. А позади слышались ругательства старика. Я оглянулся. Вишняков петухом бегал вокруг второй подводы. Оказалось, что еще при выезде из города у лошади Степана рассупонился хомут. Степан не заметил этого, и лошадь до крови растерла себе плечо.

На колхозном дворе, пока Степан неторопливо распрягал свою лошадь, Сергей Карпович с дрожью в голосе объяснял председателю колхоза Хахленкову, как Степка по своей халатности искалечил лошадь. И это перед началом полевых работ!

— Ну что с тобой делать?— сокрушенно спрашивал Хахленков Бугаева.— Судить?

— А что я такое уголовное совершил? — невозмутимо спросил Бугаев.— Вы меня благодарить должны: я пять пудов бобу для колхоза достал. Где бы вы его взяли?

— Значит, благодарности захотел? — Хахленков пожевал губами.— Между нами говоря, будь у меня гауптвахта, я бы тебя, разбойника, закатал суток на тридцать.

Степан отругивался лениво, с пренебрежением:

— Даже генерал таких прав не имеет. А ты всего-то старшина, да и то запасной — И увел лошадь в конюшню.

— Ну что с ним делать? — спрашивал нас Хахленков. И вдруг закричал на Вишнякова: — И тебя вместе с ним привлечь надо! Чего смотрел? Старший конюх называется!

— Ты на меня не кричи! — отрезал Вишняков. Кусты лохматых его бровей сердито зашевелились. — Ты на Степку кричи. А я за него не ответчик. Моя лошадь исправная.

Он быстро и ловко снял сбрую, положил ее в телегу и, раскачиваясь на коротких ногах, повел лошадь в конюшню. Хахленков кричал ему вслед:

— «Моя лошадь»! А та, выходит, не твоя? Ишь, единоличник! Моя хата с краю Раскудахтался!

Сейчас вечер. Я сижу один в большом трехкомнатном бревенчатом доме Михаила Васильевича Щербакова. Хозяин, судя по первому впечатлению, очень добрый и умный старик. Он заведует молочнотоварной фермой. Живут они вдвоем с сыном Алексеем, тем самым «заводным парнем», о котором я уже слышал в пути.

Как видишь, Петя, я доволен. Во всяком случае, начало многообещающее. Пока что я еще не разглядел тут ни тем, ни сюжетов, но люди, которых я увидел, — гарантия тому, что будут и темы, и сюжеты. Интересные люди! Я рад, что ты едешь на Волгу. Постарайся жить не в гостинице, а где-нибудь в армейской казарме или на квартире простого человека.

Будь здоров, Петя. Напиши мне с берегов Волги. Крепко тебя обнимаю

Твой Вл. Машков.

### Письмо третье

Милый Паша!

Мне кажется, что живу я здесь уже вечность. Иногда немножко грущу по Москве. Хотя в общем доволен. Я еще не знаю, что даст мне эта поездка как художнику, но как человеку она, несомненно, даст многое. То есть, я хотел сказать, не знаю, напишу ли я здесь или потом на сельские темы что-нибудь путное. Как-то все поворачивается неожиданно. Село показалось мне не таким, каким я себе его представлял.

Трудновато здесь живут люди. Неурожай прошлого года чувствуется в каждом доме. Не хватает хлеба, мало скотины, а та, что есть, никуда негодна, как здесь говорят — ни шерсти, ни молока. И кормить ее пока нечем, трава только подрастает. Я понимаю это последствия разрушительной войны. И сразу, одним махом, колхоз не поднимешь.

Понимаешь, мне иногда совестно в такую горячую пору полевых работ писать этюды — кажется, колхозники смотрят на меня осуждающе: дескать, пустяками занимается такой здоровый лоботряс.

Вот тут-то и задумаешься о смысле искусства: зачем оно, кому нужно и каким быть должно? Я пробовал приложить к действительности советы Иванова-Петренки и Винокурова, в которых, честно признаюсь, есть что-то дьявольски подкупающее, вернее — интригующее. Но у меня по-ихнему не получается. В жизни все как-то по-другому устроено. По Винокурову, надо видеть поэзию в повседневном, даже в мелком, случайном факте. По его мнению, любой кусок природы может послужить натурой для пейзажа. А я вот хожу по окрестностям, наблюдаю, присматриваюсь и не так уж часто нахожу «кадры природы», которые можно было бы перенести на холст. Собственно, на холст все можно перенести. Но смысл какой? Вставить в раму и повесить на стену? А люди будут равнодушно проходить мимо. Это не искусство, которое не способно волновать, действовать на зрителя. Но этого мало для меня. Я хочу еще знать, как оно будет действовать, какие мысли и чувства пробудит в человеке, какое настроение создаст. Можно, конечно, написать серый день, дождь, грязь непролазную: «на дворе собаки мокнут, даже лаять не хотят». Если талантливо сделать, то и в душе зрителя слякотное настроение появится. Но зачем, к чему портить людям настроение? Жизнь и без того нелегка, очень нелегка, дорогой Пашенька.

Мне вчера председатель колхоза сказал: «А вы нарисуйте нам плакат против потрав посевов, мы его на самом видном месте повесим». И, знаешь, я думаю, что такой плакат полезней плохой картины.

Видишь, какие сердитые мысли у меня.

Привет вашей творческой бригаде.

Твой Вл. Машков.

Радуюсь, свирепствуя и мучась,  
Хорошо живетcя на Руси!

*Сергей Есенин*

Буйный теплый дождь сбил с земли мутно-серое покрывало, и все сразу зазеленело и луга, и посевы. Дружно набирались сил яровые и озимые, зеленеющие сплошным массивом за рекой на косогоре. В ячменях из-под влажной земли кое-где выбивались уже лепестки сурепки — распространенного в этих местах сорняка. Река оделась в мохнатую зеленую шубку ольхи и лозы. Зазеленел колхозный сад. Павловка прятала серые крыши под зеленые кудри берез и лип.

После окончания сева у колхозного агронома Вали Вишняковой — дочери конюха — появилось наконец свободное время, и она, не скрывая радостного возбуждения, охотно согласилась позировать художнику.

Еще накануне Владимир приготовил холст, кисти и краски, а утром, как условились, с этюдником и портативным мольбертом он пошел к Вишняковым. День был погожий и безветренный. Прошедшие перед этим теплые дожди обильно напоили землю; и теперь она, расцветающая и помолодевшая, дышала грудью легко и привольно.

Валя ждала в беседке, под окном своего дома. Владимир увидел ее еще издали. Поздоровались Валя сверкнула в улыбке ровными белыми зубами и пригласила художника в беседку.

Перед тем как войти в калитку, Владимир подал девушке через ограду сначала холст, натянутый на подрамник, затем этюдник и, наконец, портативный мольберт, похожий на треногу фотоаппарата.

— Я готова! — сказала она и вспорхнула на скамейку под молодые листики сирени.

От избы на этот участок сада падала густая тень. Место было вполне подходящее. Художник положил на стул палитру и начал выдавливать на нее из тюбиков краски. Она с любопытством ребенка следила за движениями его рук.

Владимир растирал краски. А когда кончил, то вскинул голову и пристально посмотрел на девушку.

Валя смутилась. Тихая застенчивая улыбка скольз-



нула по ее залитому нежным румянцем лицу и погасла. Лицо сделалось сосредоточенным, строгим.

— Э, так нельзя! — воскликнул художник. — Мне нужны ваши глаза, и вообще не напрягайтесь.

Она снова улыбнулась, скользнула взглядом мимо него и стала глядеть куда-то вдаль, сквозь густую сетку яблоневых веток. Лишь украдкой она бросала на художника косые взгляды и видела, как он откидывает назад голову с темно-русыми волосами, как морщит высокий лоб и щурит глаза, глядя на холст.

«Какие правдивые и добрые у него глаза», — думала Валя. Вдруг ей показалось, что художник чем-то недоволен. «Наверно, сижу не так, как надо. И вид у меня несолидный, так, легкомысленная девчонка». А ей очень хотелось, чтоб на портрете она была не только красивой — это само собой разумеется, — но и серьезной. Как-никак — агроном.

Владимир сразу заметил перемену в девушке. Сначала обеспокоенность и досада сверкнули в глазах ее, тенью скользнули по лицу. Затем и лицо сделалось холодным, точно на него надели маску, уголки губ резко обозначились, брови сдвинулись, нахмурились, а глаза стали сердитыми. Эта неожиданная перемена несколько озадачила художника. Перед ним теперь была другая Валя Вишнякова, неестественная, деланая, и он не мог ее писать такой.

— А все-таки жаль, что люди не могут читать мысли друг друга, — сказал, добродушно улыбаясь, он. — О чем вы сейчас думали, хотел бы я знать?

Она смутилась, глаза и лицо на какой-то миг сверкнули новым блеском и затем под его такой доверчивой, доброжелательной улыбкой начали таять. Не дождавшись ее ответа, Владимир сказал:

— Я понимаю. Это тайна.

— Никакой тайны, — осмелев, ответила она, — совсем ни о чем не думала.

— Совсем не думать ни о чем невозможно.

— Нет, понимаете, я думала, что я не так позирую, — призналась Валя.

— Решили сделаться серьезной?

— Ага.

— Вот это ни к чему. Будьте такой, какая вы есть. Вам приходилось видеть старинные фотографии куп-

цов? Смешно, правда? Стоят как истуканы. Принимают выражение, или, как говорили тогда, делают умное лицо.

Валя звонко расхохоталась:

— Вы хотите сказать, что и я тоже ..

Конечно, он сказал неосторожно и пожалел об этом. Ответил с нескрываемой неловкостью:

— Нет, я просто прошу вас чувствовать себя свободно. Забудьте, что вас пишут, и расскажите мне о Степане Бугаеве. Что это за человек?

И она рассказывала: сначала робко, скованно, точно боялась потерять позу, а он «подбрасывал» ей незаметно вопросы, и Валя увлеклась. Говорила о людях колхоза, их нуждах и делах. И сразу ожила, стала той подлинной Валею, быстрой, легкой, прозрачной, такой, какой ее знали и любили в колхозе. Иногда увлекшись, она действительно меняла позу, и тогда он, жестикулируя кистью, как дирижерской палочкой, говорил ей негромко, будто боялся прервать ее рассказ:

— Чутьочку вправо голову. И выше чуть-чуть. Вот так Хорошо. Продолжайте, пожалуйста.

Работали два часа без перерыва. А когда Владимир сказал: «На сегодня хватит»,— Валя, подгоняемая естественным любопытством, бросилась к холсту, но художник быстро заслонил его, сказал тоном извинения:

— Пока еще рано. нехорошая примета.

Никакой приметы не было, он вообще не верил приметам, но не любил показывать незаконченный портрет. Вот и все

На другой день Валя позировала в то же время. Владимир показал ей портрет. Девушка не скрывала радости — портрет получился лучше, чем она ожидала.

После четвертого сеанса портрет был закончен. Но днем позже Владимир сказал Вале:

— Буду заново переписывать. Не нравится. Вышло не то, что я хотел.

Во время сеансов Валя рассказывала Владимиру о своих односельчанах так образно и ярко, что художнику захотелось писать портреты этих людей. Владимир любил писать пейзажи, он чувствовал природу, но люди больше привлекали его. Он писал их портреты с особым наслаждением, пытаясь проникнуть в их душу, открыть нечто необычное в характере

Владимир подружился и с Алексеем Щербаковым

Этот светлоглазый паренек с открытой, доверчивой душой напоминал Владимиру его юность. У Алексея были отцовские мечтательные глаза, отцовская страсть к исканиям и выдумкам. Он любил музыку до слез, в детстве сам научился играть на гармонике, и совсем недавно отец купил ему аккордеон, и Алексей вечерами после работы садился дома на низенькую табуретку, озорно пробегал по клавишам проворными пальцами и весь доверялся звукам. И казалось, он не играет, а изливает мелодией душу свою.

Однажды комсомольцы устроили воскресник: рубили колхозный лес на строительство. Владимир захватил этюдник, бросил его на телегу, где лежали пилы, топоры и аккордеон, пошел рядом с Алексеем. Разговорились.

— Я слушал твои песни, мелодии и думал: а ведь из тебя мог бы выйти талантливый композитор, — сказал художник.

Алексей задумался. Тихая грусть мелькнула в его влажных глазах. Потом он откинул мягкие волосы, падающие на виски, и сказал с присущим ему задором.

— В детстве я мечтал о чудо-баяне, который бы пел человеческим голосом, сам слова выговаривал. Вот, думаю, разучу все песни, которые только есть на земле, а то и сам сочиню, и буду ходить по селам людей веселить. На праздник пойду, на свадьбу, на работу в поле — всюду, где есть люди. Пусть слушают. А я им разное: то веселое, бодрое, то грустное, сердцещипательное, со слезой. Чудак был мальчишкой! Да и сейчас музыку, песни люблю. И все думаю: а кто сочинил народные песни?

— Народ, конечно.

— Ну, как — народ? Не все же сразу, кто-то один, наверно? И я вот мотив легко могу придумать, только скоро забываю, а записать не могу, не знаю нот. Слова сочинить трудней. Вот послушайте:

Не роняй ты, белая берега,  
Кудри серебристые свои.  
Расскажи мне про былые грозы,  
Про жестокие победные бои.

Он пел вполголоса, несколько смущался, но мотив песни, певучий и строгий, не был знаком Владимиру. В нем звучало нечто просторное, широкое, идущее от русской

народной песни, а ясная звучность голоса приятно ласкала слух

— Или вот другая: «Что задумался, дуб развешистый?»

Алексей пропел только начало и посмотрел на Владимира. Тот дружески сказал:

— Очень хорошо. Слова только не совсем гладкие, лохматые, а мелодия мне нравится...

— А знаете, Владимир Иванович, что мне хочется? Вот создать бы такую песню, самую сильную и могучую, чтобы ее весь мир хором пел на всех языках.

— Она уже создана,— сказал Владимир.

— Какая? — быстро спросил Алексей.

— «Интернационал».

— Верно. Это самая сильная. Когда поешь, душа вся переворачивается, а тело каким-то железным становится. Отчего это? Эх, давайте споем, ребята! — крикнул он лесорубам колхоза и почти бегом бросился к телеге за аккордеоном. Схватил его, набросил за плечи ремни, ударил по клавишам с неистовой удалью, сверкнул большими синими глазами, и звонкая песня, как волна, расплескалась в зелени.

Полсотни молодых голосов, сливаясь в один нестройный хор, звучали в утреннем воздухе, отдаваясь гулким эхом в сосновом бору...

В лесу роса еще крупней, воздух чище и приятней, он насыщен какими-то неуловимыми ароматами. Глядя на спокойные, еще не пробудившиеся деревья и прислушиваясь к тайным звукам чащи, Владимир от души радовался, что он пошел на этот воскресник. Он любил природу, как живопись и музыку, и хотя не всегда понимал ее, но зато чувствовал всей душой, а это дано не каждому. Он знал людей, которые хорошо понимали искусство, разбирались, что и к чему, и в то же время не чувствовали всем сердцем живопись, были внутренне равнодушны к ней, как и к природе...

В бору заскрежетали первые пилы, застучали топоры, понеслись крикливые голоса:

— Эй, Сенька, берегись!

— Лошадь-то убери!

— У кого мой топор?

— А ты что рот разинул? Не в цирке...

Но вскоре все улеглось, каждый стал на свое место.

Со скрипом и шумом падали сосны да кричали напуганные вороны и дрозды. Работали все, исключая старика Сахарова, который важно расхаживал промеж лесорубов и давал им наставления, да Владимира, который с интересом наблюдал за работой. Небо было без солнца, отчего меж деревьев струился мягкий ровный матовый свет. С потревоженных сосен падали застрывшие там дождевые капли.

Владимир попробовал писать, но это ему не удалось. Он сделал лишь несколько зарисовок до того, как громкий и протяжный голос бригадира прокричал: «Обед!» Усталые лесорубы садились на сваленные сосны, пахнувшие смолой и папоротником, развязывали узелки и обедали. Разговаривали, смеялись. И вдруг откуда-то издалека, как бы крадучись, несмело заговорил аккордеон. Он играл тихо, приглушенно, словно боясь помешать людям, но вот к нему присоединился голос, второй, третий... Голоса спокойные, без надрывов, задумчивые, и песня трогательная, задушевная, чуточку грустноватая пошла по лесу:

Куда спешишь, тропинка милая.  
Куда зовешь, куда ведешь?  
Кого ждала, кого любила я,  
Уж не веротишь, не вернешь...

Запевала Валя. Но как! Этого Владимир не мог бы передать никакими словами, это нужно было слушать, только слушать, и именно здесь, в лесу, как неповторимое, единственное в своем роде. Валя стояла на широком свежем сосновом пне, обхватив руками гибкую жимолость, будто хотела прижать ее к своей груди, и пела. Голос ее, чистый и выразительный, вливался в душу Владимира волнующей свежестью. Казалось, он заполнил собой весь лес. Даже птицы умолкли. Владимир стоял в стороне, прислонившись к толстой ели, и не сводил с Вали удивленного взгляда.

Песня кончилась. В лесу притаилась тишина. Лишь сосны с задумчивым посвистом хвои качались в своем непостижимом величии.

Эта песня, и Валя, и вся окружающая обстановка задела в душе Владимира какие-то сокровенные струны, их невеселый звон рождал воспоминания, в которых было нечто и приятное, и грустное, что звало к уединению, к

спокойным и неторопливым раздумьям. Владимир пошел в глушь леса. Чем дальше, тем гуще становилась чаща

Гул падающих деревьев и стук топоров постепенно удалялись. Владимир, приложив ладонь к разгоряченному лбу, все шел и шел, спотыкаясь о ползучие корни елей. Он был один со своими мыслями о Люсе, с неразделенными чувствами, взволнованными песней, навеянным шумом леса, отрадным и грустным. Владимир остановился. Отдаленный шум лесорубов доносился теперь откуда-то справа. Лес, казалось, о чем-то тяжело вздыхал. Художник увидел на маленьких елочках множество светлячков. Они ярко и живо сверкали разноцветными блестками в прохладной полутьме леса. Лучи солнца сквозь вершины деревьев падали на эти маленькие елочки, окропленные росой, и капли искрились. В замороженном состоянии сидел Владимир. Он не решался открыть этюдник: боялся, что не сможет выписать этот лесной уголок со всей его щедрой гармонией цветов и оттенков. Потом он осторожно и все еще нерешительно достал холст и стал пробовать краски. Постепенно на полотне начали вырисовываться темно-зеленые силуэты елочек и елей, серый, поросший мхом пенек, сухой хворост. Все это и похоже и не похоже на то, что было перед глазами художника. Шло время — час, второй. Но вот он попробовал золотисто-желтую краску — одну, другую, третью, пока не нашел нужную. И тогда сверху с правого угла по диагонали темно-зеленый фон пронизали раскаленные солнечные лучи. И картина сразу преобразилась, ожила, заиграла, как лес под утренним солнцем. Теперь оставалось только написать бриллианты росинки, сверкавших на елочке.

Владимиру иногда удавалось изображать каплю воды до иллюзорности, до волшебства. Однажды он написал плачущего мальчика, неожиданно чем-то удивленного. На полной щеке ребенка застыла светлая слеза. Она казалась до того естественной, что невольно хотелось смахнуть ее. Но тут, в лесу, было другое: не капля росы, а бриллиант, разноцветно сверкающий в солнечном луче. Владимир долго пробовал краски, но росинка получалась грубой и неестественной.

Художник устало вздохнул и спустился к оврагу. У белоногих берез цвели душистые ландыши. Владимир

отложил в сторону этюдник и принялся рвать цветы. И в эту минуту опять подумал о Люсе. Ему хотелось, чтобы и она была здесь, рядом. И цветы эти, и всю прелесть природы ему хотелось отдать ей.

Владимир собрал ландыши и перешел на ту сторону оврага. Здесь было сыро и прохладно. Он сделал еще полсотни шагов, и перед ним открылась лесная поляна, освещенная солнцем. Ветер куда-то угнал тучи, и только два-три одиноких серых облачка разных очертаний, как запоздалые гуси, торопливо плыли на запад. И небо, и нагретая солнцем земля дышали приятным теплом. Владимир невольно опустился на мягкую молодую траву, сорвал одуванчик, сдул пушок. Теперь одуванчик был похож на лысого старца. «Точно человек: сначала цветет, яркий, красивый, затем пышная седина, и вот — лысина. Смешно и грустно», — подумал Владимир. Возле него жужжал шмель, садился на тонкий цветок и падал, сгибая его своей тяжестью.

Владимир прислушался. Тихо шевелились вершины леса. Вокруг пели птицы. Пели на разные лады, — слева, впереди, сзади, вверху, в траве. Казалось, они соревнуются между собой, хотят перещеголять друг друга. «А вот ты так попробуй!» — казалось, выщелкал соловей и залился шальным самозабвенным свистом. «А может, они разговаривают между собой», — подумал Владимир и прислушался к птичкам. «Чижик, чирик, чирик», — призывала одна. «Я не твой, я не твой», — отвечал, видимо, чирик и вдруг, словно спохватившись: «Твой, твой, твой!» — «Видела, видела, видела!» — «Меня? Меня?» — безумолчно пело и щебетало в лесу.

«Как передать на холсте все то, что я видел и слышал и чем переполнена сейчас душа, — всю эту прелесть лесной жизни, сочной, яркой и радостной?» — настойчиво зазвучал в нем тот же внутренний голос, который он слышал в себе не раз. Владимир понимал, что краски не звучат и не пахнут цветами. Но они в силах создать на холсте такое настроение, чтобы зритель услышал и и пение жаворонка, и запах черемухи, почувствовал и зной, и лесную прохладу.

В памяти его всплывали лучшие картины передвижников, произведения классиков. У Шишкина есть «Ручей в лесу». Владимир долго стоял у этой картины, дышал лесной прохладой. В Художественном театре он

смотрел «Вишневый сад» и, сидя в зале, ощущал запах цветущих вишен «Это и есть искусство большой правды,— подумал художник — Да, да, во всем этом — дыхание, запах и ощущение подлинной жизни»

Вечером Владимир встретился с Вале́й. Она, казалось, была счастлива. Шли по лугу. Тянуло прохладой и запахами цветов. Вполголоса разговаривали

— Хорошо у вас здесь, Валенька! Я лежал сегодня на поляне, смотрел на цветы, слушал птиц. Мне казалось, что птицы перекликаются между собой. И хотя говорят на разных языках, а понимают друг друга

— Вы любите птиц?— тихо спросила она Он кивнул ей и улыбнулся Она продолжала:— Мне часто кажется, что каждая птица живет какой-то своей, особенной жизнью, и если к ней прислушаться, то можно услышать многое ..

Подошли к пруду, сели рядом под одинокой старой ивой, распустившей длинные косы, молча рассматривали в тихой темной воде отражение синих звезд. Иногда пробегал порывистый ветерок. В стороне, в деревне, как далекие зарницы, вспыхивали огоньки, слышались звонкие молодые голоса.

— Вам у нас нравится?— спросила Валя — По Москве скучаете?

— Немножко скучаю Но у вас хорошо, я доволен.

— У вас там родные?

— Мать. На заводе работает.

— А вас очень тянет в Москву? — тихо продолжала допрашивать она

— В Москву? Не очень. Надо вот съездить за холстом и красками.

И после каждого ответа — долгие многозначительные паузы

— Вы к нам больше не вернетесь? — обронила она.

Он обернулся, проникновенно посмотрел в ее лицо, и ему показалось, что он на какой-то миг уловил необычный блеск ее глаз

— Я еще не решил, Валенька..

— Вы не приедете больше. Вам у нас скучно,— печально сказала она и, кутаясь в пуховый платок, невольно коснулась его плеча. Ей хотелось прижаться к нему, но он не заметил ее робкого порыва и лишь спросил:

— Вы озябли? Пойдемте...



— Нет, нет,— возразила Валя — Это так... Мне тепло. Посидим еще. Здесь хорошо. Смотрите, небо обронуло в пруд свои звезды, а они не тонут. Им зябко, должно быть. Так и хочется поймать звездочку и согреть на груди.

Это прозвучало как полупризнание.

Владимир почувствовал, как в душе шевельнулось желание откликнуться на ее робкий трепет.

Давно уже перевалило за полночь. На северо-востоке светлела заря, в воздухе становилось свежо, а они все не собирались уходить. Вдруг где-то у школы рассыпалась трель аккордеона, и чистый тенор, как бы упрекая кого-то в своем одиночестве, затянул:

Снова замерло все до рассвета,  
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь,  
Только слышно. на улице где-то  
Одинокaя бродит гармонь,

Молчаливо-трепетное пожатие руки сказало Владимиру, что Валя очень хорошо чувствует эту песню. Оба подумали об одном и том же. Аккордеон умолк. И снова мягкая весенняя тишина окутала землю. Валя вздохнула и поднялась.

— Хорошо с вами, и спать не хочется,— тихо призналась она. И он понял ее. Захотелось сказать что-то очень хорошее, но все слова казались холодными, и он молча поднес ее руку к своим губам.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Нельзя быть паразитом и патриотом ни в одно и то же время, ни по очереди, т е сегодня патриотом, а завтра проходимцем.

*М. Салтыков-Щедрин*

Весна Люсю не радовала. Все обернулось не так, как ей хотелось. Растаял грязный снег на дворе издательства «Искусство», отшумели ручьи, просох асфальт на просторах Садовой улицы, первая яркая зелень тронула Цветной и Самарский бульвары. И наверно, это она,

ранняя весна с молодой зеленью, до боли всколыхнула душу.

Каждое утро, выскочив из троллейбуса за четверть часа до начала работы, Люся садилась на беленькую, недавно покрашенную скамейку под деревом на бульваре и взволнованно смотрела через шумную площадь на соседний Самарский бульвар, где зелень была гуще и нежней. Из-за деревьев выглядывал бельведер Центрального театра Советской Армии, увенчанный красным флагом.

В эти короткие минуты ей грезилось то цветущее, соловьино-шальное дачное Подмосковье, шумная теплынь московских вечеров, то манящая лазоревая даль еще неведомого южного моря. Люся чувствовала, как будоражит ее весна, искристая, звонкая, куда-то зовущая. А куда и зачем — Люся не знала.

Вздыхнув, она нехотя шла в прохладный мрачный кабинет с окном, выходящим на захламленный двор, садилась за письменный стол, мельком просматривала утренние газеты и, отгоняя посторонние думы, бралась за работу. Постепенно захватывало ее любимое дело, и она недовольно вздрагивала, когда звонил телефон, поспешно брала трубку, нежным кротким голосом, полным тайной надежды, говорила: «Я слушаю» — и в ту же секунду лицо ее мрачнело, веселые вспышки в больших зеленоватых глазах гасли.

Люся ждала звонка от Владимира. Но он уже больше месяца не давал о себе знать — не звонил и не писал. Это ее не так тревожило, как возмущало и злило.

С Борисом Юлиным Люся встречалась чуть ли не каждый вечер. С ним ей было не столько приятно, сколько весело. Она невольно сравнивала его с Владимиром, находила, что люди они очень разные, и не решалась отдавать предпочтение ни тому, ни другому. С Борисом они говорили непрестанно и как-то свободно, большей частью об искусстве, о театре, о литературе и, естественно, о живописи. С Владимиром разговор клеился трудно. Он больше смотрел на нее влюбленными глазами и тайком вздыхал, вызывая в ней насмешливое чувство.

Борис уже несколько раз бывал у Лебедевых дома. Люсиной маме он определенно понравился «Какой воспитанный и представительный молодой человек», — го-

ворила она. Отец же, Василий Нестерович, человек сдержанный, не спешил высказывать своего мнения о новом приятеле дочери.

Лидия Константиновна говорила о Владимире:

— Машков слишком прост и провинциален. О таланте судить рано — неизвестно еще, что из него выйдет.

На это Василий Нестерович отвечал вопросом:

— А ты, Лидушка, из князей, что ли, вышла?

Она не хотела спорить с мужем, а лишь высказывала свое мнение:

— Борису, говорят, премию дадут. Это уже определено.

— Смешно мне, право, слушать тебя. Не в премии счастье, а в человеке, — сердился Лебедев. Он не был расположен к Борису, и намеки жены на «хорошую партию» для Люси его раздражали.

— А я что? Я просто говорю. Мы им не судьи, пусть сами решают. Люсенька уже не маленькая и не глупая, — шла на компромисс Лидия Константиновна.

Вечером Люся должна была встретиться с Борисом «просто так, побродить по весенней Москве». Встреча не предвещала ничего необыкновенного, и Люся ждала ее без волнения. Когда же ей позвонил Борис и сообщил сожалеюще, что он сегодня занят и никак не может ее видеть, Люся обидчиво и многозначительно сказала:

— Вот как? Ну, дело ваше, как хотите...

Борис пустил в ход все свое красноречие, чтобы убедить Люсю в крайней необходимости его вечерней отлучки. Она недовольно перебила:

— Зачем вы мне об этом говорите? Не можете, ну и не нужно.

В конце рабочего дня Борис Юлин сказал Пчелкину, что их сегодня ожидает у себя Осип Давыдович Иванов-Петренко. Николай Николаевич вспомнил, что об этом ему уже говорила жена его, Лина, и просила не забыть. Наморщив большой квадратный лоб, он протер набрякшие веки и затем, приблизив свое лицо к Юлину, сказал негромко, так, чтобы другие не слышали:

— Может, и Павла захватим с собой? Кто там будет?

Борис хитро и доверительно посмотрел на Пчелкина, прикусил губу и отрицательно повел бровью: дескать, не стоит.

Из мастерской вышли вдвоем. В пути Пчелкин спрашивал:

— Ты хорошо знаком с Ивановым-Петренкой?

— Да, я часто у него бываю,— похвалился Борис.

— Не знаешь, зачем я ему нужен? — внешне равнодушно спросил Пчелкин. И Борис понял, что это равнодушные наигранное.

— Он любит вас, Николай Николаевич. Теперь он пишет о вас статью в энциклопедию. Наверно, хочет посоветоваться — И замолчал, ожидая, что ответит Пчелкин. Но тот ничего не сказал, и Борис продолжал:— Осип Давыдович человек общительный, компанейский. У него в доме всегдалюдно...

Это была правда.

В отдельной большой квартире Осипа Давыдовича всегда были гости. Знакомые называли ее «салонем Осипа»

Вошли. Пчелкин мельком осмотрел гостиную, уставленную массивной мебелью черного дерева. Все было стильно и мрачно, даже картины, тесно громоздившиеся на стенах, вставлены в рамки из тяжелого темного багета. В центре комнаты над круглым столом висела тяжелая люстра из какого-то темного металла, пыльная и тусклая. В гостиной царил однажды установившийся беспорядок. Завсегдатаи «салона» были бы немало удивлены, если бы не увидели вдруг обилия пыли на мебели, разбросанных на рояле нот и вороха бумаг и книг на большом столе, на тахте, на кожаном диване и даже в глубоких кожаных креслах.

Поражало обилие картин, статуэток и книг.

Помимо хозяина Осипа Давыдовича и его смуглянки дочери с ее звучным именем Диана, здесь были Яша Канцель, тихий и наблюдательный, с глазами зоркими и насмешливыми, поэт-сценарист Ефим Яковлев — худой долговязый мужчина лет тридцати, видимо очередной поклонник Дианы, старший брат Бориса Юлина Кирилл Маркович и еще полковник медицинской службы, недавно приехавший из Германии. Полковник, смущаясь, говорил в это время с подругой Дианы, Викой, не менее очаровательной поклонницей талантов. Разговор шел о сегодняшней статье Иванова-Петренки, посвященной концерту молодого молдавского композитора и музыканта Андрея Репиды. Пчелкин не читал этой статьи,

но несколько дней назад слушал концерт Репиды. Концерт ему понравился.

— Папочка, ты напрасно не пригласил к нам этого вундеркинда Репиду,— пропела Диана.— Он произвел впечатление славного мальчика. Ты не находишь, Вика?

— После статьи Осипа Давыдовича? — Вика вскинула приклеенные ресницы.— Сомневаюсь, чтобы он пошел.

— Напротив,— авторитетно сказал Кирилл Маркович,— ему лестно должно быть.

Голос у него самоуверенный, как у человека, любящего власть.

— Нечего сказать, выпороли в статье, как мальчишку, и говорят — лестно..— Вика обиженно передернула плечиками, будто и ей попало от критика.

— Все молодые гении обидчивы,— утешил ее грузный пятидесятилетний полковник медицины.

Поэт-сценарист посмотрел на него иронически:

— Вы, полковник, преувеличиваете. Никакой он не гений. Талантишко у него весьма сомнительный

— Я вам запрещаю так говорить об Андрюше! — Вика капризно стукнула кулачком по мягкому подлокотнику кресла

— Видали? Викочка влюблена в Репиду! — дурашливо объявил Юлин

— И я тоже,— сообщила Диана.

— Дианочка, ты слишком много кокетничаешь,— Юлин сверкнул плутоватыми глазами и погрозил девушке пальцем.

— Бальзак говорил: пока женщина не полюбит, она кокетничает,— авторитетно произнес Яковлев.

— В таком возрасте девушкам по меньшей мере бестактно напоминать о Бальзаке — Юлин сделал строгое лицо.

— Перестань, Боря! — прикрикнула на него Диана  
Иванов-Петренко сказал примирительно:

— Репида, несомненно, талантлив. Однако есть серьезное «но». — Он глубоко засунул руки в карманы пиджака и, приподнявшись на носках, глубокомысленно изрек, глядя куда-то вверх: — Это «но» ему мешает и может его погубить. Андрей Репида еще не нашел своего голоса. В нем нет самостоятельности, нет той струнки, без которой... — Осип Давыдович споткнулся и беспокой-

но взглянул на Пчелкина,— без которой не может быть, если хотите, настоящего таланта. И ты, пожалуйста, не спорь — Последние слова относились к дочери, которая, как показалось Пчелкину, и не собиралась возражать. Выждав паузу, Осип Давыдович продолжал:— «Молдавская сюита» — всего лишь ловкое подражание. Разве вы не почувствовали? — повернулся он к Пчелкину.— Репида еще переживает влияние «Могучей кучки».

«Что ж, это неплохо»,— подумал Пчелкин, а вслух сказал:

— Я, к сожалению, не читал вашей статьи о Репиде, но традиции «Могучей кучки», как я понимаю, не так уж плохи ..

— Дорогой Николай Николаевич! — Осип Давыдович снова приподнялся на носках.— Мы говорим о разных вещах. Традиции традициями, а искусство, как и все в мире, не стоит на месте. Наша бурная эпоха требует новаторского языка в искусстве. Новое содержание мы не можем выражать старыми формами. Мы должны быть новаторами.

С этим Пчелкин не мог согласиться, но у него не было желания спорить с критиком, который собирался писать о нем статью в энциклопедию. И он промолчал.

— Если уж говорить о творческом подражании,— примирительно заговорил вновь Осип Давыдович,— то нашей музыкальной молодежи в первую очередь надо иметь в виду советскую музыкальную классику.

— А есть она? — грубо перебил его Кирилл Маркович. Скулы на его квадратном лице задвигались.

Иванов-Петренко сморщился.

— В той мере, в какой мы привыкли ее считать: Мясковский, Глиэр, Прокофьев, Шостакович — наши, так сказать, ведущие композиторы...

— Ведущие, ведомые...— передразнил Кирилл Маркович.— Все это вздор, чепуха! Нет у нас ни ведущих, ни ведомых. Как и вообще нет большого искусства. А то, что вы, Осип Давыдович, называете классикой,— это детский лепет.

— Скудный нигилизм,— произнесла Диана, прикрывая ладошкой зевоту. Она полулежала на диване в тонком шерстяном халате, положив под острый локоть маленькую плюшевую подушку.

— Вы, Кирилл, чем-то озлоблены,— заметил с превеликим удивлением Иванов-Петренко. Он слишком хорошо знал собеседника и других слов от него не ожидал, но сегодня он должен был считаться с присутствием в «салоне» постороннего человека — Пчелкина.

Чтобы замять ненужную распрю, Вика перевела разговор на другую тему.

— У Фимы большое горе: худсовет провалил его сценарий о Чайковском. Да ты не расстраивайся,— посоветовала она Ефиму.— Свои шестьдесят тысяч получил и ладно. Что тебе еще надо, тебе, презирающему почести и славу?

Вика явно подтрунивала над Яковлевым, но более откровенно и потому менее безобидно, чем это делали все остальные в этом доме. Здесь подтрунивали и над Викой, и над братцем Юлина Кириллом, реже над Борисом и Дианой. Здесь знали истинную цену друг другу, хотя и не говорили об этом вслух — нужды не было.

— О Чайковском? Это интересно! — Пчелкин оживился.— Я представляю этот фильм как праздник музыки. В нем должна быть душа русского народа, понимаете, этакая «поэма», а не просто биография композитора, как это часто бывает у нас в фильмах о великих людях.

Яковлев промышал что-то неопределенное, потом заговорил громко:

— Можно по-всякому делать фильм. У меня собран богатейший материал...

Диана вспорхнула с дивана, села за рояль и заиграла «Пятый концерт» Бетховена. Кончив, лихо повернулась на вертящемся стуле в сторону Яковлева.

— Ну как, Фима?

— Чайковский есть Чайковский.

Девушки переглянулись, ухмыльнулись, но смолчали. А Иванов-Петренко серьезно посоветовал Яковлеву:

— Бросьте, Ефим, к черту музыку и кино. Это не ваше амплуа. Пишите стихи. Вы рождены для поэзии. Прочтите-ка нам что-нибудь свое — И, обращаясь к Пчелкину, пояснил:— У него есть дивное стихотворение. Как это?...

«...Давил клопов, что пахнут коньяком,  
И пил коньяк, воняющий клопами».

— Это кто ж так делал? — прикинувшись наивным, полюбостовал Пчелкин

— Лирический герой, конечно, — быстро ответил Осип Давыдович — К сожалению, у нас некоторые хотят ставить знак равенства между лирическим героем и автором. Смешно и глупо. Нет, Ефим, вы прочтите это ваше... «Ко вселенной»...

И когда догорит запад розовый.  
Грустно станет мне. Но потом  
Я утру свои жгучие слезы  
Неба синего плащ-лоскутом.

Великолепный образ! Философский.

— Время философской поэзии либо уже прошло, либо еще не наступило, — лениво сказал Яковлев. — Сейчас у нас господствует псевдонародная поэзия Исаковского.

— Что ж, Исаковский, по-моему, хороший поэт, — робко заметил Пчелкин.

— Раешник! — поморщился Яковлев.

Пчелкин не мог решить про себя: спорить ему или промолчать. В душе он не был согласен с Яковлевым, который продолжал высокомерно:

— Примитив всегда пользовался успехом у так называемых широких масс. Примитив всегда подделывался под мещанский вкус. А настоящая поэзия — она выше. Подлинные шедевры необязательно должны быть понятны каждому встречному. Новаторство всегда не сразу принималось так называемым массовым читателем. Новаторы в кровавых битвах отвоевывали свои права. Подлинных новаторов не понимают читатели, воспитанные на грубых, примитивных частушечных виршах. Это естественно. Сложное нелегко воспринимается. Простому человеку — рабочему, колхознику — ближе разухабистые трели гармошки, чем чистый и благородный голос скрипки. Разве я неправ?

Начал он говорить лениво, а кончил с жаром. Желчь, злоба, личная обида откровенно звучали в его сухих, сердитых словах.

Пчелкин понял, что тут собрались единомышленники. Единственно, кто оставался для него непонятен, это Яша Канцель. За все время он не проронил ни слова и лишь смущенно, украдкой поглядывал на Диану влюбленными глазами. По его лицу нельзя было определить, разделяет



он взгляды Яковлева, с которым, очевидно, согласны и все остальные, или не разделяет.

Осипу Давыдовичу в свою очередь хотелось прощупать позиции Николая Николаевича. Он проверил их на развязной болтовне Яковлева. Поняв, что Пчелкин не спешит разделить мысли Ефима, Иванов-Петренко постарался отмежеваться от Яковлева публично и громогласно:

— Исаковский — талантливый поэт. Стих его традиционен, но не лишен и новаторства. Он опирается на здоровое наследие. Наследие это следовало бы расширить в глубь веков и в даль современности.

Он говорил мягко, изысканно мягко, и Пчелкин все более проникался уважением и симпатией к этому «в сущности доброму человеку», как он думал.

Разговоры об искусстве всегда утомляли нетерпеливого, самоуверенного Бориса Юлина, человека молодого, но преуспевающего и самовлюбленного. Он надувал полные розоватые щеки, время от времени бросал на Виду скучающий взгляд и, наконец, тоном капризного ребенка напомнил:

— Мы ждем обещанного, Осип Давыдович.

— Вы всегда спешите, Борис, — дружески, но с неудовольствием ответил Иванов-Петренко. — Давайте-ка лучше сначала чайку попьем. Узнай, пожалуйста, Дианочка, на кухне.

Но узнавать незачем было: в просторной столовой стол уже был накрыт. В центре его маячила бутылка коньяку какой-то заграничной марки, привезенная медицинским полковником. Диана допрашивала Пчелкина:

— А скажите, Николай Николаевич, среди молодых художников есть восходящие звезды вроде Андрея Репиды?

— Как же не быть, есть способные ребята! — Пчелкин обрадовался близкой ему теме. — Вот хоть бы Петр Еременко, или Владимир Машков, или вот Яков Канцель. Да и ваш сосед Борис Юлин талантлив.

При последних словах Пчелкина холеное лицо Бориса изобразило девически соvestливую улыбку, а в тусклых глазах появился сухой блеск, не соответствующий этой улыбке. Мягкие розовые пальцы его рук беспокойно засеменили; поведя с ухмылкой бровью, он заметил, стараясь казаться объективным:

— О присутствующих говорить не принято, Николай Николаевич. Ну, а отсутствующие ребята, бесспорно, талантливы. Правда, Володька Машков лишен фантазии, а Петя Еременко ограничен батальным жанром, но я вовсе не хочу умалять их достоинств...

Осип Давыдович продолжал наблюдать за Пчелкиным. Пусть он не думает, что Иванов-Петренко полностью согласен с Борисом. Молодежь не свободна от субъективных оценок. А для Иванова-Петренко истина дороже всего! Он — критик и привык судить беспристрастно. Тут уж личные симпатии и антипатии к черту! И он, улучив подходящую паузу, вставил:

— Очень способный Еременко. Его «Минский котел» — великолепный образец батальной живописи. Кстати, ему очень полезно было бы тоже посмотреть мой сюрприз...

С этими словами Осип Давыдович встал из-за стола, вышел в кабинет и через минуту возвратился с тремя альбомами.

— Я хотел пригласить и Еременко, но незнаком с ним так близко... А хотелось бы. Вот посмотрите: это рисунки известного американского баталиста, участника второй мировой войны, — говорил Осип Давыдович, раскрывая пухлый альбом в черном переплете с красными кровавыми пятнами на обложке. — А это вот последние работы французских художников, — он открыл второй альбом — в пестром переплете — Ну, а это немцы... — и кивнул на третий альбом — в коричневом переплете.

Смотреть начали с последнего. В альбоме были шестнадцать цветных репродукций с картин одного западно-германского художника, четыре пестрых пейзажа и несколько натюрмортов.

— Обратите внимание на печать, — ликовал Иванов-Петренко — Не подумаешь, что репродукции! Настоящие подлинники. Представляете: массовый тираж! За полмарки вы приобретаете полное собрание произведений художника. Что скажете?

— Печать действительно... — промямлил Пчелкин. Его неприятно поразила пестрота.

— А написано-то, написано-то как! Свободно, ярко, сочно! — с видом тонкого ценителя восклицал Юлин.

— Написано — да-а... Чересчур ярко, пожалуй, —

не очень определенно сказал Пчелкин.— Рассчитано на дешевый эффект.

Ему никто не возразил, но никто его и не поддержал. Юлин, однако, съязвил:

— Зато наши наследники передвижников пишут серо и скучно...

Пчелкин предложил пригласить сейчас же Еременку — он баталист, ему и карты в руки. Осип Давыдович и его дочь обрадовались, и Николай Николаевич тут же позвонил по телефону Пете.

— Что же ты, голубчик, на совет не ходишь? — дружески упрекнул он Еременку. — Работал? А сейчас, как я догадываюсь, отдыхаешь? Так вот, запиши адрес и бегом сюда. Интересное для тебя дело есть. Какое? Придешь, узнаешь. Да, да. Сейчас. Это совсем рядом. Через десять минут будешь здесь? Ну, вот и хорошо. Кто тут есть? Все друзья: Боря, Яша... Трубку Канцелю? Пожалуйста.

Канцель взял трубку. Он был, как всегда, немногословен.

— Петя? Думаю, что тебе будет интересно, — сказал он. — Паши нет. Не знаю. Словом, приходи, ждем.

За четверть часа, пока ждали Еременку, Николай Николаевич рассказал о нем все, что знал: родился Петр на Украине, под Корсунь-Шевченковским, в крестьянской семье, в десять лет попал в детский дом, там и рисовать начал; потом — школа и Ленинградская академия живописи; только окончил академию — в армию призвали, а через год война началась.. Вот и вся биография.

— Словом, баталист до мозга костей, — заключил Пчелкин. — У него даже дипломная работа называлась «Железный поток», по мотивам одноименного романа Серафимовича

— Женат? — спросила Вика.

— Холост, Викочка, — охотно пояснил Юлин. — Как раз ищет невесту.

Вика обиженно уколола его:

— Ты, Боря, в Ташкенте воевал, а тоже ведь малевал какую-то баталию.

Невозмутимый Юлин покраснел. Звонок Еременки был как нельзя кстати. Петр вошел в гостиную нерешительно, на усталом лице его можно было прочитать смущение и неловкость. Быть может, на него подейство-

вал любопытный взгляд Вики? Или приветливый взгляд Дианы?

Еременку усадили за стол между Пчелкиным и хозяином, налили ему «штрафную». Хозяин провозгласил тост:

— За дружбу!

— За дружбу художников и критиков, — вставил Борис

— За настоящее искусство и принципиальную критику! — многозначительно добавил Петр, кивнул друзьям, новым знакомым и выпил до дна.

Осип Давыдович, поставив на стол пустую рюмку и жуя бутерброд с копченой колбасой, рассуждал:

— Принцип — понятие абстрактное. У каждого художника свои принципы...

— А есть и беспринципные, — усмехнулся Еременко

— Таких не встречал.

— Неужели? — искренне удивился Пчелкин. — Странно. А меня некоторые называют беспринципным.

Еременко положил ему руку на покатое плечо и, коснувшись взглядом Дианы, сказал с доброй улыбкой:

— Николай Николаевич, а ведь это похоже на рисунок, ей-богу!

Диана почему-то решила, что улыбка художника относится к ней, и улыбнулась ему в ответ.

А Иванов-Петренко уже подавал Еременке альбом с кровавыми пятнами. «Это, наверно, и есть то самое, зачем пригласили меня», — решил про себя Петр и открыл альбом. Первая страница с печатным текстом на английском языке. Еременко английского не знал, и Иванов-Петренко перевел ему. Это была краткая справка о художнике: молодой, талантливый, отличный стрелок и боксер, участвовал во многих баталиях на Филиппинах и в Северной Африке, герой Дюнкерка и Эльбы, лучше других понял сущность войны и талантливо показал ее в своих рисунках и акварелях, которые принесли ему славу и около миллиона долларов...

На первом рисунке, который назывался «Герой», на весь лист изображено нечто двуногое, грубоотесанное, человекообразное, в форме солдата американской армии, стоящего на поле боя. У ног его — какие-то обломки предметов, утвари, человеческие останки и заляпанные кровавыми пятнами лужи.

Рисунок показался Еременке знакомым: эту пьяную физиономию, засученные рукава и окровавленные руки он уже где-то видел.

— Эсэсовец? — спросил он.

— Что вы! Это же американский солдат! — поспешил рассеять его заблуждение Иванов-Петренко.

— Натуралистический формализм, — сострил Пчелкин.

— Это зависит от точки зрения, — возразил Осип Давыдович — В наше время нелепо писать баталию поверещагински. Войну нужно изображать во всей ее страшной наготе, не боясь гипербол и символики. Вот если принять эту точку зрения, то американец прав. Он изобразил типичного героя войны.

— А надо ли вообще изображать войну? — спросил Юлин. Ему не ответили.

— «Герой» — это, скорее, ирония художника, — отвечая Иванову-Петренко, предположил Еременко и подумал о вопросе Юлина: «Неужели он всерьез сомневается, надо ли вообще изображать войну?» А Борис уже отвечал на его вопрос:

— Какая может быть ирония! Типичный образ героя войны.

Следующая картина называлась «Проза войны». От бомбового взрыва рушатся высокие здания большого города, в ужасе мечутся какие-то силуэты среди моря не то огня, не то крови.

— Эта вещичка сильнее брюлловской «Помпеи», — торжествующе произнес братец Бориса, должно быть, чужие слова, потому что Диана при этом язвительно улыбнулась, обменявшись взглядом с Канцелем.

Изречение старшего Юлина и многозначительная улыбка Дианы настораживали Еременку. Его любопытство к рисункам постепенно сменялось отвращением. За «Прозой войны» следовала «Поэзия войны». Дальше он уже перелистывал альбом с брезгливостью. Названия рисунков и акварелей были короткие, но выразительные: «Страх», «Ненависть», «Гнев», «Трофеи Герберта». Отстранив альбом, Петр сказал резко и отчужденно:

— Это художник военных громил с их моралью и философией. Не понимаю, что вы нашли тут интересного... И потом — сама форма. Какое это имеет отношение к искусству? — Он поднял слегка сощуренные глаза и заме-

тил, что у Иванова-Петренки рот презрительно сжат, под глазами синеватые мешки.

Пчелкин сидел в кресле спокойно, с неизменной ленивой улыбкой на губах. Но глаза его, быстрые, с крапинками, не улыбались. Сложное чувство испытывал Николай Николаевич Иванова-Петренку он считал человеком неглупым и понимающим искусство. С ним можно было спорить, не соглашаться, но слушать его иногда было приятно. Перед Еременкой Николай Николаевич испытывал неловкость. Тем более что был уверен, что об этом вечере Петр расскажет потом Машкову и они оба осудят Пчелкина...

— Мы отвлеклись от своей темы и, как говорится, углубились в запретную для художников сферу политики,— двусмысленно изрек Юлин.— Насколько я понимаю, разговор идет о батальном жанре, не так ли?

«Напоминает о своем вопросе»,— улыбнулся Еременко, предвкушая немалое удовольствие от разговора на излюбленную тему.

— Именно о жанре,— подхватил Иванов-Петренко.— Мы говорим о правдивом, глубоком, я бы сказал, философском изображении войны. Вы правильно подметили, Петр Александрович, именно философском. И здесь,— он резким жестом указал на альбом американца,— будем говорить откровенно, есть эта правда, страшная, ужасная, но правда. Вы говорите «философия громил». Совершенно верно! Вы, уважаемый Петр Александрович, лучше других понимаете смысл войны. Война и есть массовое убийство, в этом ее смысл и философия, если хотите. Мы не приемлем эту философию, она чужда нам, и потому, естественно, мы говорим о постепенном отмирании батального жанра. Хотя многие в силу какой-то привычки, рутины, что ли, не хотят этого понять.. Война окончилась, новые задачи встали перед искусством, не побоюсь утверждать: более трудные и сложные задачи. А насчет философии— это вы очень хорошо сказали! Искусство должно быть философским, этого недостает многим нашим произведениям. Глубины мысли не хватает...

Критик говорил неестественно громко, словно перед ним было многолюдное собрание. «Рисуется»,— отметил про себя Пчелкин. Израсходовав весь запас холодных, но пышных слов, Осип Давыдович замолк и устало сел. И тотчас заговорил Юлин:

— Сейчас баталистам делать нечего. Пусть перестраиваются на мирный<sup>1)</sup> лад. Я думаю, что студию вашу, Петя, скоро распустят.

Еременко вдруг понял, что Юлин повторяет чьи-то чужие мысли. Слова «распустят студию» всерьез настояжили Петра. Одни здесь ратуют за отмирание отечественного батального жанра, другие превозносят человеконенавистнические рисунки американца, третьи выдвигают «новые» сомнительные задачи — все это гроздилось в сознании Петра одно на другое. «И зачем я здесь?» — с тоской подумал он и вопросительно посмотрел сначала на Канцеля, потом на Пчелкина. Николай Николаевич, словно угадывая его тревожные мысли, возразил Юлину-младшему:

— Не думаю, чтобы студию распустили. В конце концов мы обязаны отобразить великий подвиг народа в этой войне...

— Дорогой Николай Николаевич! Вы, сами того не желая, умаляете достижения наших баталистов, — сказал Осип Давыдович. — Во время войны они славно потрудились, колоссально много сделали, воспевая подвиг народа. То, что создано ими во время войны о войне, уже вошло в историю искусства. Но теперь, когда на очередь стали новые миротворческие задачи...

Еременко перебил его:

— Не так-то уж много мы, баталисты, создали, что было бы достойно ратного подвига народа. И разоружать нас пока рановато

Будучи впечатлительным и честным, Петр не терпел неправды, в какие бы одежды она ни рядилась. Вот и сейчас ему хотелось отбросить прочь этикет гостя и резко возражать Иванову-Петренке. Пусть этот всезнающий критик сочтет его за невоспитанного мальчишку, пусть самодовольно и торжествующе улыбается Борис Юлин, пусть останется им недоволен Николай Николаевич. За каким же чертом его пригласили в этот дом — чтобы он им поддакивал? Нет, он скажет все, что думает.

Но ему не давал сосредоточиться голос хозяина, ставший вдруг вкрадчивым, скользким, будто смазанным вазелином.

— Народ еще не отдохнул после войны, а вы напоми-

наете ему ужасы, изображая баталии, кровь, трупы, развалины. Зачем людям об этом напоминать?

— Мы изображаем не кровь, не трупы, а героизм народа, величие и красоту его подвига. Это наша славная военная история. На ней будут воспитываться поколения

— В военном духе? — прозвучал неожиданный, как выстрел, вопрос Яковлева. Лицо его позеленело, взгляд страдальческий, тон обиженный.

— Нет, в духе беззаветного служения Родине, — твердо ответил Еременко.

Стало тихо. Лицо Петра сделалось багровым. «Самый подходящий момент для ухода», — решил он. Глаза его встретились с блестящими глазами Дианы. Мечтательные, романтические, они блестели слезой и, казалось, призывали к благоразумию или просили о помощи.

— Хватит, папа, ты всегда любишь спорить. — И, мило посмотрев на Еременку, Диана взяла его под руку, примирительно предложила: — Оставимте их, Петр Александрович. Пусть себе спорят. Они все это любят: и папа, и Борис, и Ефим. Всегда спорят друг с другом, но никогда не ругаются. — И увлекла Петра в небольшую уютную комнату.

Тут стояли два книжных шкафа, кровать, столик с фотографией какого-то артиста и с разными фарфоровыми безделушками, тахта, покрытая большим текинским ковром, один стул, тумбочка с ночником и настольная лампа с лимонным абажуром.

Диана усадила Еременку на тахту, неторопливо достала из шкафа небольшую головку из белого мрамора, поставила на край стола и спросила:

— Скажите, это хорошо или плохо?

Это был ее портрет.

— По-моему, хорошо, — тихо ответил Петр.

Диана улыбнулась, кокетливо затрепетала ресницами и, усевшись рядом с художником, сказала:

— А Борису и Ефиму не нравится. И папа говорит, что работа посредственная. А я считаю, что они неправы. Борис просто ревнует меня к автору, у папы странный вкус, а Ефим вообще не имеет никакого вкуса.

Петр слушал ее и задумчиво глядел на скульптуру. Он не решался спросить имя автора. Диана сама сообщила:

— Это подарок Яши Канцеля.



Она призналась, что Яша ухаживает за ней, но этот талантливый скульптор — скучный человек, ей не нравится его непрактичность в жизни. А в Вику влюблен поэт Яковлев. Вика же без ума от Бориса, а Борис увлекся какой-то искусствоведкой Люсей и на Вику не обращает внимания.

Диана говорила без умолку, порхая от одного завсегдатая папиного «салона» к другому. Люди они, по ее мнению, вообще добрые и спорят «ради спортивного интереса», от скуки. Но бывают у них и веселые, и чудные вечера, например когда Ефим читает свои стихи, или Вика исполняет романсы под аккомпанемент Дианы, или когда из Киева приезжает племянник Семена Семеновича Винокурова Геннадий Репин, талантливый художник и поэт, автор острых пародий, фельетонов и эпиграмм...

Тоскливые слова Дианы нагоняли на Петра скуку, а ее неожиданная откровенность, навязчивая доверительность смущали его и отталкивали. Воспользовавшись разговором об искусстве, он пожелал посмотреть альбом репродукций французских художников и под этим предлогом уйти, но с альбомом пришел Яша Канцель. Потом вошел Борис и сейчас же принял на себя роль комментатора альбома. Сделав важное лицо, он стал говорить о творческих позициях неореалистов, которых, разумеется, считал бездарными фокусниками, и тут же продемонстрировал одну из репродукций На желтом, песочного цвета, фоне — серо-зеленые пятна неопределенной формы. При весьма досужей фантазии их можно принять за кактусы в пустыне. Под произведением — загадочная подпись: «Иммиграция». А вот и другая мазня, называемая «Катастрофой». Куски металла, кровь, решетка, голова осла, расплюснутое колесо, кисть человеческой руки и еще что-то совсем уж непонятное, перемешанное в каком-то чудовищном хаосе.

— Название меткое — «Катастрофа», — усмехнулся Еременко — Оно и определяет судьбу этих новоявленных реалистов.

— Собачий бред, конечно, — сказал Юлин — Зато вот здесь есть чему поучиться! — И показал на картину, на которой расписаны куры с петухом в центре. Картина пестрила красками, от нее рябило в глазах, и Еременке почему-то вспомнились репинские слова об импрессионистах. «Я не могу долго смотреть на это раз-

ложение цветов: глазам делается больно сводить эти ярко-зеленые краски с голубыми полосами, долженствующие изображать тени».

— Чему же здесь можно учиться? — спросил Петр, недовольно морщась.

— Живописи, — самоуверенно ответил Борис. — Кто станет оспаривать, что написано великолепно? Как по-моему, Дианочка?

— Красиво, — уклончиво ответила девушка.

— А красота — это и есть главное в искусстве! — торжественно провозгласил Юлин.

Еременко посмотрел в его полное, должно быть, мягченное лицо и неохотно возразил:

— А мне казалось, главное в искусстве — мысль, чувство, содержание.

— Боря — неисправимый эстет, — примирительно сказала Диана, улыбаясь влажными вопрошающими глазами. Но улыбка получилась фальшивой.

«Как это глупо!» — подумал Еременко и, взглянув на часы, начал прощаться. Диана ответила ему обиженным взглядом.

В это время вошла соскучившаяся по Юлину Вика, за ней, как тень, втиснулась долговязая фигура Ефима Яковлева. В маленькой комнате стало тесно. Диана пожаловалась, что Петр Александрович собрался уходить.

— Так рано? — Вика сделала удивленные глазки. — Мы вас не отпустим! Вы наш пленник.

— Да понимаете, Вика... — начал смущенно Еременко.

— Пойдемте в гостиную, — позвал Яковлев. — Там обсуждаются мировые проблемы.

Диана шла без особой охоты: «мировые проблемы» ей давно уже надоели. Когда подходили к двери гостиной, Еременко услышал:

— Не понимаю, зачем он вам? — раздраженно спрашивал Юлин-старший.

— Талантливый художник, — отвечал голос хозяина.

— Ну и что же?

— Пригодится..

Еременко остановился, пропустив вперед себя Бориса. В гостиной сидели Иванов-Петренко и Кирилл Маркович. Пчелкина и медика не было. «О ком они говорили?» — подумал Еременко. Ему стало невыносимо в этом

«салоне», хотелось быстрее уйти. Но куда же девался Пчелкин? Ах, вот он. Николай Николаевич вошел, как всегда, с сияющей улыбкой. Кирилл Маркович встретил его вопросом.

— У вас дача с лифтом?

— У меня и дачи нет, и не желаю иметь,— расхохотался Пчелкин — Предпочитаю ежегодно снимать. Меньше мороки

— Это неразумно,— возразил Юлин-старший.— Дача тот же капитал.

— Кирилл Маркович — дачный бог,— шепнула Еременке Диана.— У вас нет своей дачи? Он вам может устроить И недорого.— И тут же попросила:— Кирилл Маркович, помогите Петру Александровичу дачу построить. Художнику без дачи нельзя..

— Что ж, это надо обсудить.— Юлин-старший испытующе посмотрел на Еременку, очевидно ожидая, что тот уцепится за столь соблазнительное предложение.

— Так будем считать, дорогой Николай Николаевич,— заговорил Иванов-Петренко, преднамеренно заглушая все другие голоса,— что мы с вами договорились. Статью в энциклопедию я сдам после того, как вы с ней ознакомитесь.

— Надо надеяться, это будет отличная статья! — повернувшись к Пчелкину, торжественно произнес Яковлев.

— Будьте покойны, на этот счет у Осипа Давыдовича есть энциклопедический опыт.— Борис Юлин отодвинул стекло книжного шкафа и провел пальцами по томам Малой советской энциклопедии.— Тут многие статьи о художниках вышли из-под пера Иванова-Петренко.

Он хотел польстить сразу двоим — и Пчелкину, и хозяину дома,— но сделал это неумно. Еременко заметил, как по недовольному лицу хозяина пробежали синие тени. Осип Давыдович поспешно заговорил о другом:

— Мы с вами, Николай Николаевич, несем ответственность за их будущее,— Иванов-Петренко кивнул на молодых художников.— Надо помочь им преодолеть нашу национальную ограниченность...

Не успел Осип Давыдович закончить последнюю фразу, как Еременко уже вынул из книжного шкафа том

Малой советской энциклопедии, достал его, отыскал нужную страницу и пытливо спросил:

— Скажите, Осип Давыдович, а это не ваши ли семь строчек о Шишкине? — И, не дожидаясь ответа, прочел: «Шишкин — живописец, пейзажист (даже не художник, черт возьми! — добавил от себя Петр), рисовальщик и гравер. Один из типичнейших представителей передвижнического натурализма семидесятых годов... Его живописи недостает света и воздуха». Как, Николай Николаевич? — спросил он Пчелкина. — Здорово, правда? Автору «Лесных далей», «Ржи», «Полдня» недостает, видите ли, света и воздуха! «Тем не менее Шишкин сыграл значительную роль в истории русского пейзажа, изображая скромную, незаметную природу севера, хвойный лес и его обитателей». Вот и все. Семь строк в энциклопедии.

— Я этого не писал, — поспешил отказаться Иванов-Петренко и сердито нахмурился.

— Издевательство, — негромко, но со злостью выдал Яша Канцель

Эта была едва ли не первая критическая фраза, сказанная им за весь вечер, и все настороженно и выжидающе посмотрели на него.

— Нет, друг, это не только издевательство, — стараясь казаться спокойным, возразил Петр — Это, если хотите, диверсия. «Передвижнический натурализм!» Как вам это нравится? С Шишкиным заодно и передвижник Репин — тоже натуралист. Тот Репин, который сам о себе говорил, отвечая на травлю эстетов. «Всеми своими ничтожными силенками я стремлюсь олицетворить мои идеи в правде. Окружающая жизнь меня слишком волнует, не дает покоя, сама просится на холст. Действительность слишком возмутительна, чтобы со спокойной совестью вышивать узоры, предоставим это благовоспитанным барышням».

Юлин проклинал себя за то, что так необдуманно и некстати похвалил Осипа Давыдовича за «энциклопедический опыт». Но остановить Петра уже было невозможно. Говорил он тихо, спокойно, и в этом спокойствии было самое страшное:

— Обратите внимание: портрета Шишкина в энциклопедии нет. Зато статья о Сезанне с портретом. Не семь строк, а статья, целая статья в восторженном тоне.

Причем специально подчеркивается, что Сезанн когда-то был реалистом, но, дескать, вовремя разочаровался, заявил, что реализм — не искусство, и ушел к импрессионизму.

— Потому и выпускают энциклопедию новым изданием, чтобы исправить подобные нелепости,— сказал Иванов-Петренко. Он как-то сразу вдруг весь преобразился. Изящество его манер, сладкая учтивость и предупредительность — все растаяло, не оставив и следа. Густые брови его ошетинились, губы сжались, лицо стало сухим и жестким.

— Издание-то новое, да авторы старые,— глухо выдал Иван Еременко.— Заметку о Шишкине, может, исправят, а новый десяток бездарностей произведут в классики и протащат в энциклопедию.

В душе Пчелкин вполне одобрял Еременку, но на лице изобразил осуждение. Нельзя же так грубо..

Поспешно простившись со всеми, Еременко стал одеваться. Его не задерживали. Заторопился и Пчелкин. Его уговаривали посидеть еще, он придумал какую-то отговорку и вышел вместе с Еременкой. Они долго не находили слов для разговора. Горькая обида на Пчелкина и Канцеля кипела в душе Петра. «Зачем они меня сюда затащили?» Вспомнился случайно подслушанный разговор и особенно слова: «Талантливыи... пригодится».

— Меня Борис пригласил,— ответил Пчелкин на немой вопрос Еременки. И, должно быть, поняв, что в его словах уж слишком прозвучали оправдательные нотки, добавил: — Осип Давыдович хотел переговорить со мной по поводу заметки в энциклопедию.

Еременко ничего не сказал, и Пчелкин, взглянув на него, воскликнул:

— А ловко ты его! Так и надо!

Петр хотел сказать: «Если так и надо, то почему же ты меня не поддержал?» Но сказал другое:

— Я убежден, что и о Шишкине, и о Сезанне писал именно он, Иванов-Петренко. А ты знаешь, зачем тебя приглашали? Ты им нужен потому, что ты талантлив, годишься. Я случайно слышал разговор.

Пчелкин неестественно, громко расхохотался, приговаривая:

— Тут, брат, ты что-то заливаешь...

В поведении Николая Николаевича было нечто лег-

комысленное и беспечное. Это возмущало и злило Еременку.

— Они мне нравятся,— весело говорил Николай Николаевич.— Эдакие пестрые, разные, не похожие друг на друга люди! Ей-богу, у них нескучно. Спорят, не соглашаются, мысли будят. А мы с тобой думать разучились

— Ты говоришь «разные»? Я что-то не заметил. Вот разве только Яша у них другой. А все остальные говорят одно и то же, только разными словами. Оригинальные мысли у них? Какие же? Об отмирании батальной живописи? Да у них просто мозги набекрень!

Домой Петр пришел усталый, расстроенный и возбужденный. Тревожные мысли одолевали его. Позвонил было Павлу Окуневу: хотелось отвести душу, но того дома не оказалось. Достал из почтового ящика «Вечернюю Москву» и письмо. Почерк незнакомый, обратный адрес — Барнаул, в котором он никогда не был и никого знакомых не имел. Писал неизвестный молодой художник, просил совета. Еременку он называл своим учителем, очевидно, полагая, что Еременко — пожилой человек и маститый художник.

«Я прошел от Курска до Праги по дорогам войны,— писал неизвестный.— Столько повидал и переживал, что сюжетами на всю жизнь запасаю. Вернулся домой, начал работать, а мне в нашем отделении союза художников говорят: «Военная тема отжила свое время». Я считаю это недомыслием, куриной слепотой или же вредительством. По меньшей мере, это кощунство над светлой памятью наших людей, отдавших свои жизни за свободу и независимость своего Отечества Дорогой Петр Александрович! А ведь и молодогвардейцы, и Александр Матросов, и Гастелло, и тысячи безымянных воинов, в том числе и мы с вами, воспитывались на героике гражданской войны, брали себе в пример Чапаева и Щорса, Котовского и Лазо. Чапаевская тачанка, наверно, не раз вспоминалась нашим лихим танкистам... А разве сегодня опасность для нашей Родины совсем отпала? Нет, дорогой Петр Александрович! Нас просто хотят обезоружить».

Петр сел на диван и задумался. Удивляло, что этот незнакомый и далекий юноша думал так же, как и он сам. Почему же это? Ответ нашелся сам собой: естест-

венное беспокойство за судьбу Родины. Вспоминались чьи-то слова, кажется, начальник студии говорил: «Всякий раз, когда над страной сгущаются грозные тучи, наши идейные враги переходят в наступление». Тонко подмечено!

Идейные противники... До нынешнего вечера это понятие для Петра было каким-то абстрактным. Во всяком случае, это было нечто далекое и неопасное. И вдруг он увидел идейных противников рядом с собой: внешне чистенькие, миролюбивые, добрые... Может, заблуждающиеся люди? А может, просто так — тля. Но ведь от нее — гниль, а она опасна для здорового организма.

Еременко снова подумал о Пчелкине. Неужели Николай Николаевич не понимает, что такое Иванов-Петренко и его «салон»? «Разные они, с ними весело, а мы с тобой думать разучились», — вспомнились его обидные слова. «Последнее — это в мой адрес, — рассуждал Петр. — О себе Николай Николаевич, конечно, другого мнения: он-де не разучился думать. Обидно: человек-то ведь талантливый. За Пчелкина надо бороться, быть может, еще не поздно. Поговорить с ним надо непременно, серьезно. Вот только поймет ли он? Захочет ли понять?»

Этого Петр не знал. Не знал он, что Пчелкин отлично видел и понимал Осипа Давыдовича и всю его компанию. Но он считал себя «дипломатом» в искусстве, понимающим силу Барселонских и Винокуровых.

И Пчелкин давно решил: с ними ни в коем случае нельзя идти на конфликт, надо ладить — так удобней. Так советовала ему жена, умная дальновидная Линочка.

А Еременко решил прошибить стену, разрушить и развеять по ветру ее прах. Не головой, конечно. Хотя он еще не знал, как это сделать, но он был непреклонен в своем решении бороться, потому что, по его убеждению, «салон» Осипа Давыдовича — это гнойник, который надо вскрыть. Конечно, он и не думал, что бороться придется в одиночку, он знал, что за ним стоит большинство, что винокуровых ничтожная кучка. Хотелось прежде всего поделиться с Владимиром Машковым своими мыслями, рассказать о «салоне» Иванова-Петренки. Но Владимир был далеко, в колхозе. Павел и Карен? Но они сейчас слишком заняты своей картиной, и, потом, Окунев как-то смотрит на все эти вещи рав-

нодушно. Его девиз — только работать. Работать и еще раз работать. А там хоть трава не расти. Он старался быть в стороне от борьбы, от принципиальных споров, считая их групповщиной.

Поэтому первым, с кем поделился своими мыслями Еременко, был начальник студии имени Грекова.

Этот пожилой непоседливый подполковник выслушал своего подчиненного на редкость внимательно и вопреки своему обычаю ни разу не перебил его. Только когда Еременко произнес последнюю фразу своего рассказа: «Меня это волнует и пугает», подполковник, покусывая карандаш — это была его привычка, — заметил:

— Волнует — понимаю. А вот пугает — чепуха. Нашел кого бояться.

— Ну все-таки...

— Да все вы преувеличиваете. Уголовников тоже некоторые слабонервные считают и сильными и храбрыми. А на самом деле это не так. И Оська (так он называл Осипа Давыдовича) тоже строит из себя непобедимого и всесильного. Пугает. А почвы-то под ногами у него и нет.

Подполковник сверкнул круглыми глубоко посаженными глазами, по худому болезненному лицу пробежала тень торопливой мысли. Неожиданно он предложил Еременке:

— А давай с тобой вместе статью напишем?

— О чем?

— О батальной живописи и о тех, кто мечтает о ее отмирании.

Еременко ответил не сразу. Задумался над серьезным предложением начальника. А тот продолжал.

— О воспитании патриотизма, об искусстве, которое зажигает сердца.

— Они говорят — общечеловеческие страсти.

— Старенькие космополитические реквизиты. Опять Оська решил в них наряжаться, — пояснил подполковник, который знал Осипа Давыдовича еще со времен АХРРА<sup>1</sup>.

— А мы скажем о советском патриотизме, — добавил Еременко, в голове которого уже созрел план интересной статьи.

---

<sup>1</sup> Ассоциация художников революционной России.



— Да, о патриотизме. Правда, Оська и К<sup>о</sup> называют это «квасным патриотизмом».

И это несколько небрежное «Оська» делало в глазах Еременки Осипа Давыдовича совсем нестрашным и не таким уж всеильным. А подполковник тем временем достал из ящика письменного стола пачки старых журналов и газет со статьями Иванова-Петренки, Барселонского, Винокурова, испещренными красным карандашом.

— Вот здесь их кредо, здесь их лицо. А мы расскажем читателю, кто они такие и чего хотят, — сказал подполковник.

— А кто напечатает такую статью? — поинтересовался Еременко.

— «Красная звезда», — ответил подполковник.

.. А «салон» в это время был похож на потревоженный муравейник. Говорили все, кроме Яши Канцеля, и никто никого не слушал.

— Непостижимая ограниченность! — торжествующе и возбужденно восклицал Иванов-Петренко — Реализм — Репин, Репин — реализм. Как будто весь реализм клином сошелся на Репине. Да если хотите, Репин и не такой уж гигант. Серов как художник выше Репина на две головы, тоньше и умнее. Константин Коровин и Врубель ушли вперед от Репина. Живопись Фалька — это уже новое слово.

— Bravo, bravo, Осип Давыдович! — дурашливо захлопал бледными руками Яковлев — Блестящий монолог! Но, к сожалению, немножко запоздалый. зрители ушли. А для нас он, увы, не нужен.

— Как сказать, — со значением отозвался Юлин. — Яша, наверно, придерживается иного мнения — Он вытянул свои полные розоватые пальцы и стал внимательно рассматривать ногти.

Все взоры выжидающе обратились к Яше. Канцель негромко сказал:

— Борис имеет скверную привычку отвечать за других.

— А разве я неправ? — Юлин бросил на Яшу испытующий взгляд, в котором за игривым озорством просматривался вызов.

Остальные наблюдали за ними, изредка и тайком переглядываясь между собой.

Якову показалось, что обитатели этого «салона», связанные между собой чем-то общим, пока неуловимым для него и еще не совсем осознанным, в то же время недоверчиво следят друг за другом.

Иванов-Петренко подошел к Канцелю, стал с ним рядом, положил руки на бедра — это была его излюбленная поза — и, выставив подбородок, мягко, по-отечески, спросил:

— Что с вами происходит, Яша? Какая-нибудь неприятность? Вы в последнее время какой-то задумчиво-есененный, все время молчите...

Канцель через силу улыбнулся и молча пожал узкими плечами.

— Ну, это не совсем так, Яша сказал свое слово об энциклопедии,— с подначкой заметил Яковлев.

— А тебе не понравилось? — Иронический взгляд Канцеля кольнул Яковлева и задел Юлина.

— Правильно, Яша, мы должны спорить, критиковать друг друга, искать истину. Разве здесь кто-нибудь кому-нибудь навязывает свое мнение? — Хозяин «салона» смотрел на Канцеля дружелюбно-снисходительно. — Ты считаешь, что я неправ, возражай, я буду рад. Только честно, искренне...

Сдерживая раздражение, Канцель заговорил глухо и с горечью:

— Хорошо, Осип Давыдович, я скажу. Быть может, не так, как здесь принято, но скажу, раз просите. Да, я не согласен, во многом не согласен с вами, Осип Давыдович. Но беда не в этом.

Он сделал паузу, споткнулся на слове и, волнуясь, хотел продолжать и не мог. Его захлестнул поток мыслей, к горлу подступил ком. Яша встал и, комкая в маленькой цепкой руке газету, прошелся по комнате.

— А в чем же все-таки ваша беда? — Это Иванов-Петренко спросил, и голос его прозвучал как-то необычно отчужденно в притихнувшем «салоне».

— Моя беда? Хорошо, пусть моя, а не ваша беда... Я глубоко уважал вас, Осип Давыдович, за ваш ум, за вашу эрудицию. Но ваши нигилистические оценки Репина, Айвазовского, Шишкина, наскоки на передвижников и их наследников, простите, мне не понятны. Вы предлагаете расширить границы реализма от Репина до Синьяка и Сезанна, до Малевича и Кандинского. За-

чем? Попробуйте ответить на этот вопрос! Не ответите. А я вам скажу зачем: чтобы протащить в наше искусство чуждые, непонятные народу лжешедевры и принизить шедевры подлинные. Но должны же вы понимать, что народ не поймет и не примет Синьяка, даже если вы назовете его реалистом. Не в названии же дело!

— Разве я называл Малевича и Кандинского?

— Я знаю, к чему вы клоните,— парировал Канцель.

— Брось демагогию, Яшка! Народу некогда заниматься искусством. Он хлеб насущный делает. Может, ты имеешь в виду молочницу Дусю и домработницу Машу? — язвительно спросил Юлин, покачиваясь в кресле.

— В том числе Дусю и Машу.

— Это мы, Яша, уже слышали от других,— нетерпеливо перебил его Юлин и тут же потребовал тоном вопроса: — Ты о главном скажи: в чем наша беда? — При этом он резко подчеркнул слово «наша».

— Я скажу, наберись терпения.— Канцель недовольным жестом руки отмахнулся от Юлина и снова поднял глаза на Осипа Давыдовича — Я хотел понять вас, искренне хотел

— И не понял? — едко спросил Иванов-Петренко.

Канцель не обратил внимания на эту реплику и продолжал в прежнем тоне:

— Беда ваша в том, что думаете и говорите вы одно, а пишете другое. Вот вы сегодня сказали об Айвазовском: заурядный, дескать, живописец, фокусник, чуть ли не шарлатан. А в статье о советских маринистах красиво и складно говорили о замечательных традициях Айвазовского. Когда же вы сказали правду — сейчас или в статье?

Осип Давыдович криво усмехнулся:

— Я надеюсь, вы не настолько наивны, чтобы не понимать элементарных вещей: есть точка зрения редакции, и с ней автор должен считаться, если хочет быть автором, а есть моя собственная точка зрения.

— Точка зрения редакции! — воскликнул с возмущением Канцель.— Да попробуй любая газета разделаться так откровенно с классиками, как это сделали тут вы, поднимется буря негодования! После этого такую газету читать не станут.

— С вами, Канцель, трудно спорить. Вы раздраже-

ны и вообще сегодня не в духе, — холодно сказал Осип Давыдович и отошел в сторону.

— А ты не болен, Яша? — с недобрым смешком спросил Юлин.

Канцель сел, но сейчас же снова поднялся. Все увидели, как дрожат его руки, как искрятся глаза, как побледнело его худое лицо:

— Я болен? Может, я с ума сошел? .

— Болезнь твоя, к счастью, неопасная — Борис встал и, глядя в пол, заходил по комнате. — Называется твоя болезнь забывчивостью. Ты просто немножко забываешься Себя переоценил...

— И вместо благодарности лежаешься как молодой жеребчик, — перехватил Яковлев мысль Юлина.

Борис слегка дотронулся до руки Якова и сказал с милой улыбкой:

— Давай поговорим прямо, откровенно. Представь себе, что здесь не заседание, а просто люди, пусть даже с разными взглядами на вещи, но неплохие люди, желающие друг другу добра. Искусство! А есть ли оно у нас? Настоящее искусство гниет и преет в подвалах. Так думаю я. Ты можешь думать иначе. Но согласишься, что Александр Герасимов не художник, Томский не скульптор, точно так же, как Исаковский не поэт.

— Не соглашусь! — вскричал Канцель — Никогда и ни за что не соглашусь! Я всегда считал и считаю, что у нас есть большое советское искусство, есть талантливые художники и скульпторы, к числу которых я с гордостью отношу и Александра Герасимова, и Томского.

Хозяин «салона», взглянув на автопортрет Льва Барселонского, проговорил с театральной грустью:

— Он вас любит и так высоко ценит! Он верит вам, Яша. И я хочу дожить до того дня, когда Яков Канцель будет из лучшего мрамора делать памятники Пастернаку и Барселонскому. — При этом он резко повернулся к Канцелю и воскликнул с патетикой: — Так и будет! Помянете потом этот вечер!

— Никогда — Негромко, но категорически возразил Яша.

Все переглянулись, а Борис сказал с нескрываемой злостью:

— Что ж, тогда делай скульптурную группу: Еременко—Машков,

— Не злился, Борис, а то скоро состаришься,— устало возразил Яков — Ты лучше скажи, почему ненавидишь Машкова, который, к несчастью, все еще считает тебя своим другом? Потому, что он умнее и талантливее тебя?

— А мне наплевать на его талант,— очень выразительно, с нажимом сказал Яковлев.— Для меня мерой таланта служит его позиция. Как он относится к Барселонскому, вот что для меня важно. Хорошо относится — значит, талантлив! Что такое талант? Чем, какой мерой он определяется? Позицией автора — с кем он идет: с Барселонским или с Камышевым, с нами или против нас? Вот так-то, Яша Канцель.

Циничная откровенность Яковлева вызвала горькую улыбку в тихих глазах скульптора. Иванов-Петренко понял эту улыбку, быстро подхватил:

— В наш век талант — понятие относительное. Таланту надо помочь выйти на большую дорогу искусства, а можно... — Он сделал паузу, повел бровью и закончил не так, как думал: — А можно и не помогать.

— Вы хотели сказать: «А можно и помешать». Да? Вы делаете так со всеми, кто не идет вместе с вами,— запальчиво заговорил Канцель.

— Кто это «вы»? — строго спросил Яковлев.

— Вы все, в том числе и ваша милость, Ефим. Хотите знать, кто вы такой? Пожалуйста. Бездарный халтурщик и казнокрад. Двести тысяч рублей вы украли у государства через кинематографию и хвастаетесь этим.

— Вы клеветник! — закричал Яковлев.— Мой фильм шел даже за границей!

— Ну да, ну да! Вы протащили через своих друзей свой пустой, халтурный сценарий, все это хорошо знают. На постановку ухлопали полмиллиона, а фильм раскритиковали. Зритель плевался. А с вас все как с гуся вода. Для вас искусство — это деньги, бизнес.

— Без денег на нашей грешной планете ни в рай, ни в ад не пускают,— прохрипел Кирилл Маркович, прищелкивая языком.

...Яков Канцель уходил не простясь. Было уже поздно. На улице шел мелкий дождь. Подняв воротник прорезиненного плаща и слегка ссутулившись, он побрел

домой пешком, не обращая внимания на скверную погоду. Стараясь изо всех сил отогнать от себя неприятные, назойливые мысли, вызванные бурным разговором, и даже не пытаясь их анализировать, он хотел думать только о Диане, которую любил тихой бессловесной любовью.

А на другой день Павел Окунев звонил по телефону Пете Еременке и тревожно спрашивал:

— Ты ничего не слышал о Яше Канцеле?

— Нет,— насторожился Петя.

— Погиб.

— Погиб?! Когда, как? — оторопев, переспросил Еременко.

— Трагически погиб. Вчера поздно вечером возвращался домой от Иванова-Петренки и попал под машину. Убит насмерть. Машина скрылась..

Еременко уезжал на Волгу в тот день, когда в военной газете была опубликована подвальная статья, которая называлась «О тех, кому мешает батальная живопись». Под статьей стояли две фамилии: подполковника, начальника студии имени Грекова, и капитана П. Еременко. Петр ехал на Волгу ненадолго: в работе над диарамой «Битва на Волге» у него возникли вопросы, для разрешения которых требовалось уже не в первый раз выехать на места боев. Еременке звонили знакомые художники, поздравляли со статьей. В числе их был и Пчелкин.

— Молодец, Петро, отличная статья! — кричал в трубку возбужденный Николай Николаевич. — Вот разве что тон немного резковат. Помягче надо бы с ними разговаривать.

— А разве дело в тоне? — спросил Еременко. — Главное — все-таки существо.

— По существу вы правы. — И добавил не то предостерегающе, не то с удовлетворением: — Разворошили вы муравейник. Берегись теперь, они подобного не прощают — И, придав своему голосу интимные нотки, сообщил: — Я с одним товарищем из ЦК разговаривал — там статья ваша очень понравилась, читай завтрашнюю «Правду».

Пчелкин был поразительно осведомленным человеком: действительно, на другой день статья эта была перепечатана «Правдой». Но об этом Петр узнал уже

на Волге. Он был приятно взволнован: чувство, что на его стороне «Правда», Центральный Комитет, радовало и вселяло веру в себя. Он считал себя победителем и несколько смущался, что победа далась так легко. Он не предполагал, какие будут иметь последствия его выступление в «Красной звезде», сколько неприятностей доставит ему эта на шумевшая статья.

В «салоне» Осипа Давыдовича имена авторов хорошо запомнили.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Талант — это любовь  
Кто любит, тот и талантлив.

*Лев Толстой*

Из Павловки Владимир вернулся рано утром.

С волнением и усталостью на лице он вошел в квартиру. Ни матери, ни соседей дома не было: должно быть, выехали на дачу. В коридоре темно и прохладно, а на улице начинался душный день.

Владимир поставил у дверей своей комнаты чемодан, привычным движением нашел выключатель, зажег свет. Тусклая, запыленная лампочка висела высоко под потолком. В длинном коридоре все, как прежде, на своих местах: шкаф и старый диван, ободранный до пружин, телефон. Не заходя в свою комнату, Владимир потянулся к телефону, снял трубку и уже занес палец над диском, чтоб набрать номер. Но какой? Конечно, тот, который он не забывал даже во сне... Но, кажется, еще слишком рано. Наверное, она спит... Опустил руку. «Да и зачем? Ведь Люси для меня больше нет». Он думал так и не верил этому.

Положил трубку, зашел в свою комнату, открыл окно, устало опустился в кресло. Ему не сиделось, несмотря на усталость. Решительно поднялся, прошелся по комнате. «Что-то нужно сделать. Что-то очень важное. Что? Ах да, нужно позвонить. Нет, не ей. Павлу Окуневу и Петру Еременке. Хотя зачем так рано? Позвоню». Вышел в коридор, снял трубку и набрал номер телефона... Люси. Вот наваждение! С досадой положил трубку, вбежал

в комнату, бросился на диван И что за напасть? Любовь? Привычка?..

Приняв холодный душ и приведя себя в порядок, Владимир вышел на улицу. Хоть бы кто-нибудь из знакомых попался. Пройти по магазинам? Но ему нечего и не на что покупать. Выпил два стакана пенистой газированной воды «Вот я и в Москве » Шел по улице без дела и без цели. На Кузнецком хотел повернуть направо, в Художественный салон, потом махнул рукой — куда, в такую рань! — и спустился вниз, к Неглинной.

Прошел в сквер перед Большим театром. Яблони уже отцвели. Скамейки все были заняты. Минувя сквер, зашел в кабину автомата, позвонил Пете, потом Павлу. Никто не ответил. Пошел в мастерскую Пчелкина — закрыта. Странно, куда все запропастились? Снова вошел в будку автомата, решил все-таки позвонить Люсе.

— Здравствуйте. Когда приехали? — обрадованно спросила она

— Давно, — ответил он первое, что пришло на язык. И ему почему-то показалось, что действительно приехал давно. Нежный голосок обезоруживал его.

— Я хочу вас видеть, — сказала она.

— И я вас, — коротко ответил Владимир.

Договорились встретиться вечером в половине восьмого в Сокольническом парке. Он посмотрел на часы: было девять утра. Как же скоротать эти десять часов? Позавтракал без аппетита. Потом снова бродил по улицам. Прогулки он любил: во время их хорошо думается. Всмотривался в людей, размышлял.

Хотелось пройтись по знакомым местам, которые всегда вызывали в его душе красивые и почему-то грустные воспоминания. На улице тепло, но еще не душно. Кое-где по небу беспорядочно разбросаны клочья облаков. Золото кремлевских башен и церквей ослепительно плавилось на солнце.

Зашел во двор университета и сразу почувствовал, как забилося сердце. Вот здесь, под этой липой, стояла скамейка... Непонятно, когда и зачем ее убрали? Люся была тогда в легком габардиновом пальто и говорила, что ей душно, хотя на дворе стоял ненастный октябрь. Он не разрешил ей снять пальто: боялся, что простудится, а она сняла со словами: «Сколько раз я говорила вам: не смейте мне противоречить». Потом он сказал ей, что



картина художника А. не выдерживает сравнения с картиной художника Б. Люся дерзко рассмеялась и сказала:

— Еще Дидро заметил: «Чтобы правильно судить о произведении, не нужно его сравнивать с другим произведением».

Владимир признался, что о подобном замечании Дидро слышит впервые, и она смягчилась. Потом начала жаловаться на скуку. Это удивило Владимира. Он стал убеждать девушку, что тоска ее выдуманная. Она возразила:

— Ну и что ж? Мне хочется чего-то особенного, чего-то... настоящего...

Книжные ее слова умиляли Владимира, и он сам говорил о чем-то возвышенном, но слова такие подбирал с трудом.

Бывали вечера, когда они просто болтали ни о чем или молчали. Иногда ссорились и расходились. Однажды — это было вот здесь — он неожиданно поцеловал ее. Она вскрикнула и убежала домой. Недели две не встречались, потом снова все пошло как прежде.

...Опять вышел на Моховую улицу. Вот и библиотека имени Ленина. Белое здание старого дворца с колоннами и бельведером сегодня казалось особенно прекрасным. Мраморная лестница сбегала по зеленому бархатному скату холма, большие окна весело смотрели на Кремль, под окнами душисто и густо цвела сирень.

Обогнув здание по улице Фрунзе, Владимир зашел в прохладный зеленый дворик с фонтаном. Хотелось заглянуть в читальный зал, но оказалось, что он не взял с собой билета. Там, в большом светлом зале с высокими антресолями, он впервые встретился с Люсей. Она показала ему тогда девушкой необыкновенной красоты. Это было во время войны. Он сказал, что через два часа уезжает на фронт, и, как это делали многие молодые люди, попросил ее фотографию. Она охотно исполнила эту скромную просьбу, но ничего на обороте не написала. «Я здесь страшная», — сказала она. Он протянул ей на прощание руку, и она совсем неожиданно поцеловала его в щеку. Что-то сказала при этом, но он уже не слышал и не понимал этих слов.

Как это было давно. Теперь же из садика библиотеки он пошел в Третьяковскую галерею. Озабоченно и с каким-то странным смущением на лице он бесшумно пере-

двигался из зала в зал и ощупывал глазами картины, словно искал что-то очень нужное ему и не находил. Глядя на творения великих мастеров, Владимир испытывал чувство неловкости и стыда. Вспомнились слова проводника вагона, упрекающего современных художников. И казалось, что картины настойчиво спрашивают, задают массу сложных вопросов, на которые нужно отвечать не словами, а делом, творчеством, созданием таких произведений, которые без стыда можно было бы повесить рядом с этими.

В Охотном ряду у входа в метро он столкнулся с Николаем Николаевичем Пчелкиным. В темно-синем в полосу костюме и с золотой лауреатской медалью на груди Пчелкин куда-то спешил. Увидев Владимира, он изобразил на своем лице преувеличенную радость, долго и крепко мял его руку в своих пухленьких мягких ладонях и затрещал, как старый воробей, не переводя дыхания:

— Во сне тебя сегодня видел. Выходит, сон в руку. Когда приехал и где пропадал, рассказывай? Ух, жаркое лето в Москве,— говорил он, отдуваясь и вытирая широченным клетчатым платком свое круглое потное лицо. Веселые живые слова его прыгали кузнечиками, а глаза, маленькие, с крапинками, всегда немного удивленные, беспокойно и забавно бегали по сторонам, кого-то догоняли, кого-то спрашивали, чему-то поражались. Нравился Владимиру Николай Николаевич, а чем именно, он никогда не спрашивал себя: достаточно и того, что человек вызывает симпатию. Ему казалось, что Пчелкина он давно постиг, прекрасно знает все его недостатки и снисходительно прощает их ему. Владимира восхищала простота Николая Николаевича.

— А я к тебе в мастерскую заходил,— сказал Владимир.

— Сегодня дал ребятам отдых. Умаялись. Да, а ты слышал — Канцеля похоронили?

— Знаю,— печально нахмурился Владимир.— Но мне не ясно: как это случилось?

— Ну, как в Москве попадают люди под машины и трамвай! — сожалеюще пояснил Пчелкин и добавил печальным голосом: — Вот и это один из нелепейших случаев, от которых, увы, никто из нас не застрахован. Талантлив был Яша, очень талантлив...

Да что в таких случаях слова? Оба это понимали

каждый по-своему, и оба помолчали. Затем Владимир спросил Пчелкина:

— Как подвигается картина?

Тот ответил другим, уже бодрым, тоном:

— Ничего. К осени кончим. Бегу на заседание художественного совета. Проводи меня,— попросил он, беря Владимира под руку и направляясь на улицу Горького. В пути Николай Николаевич расспрашивал Владимира о поездке, но слушал рассеянно и нетерпеливо, то и дело перебивал московскими новостями и анекдотами. Как всегда, он старался казаться остроумным.

— Ты знаешь, что Петя Еременко получил мастерскую?

— Не слышал. Рад за него!

— А его диораму видел?

— Волжскую? — переспросил Владимир. — Нет еще. Ну и как?

— Оригинально.

— Это не оценка. Знаешь в Сокольниках клуб имени Русакова?

— Знаю. Крик отчаяния,— беспечно отвечал Пчелкин.

— А ведь тоже оригинально.

— Нет, это фокус. А у Пети сделано хорошо. Один мой знакомый искусствовед назвал его диораму более чем талантливой!

Владимир погасил его пафос ироническим вопросом:

— Когда же ты будешь собственное-то мнение иметь?

— А что такое собственное мнение? — спросил Николай Николаевич и сам же, посмеиваясь, ответил: — Это наикратчайшее расстояние между двумя цитатами!

— Кажется, ты мне это уже говорил.

— Не может быть,— уверенно возразил Пчелкин. — Я сам только сегодня услышал. Ну, а знаешь ли ты, что такое телеграфный столб? — И сам же поспешил ответить: — Это хорошо отредактированная ель!

— Не очень остроумно!

— Ты просто сегодня не расположен к шуткам. Признавайся, кто тебе испортил настроение?

— Пока никто, но вечером обещают испортить.

— Свидание? Ох, молодежь! Не умеете вы ценить

золотое время! Самые счастливые минуты жизни — это предвкушение свидания с любимой девушкой!

— Не разбрасывай умные мысли попусту, пригодятся для мемуаров, — посоветовал Владимир.

— Хорошо, учту. А ты не слыхал: Раковкин сотворил новый шедевр, называется «Федя-подпасок»?

— Талантливо?

— Ну, как тебе сказать? Все то же... Помнишь, у него военная картина была, кажется «Толя-разведчик». Так вот, тот же лохматый белоголовый Толя, тот же пейзаж, точь-в-точь тот же пурпурный закат в ярких тонах, но с маленькими вариациями: там разведчик, здесь подпасок, там война, здесь мирное время. Но так как за эти годы Толя, наверно, сильно вырос, то он теперь называется Федей. Ловко? — И закатился мелким бархатистым смехом. Потом успокоился, заговорил интригуяюще: — Это знаешь, одному писарю в старое время заказали юбилейный адрес в Тулу. А он и говорит «В Тулу не могу, хотите в Калугу?» — «Да нет же, нам в Тулу нужно». — «В Тулу не могу. А может, вам в Курск или в Кострому можно? Это я вам быстро, и недорого возьму». А ларчик просто открывался: у писаря хорошо заглавная буква «К» получалась. Так и у Раковкина: везде и всегда пурпурные закаты. И быстро делает, но в отличие от писаря дорого просит.

Подошли к серому большому зданию. Николай Николаевич посмотрел на часы и заторопился.

— Опаздываю. Заходи, поговорим без суеты, работы посмотрим.

— Сейчас не обещаю, а вот когда насовсем вернусь, обязательно зайду.

В три часа Владимир был уже дома. Мать возвратилась с завода в четвертом часу. Он не давал телеграммы, и Валентина Ивановна была приятно удивлена и обрадована. Он поцеловал ее и усадил на диван рядом с собой, забрасывая вопросами. Его интересовали московские новости, и мать рассказывала о заводе, сообщила, что директора ихнего на повышение забрали — в министерстве работает. А новый директор совсем не симпатичный, не то, что Александр Иванович.

— Людей чурается, кабинетный человек, — говорила мать — Александр Иванович, бывало, и в цех зайдет, и в столовую, поговорит с рабочими, обо всем спросит.

и поругает, когда есть за что. И поможет, если беда приключилась. Наш начальник цеха, Петр Степанович, с войны вернулся глухим. И все стеснялся недуга своего. А уж совсем ничего не слышал. Александр Иванович, как только узнал про это, в тот же день вызвал своего помощника и приказал: «Достань начальнику цеха слуховой аппарат. Где хочешь — в Кремлевскую больницу поезжай, а аппарат достань». И достали. Он всех кадровых рабочих по имени-отчеству знал. А новенький не такой.

— Ну, мама, может, вы слишком рано выводы делаете. Не успел человек осмотреться, а вы бац ему ярлык — «кабинетчик».

— Да нет, сынок, рабочие не ошибутся. Они все замечают. Вот, говорят, утром стоят на остановке наши рабочие, трамвая ждут. Директор на работу мимо проезжает — отвернется в сторону, делает вид, что своих не замечает. А как, бывало, Александр Иванович? Остановит машину, двоих-троих к себе посадит, и пока до завода едут — потолкует с людьми.

— Ну все равно всех в машину не возьмешь.

— Всех не возьмешь — это правда. Только отношение к людям важно. Как ты к человеку, так и человек к тебе.

Выложив все свои новости, главным образом заводские, Валентина Ивановна просила сына рассказать о поездке. Владимир развязал тяжелый тюк картона и расставил по всей комнате сделанные им в деревне этюды. Мать долго и молча рассматривала пейзажи и портреты колхозников. Ей нравились работы Владимира, и вовсе не потому, что это были работы ее сына, а потому, что она любила именно такое искусство, в котором все было «как в жизни» — правдиво, ясно и красиво.

Ей вспомнилась собственная юность: бедная деревушка, первые цветы на лугу — ярко-желтые одуванчики на мягком зеленом ковре — и синее-синее небо с мягкими подрумяненными облачками над головой, плетень с глиняными крынками, запах черемухи в духов день — и что-то заныло, защемило на душе. Чтобы отогнать внезапно нахлынувшие чувства, мать сказала:

— Какая милая девушка. Студентка?

— Агроном.

— Славная и совсем молоденькая.

Он рассказал историю каждого рисунка и этюда с охотой и любовью

В половине седьмого вышел из дому и сразу поехал в Сокольники. Мать догадывалась, куда и зачем. .

У каждого человека есть свой любимый уголок, куда он идет всегда охотно, где дышится особенно легко. У Владимира таким заветным уголком был Сокольнический парк с его березовыми аллеями. Аллеи разбегаются лучами от центрального круга. По ним можно прийти к шумным аттракционам, к стадиону, в детский городок, к павильону отдыха, к филиалу библиотеки имени Ленина, к небольшому пруду, окруженному стройными белоногими березками. А то просто по этим аллеям можно уйти в сосновый бор или березовую рощу, слушать шепот деревьев, дышать пьянящим воздухом и мечтать. Или с книгой в руках лечь на зеленую травку у тенистых кустов. Хорошо в Сокольниках!

Владимир пересек круг, по которому движется бесконечный поток людей, и направился к читальному залу. Вот на этом самом месте, под плотным кустом сирени, где теперь, обложившись книгами, сидят двое — он и она, — очевидно, студенты, когда-то сидели и Владимир с Люсей. Она, помнится, готовилась к экзаменам по истории западного искусства. И ничего особенного тогда не говорилось — простые, обыкновенные слова, но от них теплело в груди и чуть кружилась голова. А вот скамейка, у которой однажды он очень долго ждал. Она опоздала на час! Пришла и с удивленной улыбкой спросила:

— Вы не ушли? Вот это подвиг! — И в награду за этот «подвиг» весь вечер была ласкова.

Все здесь было родным, близким, милым сердцу. Даже этот ленивый ветер, нехотя раскачивающий верхушки знакомых деревьев, которые, казалось, приветствуют его и о чем-то шепчутся между собой. Где-то рядом без устали стучал дятел, пели негромкую грустную песню высокие сосны.

Люся не опоздала. Она появилась даже на несколько минут раньше, и он издали заметил ее стройную фигуру с гордо поднятой курчавой головой. Была она в пестром шелковом платье с белым воротничком и в белых босоножках. На открытой шее лежала тонкая струя жемчуга, и две небольшие жемчужины плотно прилипли

к мочкам маленьких ушей. В больших глазах с синими белками по-прежнему настороженно горели холодные зеленые огоньки, и вместе с тем в них было что-то новое, непонятное

— Вы получили мое письмо? — был ее первый вопрос.

— Если послали, то получу, — ответил он сдержанно.

— Что значит «если»? — Она начала злиться.

До боли закусив губу, он не ответил. Она мысленно упрекнула себя в сухости, но вслух ничего не сказала. Неловкая, затянувшаяся пауза. Он замедлил шаг и немного отстал, она остановилась, поджидая его, и сказала, как прежде, ласково:

— Знаете что? Я сегодня получила деньги... Пойдемте посидим в кафе, а?

Он кивнул.

Кафе было почти пустым. Люся сама заказывала коктейли со льдом. Владимир молчал. Она смотрела на него настороженно и предупредительно. В глазах ее, окруженных тенью, появились искорки тихой печали.

— Вы на меня сердитесь? — спросила она.

— Нет.

И снова тягостное молчание.

— О чем вы задумались?

— О вашей игре и о том глупом положении, в которое вы поставили меня — Говоря эти резкие слова, он глядел мимо Люси.

«Что-то подобное я уже ей однажды говорил», — вдруг сообразил он и тут же, поймав на ее лице томную улыбку, с ожесточением подумал: «Опять притворяется грустной». И ему захотелось сказать ей что-то неприятное. Но Люся опередила:

— Если вы думаете, что я играю, то ошибаетесь. — Заметив его ироническую улыбку, она обиделась:

— Вы меня совсем не знаете, Володя. И никто меня не понимает. — В глазах ее заблестели слезы.

Но он знал цену этим наигранным слезам и рассмеялся.

— Вот еще концерт-загадка, как говорит старик Вишняков

Она смотрела на него сосредоточенно и думала: «Слова его говорят одно, а взгляд — другое».

— Зачем вы все это говорите? — спросила она крот-

ко и ласково, а глаза ее добавляли: «Напраслину зачем наговариваете?»

И он ответил на этот бессловесный вопрос:

— Я хочу, чтобы вы наконец сбросили с себя маску актрисы. Будьте сами собой. Вы же в тысячу раз лучше, чем представляетесь.

Она улыбнулась.

— Ну, хватит вам, давайте мириться. Я хочу ваши работы посмотреть.

Заехали к Владимиру на квартиру. Первое, на что Люся обратила внимание, был портрет Вали. Внутренне она дрогнула, но вида не подала. Спросила с безразличным лицом.

— Кто она? Учительница?

— Агроном.

Больше о Вале не говорили. Люся рассматривала эскизы, этюды и портреты без обычного высокомерия, но когда говорила, в голосе угадывалась снисходительность.

Он рассказывал ей об Аркадии, Алексее, о Вале. Она слушала на редкость внимательно и даже не двигала, как обычно, губами.

— Мне хочется тоже иногда поездить, посмотреть людей разных профессий за работой,— заговорила она.— Это верно, что человек прекрасен в труде..— Голос снова сделался печальным, глаза — задумчивыми, тоскующими по чем-то. И вдруг движением ресниц она смахнула крупную слезу. Владимир удивленно, даже с некоторым недоумением посмотрел на девушку, будто увидел в ней что-то новое, хорошее, о котором раньше не подозревал. Что-то приятное шевельнулось в его груди, точно воскресла похороненная надежда. Но он сделал вид, что ничего не заметил.

Простились поздно вечером. И странное дело: ни слова не было сказано о Борисе Юлине.

О следующей встрече не условились. Она не намекала, он не осмелился, и в душе его снова вспыхнули тревожные подозрения. Она даже не спросила, надолго ли он приехал.

Поздно вечером он позвонил Петру Еременке. Ответил сосед: «Петр на даче». «Наверно, у Павла», — сообщил Владимир и решил завтра утром поехать на дачу к Окуневым.



Говорить хорошее о тех, кого любишь, это отнюдь недостаточно, надо сказать худое о тех, кого ненавидишь...

Э. Золя

На дачной станции Переделкино, несмотря на ранний час, было по-воскресномулюдно. Солнце, должно быть ради выходного дня, не спешило подниматься ввысь. Западная сторона крыш и заборов хранила еще следы ночной свежести, на молодых густо-зеленых листьях сирени лежала роса. Электропоезда шли пустыми в Москву и переполненными обратно.

Паша Окунев женился две недели тому назад на молодой пианистке Тане, дочери полковника в отставке. Свободное от работы время Окунев проводил на даче тестя. Петр и Карен были его неизменными гостями.

Владимиру тут не довелось побывать, но он знал, что это где-то недалеко от дачи Юлиных. Заходить к Юлиным очень не хотелось, да что поделаешь: никто другой не мог помочь ему разыскать дачу, где живет Окунев.

В прошлом году Борис затащил Владимира к себе на дачу с целью показать ему новую картину, на которую возлагал столько надежд. Помнится, был погожий, ясный день. Глядя на буйную зелень юлинской дачи, Владимир подумал: «Зачем им деревня? И здесь можно писать натюрморты». Борис провел его через просторную террасу, сплошь заставленную картинами. Усадив гостя в плетеное кресло, он стал показывать свои работы, заметив при этом, что здесь у него только «кое-что», а все лучшее в Москве, на квартире. «Так вот они, шедевры», — подумал Владимир, рассматривая сирень. Мазки были смелые, резкие, буйные, краски — пестрые, кричащие. И это подкупало при первом взгляде. Но вот Владимир начал рассматривать их более внимательно. И то, что минуту назад сходило за смелость, теперь казалось нарочитой небрежностью, а яркие краски — отсутствием хорошего вкуса у художника. Потом Юлин стал показывать пейзажи — подмосковные березки, дорога через луг, сосны, сирень у дачи, сады цветут. Все

это было написано с претензией на оригинальность, но скучно и до зевоты однообразно.

— Теперь самое главное покажу тебе,— торжественно произнес Юлин и поставил перед Владимиром огромную картину. Называлась она «Рабочий день окончен». Молодые колхозники с граблями на плечах возвращаются с поля. Они в пестрых нарядных платьях, в туфлях на высоких каблуках, на руках — изящные часики, на лицах, обогранных лучами заката, ни капельки усталости. Шли и пели. Лучи заходящего солнца играют на разноцветной одежде, на дальнем облаке, на зеленых всходах поля, на клейких листьях молодой березки.

Владимир нахмурил лоб: композиция была слишком знакомой, она напоминала и Шишкинский «Полдень», и Маковского, и Федора Васильева... Но у тех — сама жизнь, а на этой картине...

— Мне хотелось показать новую колхозную деревню,— перебил его мысли Борис. Он с любовью рассматривал свое произведение, и было видно, что оно ему очень нравится.— Лев Михайлович сказал — это лучшее, что он видел в послевоенные годы.

— Что ж, к голосу маститых нужно прислушиваться...

— А что скажешь ты?

— Я не академик,— начал шутливо Владимир,— поэтому с моим мнением ты можешь не считаться. Но, честно говоря, мне не нравится.

— Почему? — нетерпеливо спросил Юлин, и с лица его как водой смыло радушность. В глазах его появилась тень недоверчивости.

— Идут они у тебя не с работы, а с ярмарки, в чистеньких шелковых платьицах, в туфельках на высоких каблуках. Только вместо покупок ты сунул им в руки орудия производства, известные еще в античные времена.

— Но прости, ты забываешь, что деревня теперь совсем не та, что была раньше,— горячо возразил Борис, сделав внушительную паузу.— И эти платья, и эти туфли...

— Не спорь, Боря: деревни ты не знаешь. Это же совсем не то, что дачное Подмосковье. Сам подумай: какие чудачки пойдут на работу в хороших платьях? Впрочем, все это досадные детали.

— Да, конечно, это поправимые детали,— быстро сдался Юлин — В конце концов девок можно переодеть во что-нибудь похуже. А вот вместо этих граблей что ты посоветуешь дать им в руки, какое современное оружие производства?

Эта наивность рассмешила Владимира, и он ответил шуткой:

— Посади их на конные грабли, что ли, раз тебе деревянные не нравятся.

Юлин сокрушенно покачал головой:

— Не умею лошадей рисовать.

Владимир хотел сказать, что вся картина ему не нравится: люди неестественны, театральны. Досаднее всего, что Борис не хотел этого понять. Владимир с сожалением смотрел на его полное еще не тронутое загаром лицо, на мягкие руки с маникюром, на красивую плотную фигуру, одетую в просторный светлый пиджак.

«Ни черта ты не понял»,— подумал Владимир. Ему искренне хотелось помочь товарищу.

— Давай, Боря, поедem в колхоз на все лето.

— Зачем? — удивился Юлин. Он даже был обижен таким предложением. — Воздуха и здесь достаточно. Натуры — сколько хочешь. Что я там забыл, в деревне? Мы художники, а не фотографы, зачем тогда существует фантазия.

— Сам видишь, до чего можно так дофантазироваться,— спокойно ответил Владимир. — Словом, как хочешь, тебе видней.

Борис обиделся и с тех пор ни когда не говорил Владимиру о своей картине. Теперь Машков подходил к даче Юлиных с чувством понятной неловкости, будто ему предстояло продолжить тот прошлогодний разговор.

Участок у Юлиных двойной, огромный, дача стоит в сосновом лесу. За высоким забором вырисовывается дом с мезонином, за калиткой мечется здоровенный дог. Своим сиплым басом он заставляет читать на калитке: «Осторожно — во дворе тигр и черная пантера».

Владимир нажал на пуговку звонка и через минуту услышал голос Бориса:

— Пошел прочь, Тигр! Сгинь! — прикрикнул он на собаку.

Рычание прекратилось, брякнула защелка, и калитка без скрипа отворилась. Борис, чисто выбритый и наду-

шенный, стоял на пороге. Круглое лицо его смачно улыбалось, а в глазах, как всегда неопределенных, улавливалось с трудом скрываемое беспокойство.

— Володя! — закричал он — Какой молодец! Целую вечность не виделись!

— Да я, собственно, к тебе с просьбой: не укажешь ли дорогу к Паше Окуневу?

— Стыдись, старина! — И Борис потащил его к дому — Гостем будешь! Посидим, поболтаем. У меня тут товарищи собрались: Осип Давыдович, Семен Семенович, с минуты на минуту Лев Михайлович Барселонский с Пчелкиным должны подъехать ..

Встреча с известными критиками не сулила Владимиру ничего приятного, но имя Барселонского вызывало любопытство. Хорошо бы поглядеть на этого Льва вблизи! Но он сказал:

— Да знаешь, я должен Пашу повидать, ведь я его еще не поздравлял. Ты был у него на свадьбе?

— Был,— поспешно ответил Борис и спросил: — Когда приехал?

— Вчера. И никого из наших ребят еще не видел. Одного уж никогда больше не увижу...— закончил он тихо и печально.

— Да, очень тяжело,— в тон ему проговорил Борис — Ирония судьбы. Недавно мне рассказали, как минувшей весной на улице Горького одну женщину, мать четверых детей, ледяная сосулька убила. Сорвалась с карниза и — трах! Человека ежеминутно подстерегают тысячи случайных смертей.

Смерть Канцеля не выходила из головы Хотелось знать подробности, поговорить с людьми, которые виделись с Яшей в последний раз

Они медленно шли по кирпичной дорожке к дому. Впереди лениво брел пятнистый старый дог, воплощавший в себе, по неостроумной шутке хозяев, и тигра, и черную пантеру.

— Ты совсем вернулся? — обеспокоился Борис и спросил с надеждой: — Или еще поедешь?

Этот вопрос и тон, с каким он задан, говорили о том, что смерть Яши уже вылетела из головы Бориса, как неприятное воспоминание. Владимира это обидело, и он ответил сухо:

— Уеду Через несколько дней.

— А у нас горячка! К сентябрю во что бы то ни стало должны закончить картину. Шеф нервничает, шумит, по заседаниям порхает, а работать некому,— пожаловался Борис, и жалоба была похожа на хвастовство.

— Но вас же и без шефа трое!

— Да где там трое... Карен — пустое место. Ты же знаешь его амплуа: пейзаж, да и то необычный — в глазах рябит. А тут знаешь, официальный сюжет, срок.

Владимир был поражен такой вызывающей откровенностью, но ничем не выдал своего удивления, а только спросил:

— Ну, а у Паши как?

— Обыкновенно, как бывает у молодоженов: медовый месяц. Тут не до картины...

Получалось так, что над картиной работал один Борис.

На веранде в плетеных качалках и креслах сидело четверо мужчин, одолеваемых, как показалось Машкову, сонной скукой. Владимир узнал Иванова-Петренку и Винокурова, третий — полный грузный мужчина — хозяин дома, Марк Викторович Юлин, а приятное лицо четвертого, худощавого, стеснительного, показалось чем-то знакомым.

— Василий Нестерович Лебедев,— назвалса он и спросил: — А вы Машков?

Владимир кивнул. Отец Люси смотрел на него с дружеским сочувствием, и это оскорбляло Владимира. Зачем здесь Лебедев? Ну, разумеется, на правах будущего родственника Юлиных! Так быстро? Почему же Люся ни единым словом не обмолвилась? Вот почему Борис так радушно встретил его! Хотел показать Лебедева. Дескать, смотри, в каких отношениях мы с Люсей, и делай выводы.

Додумать ему не дали — забросали вопросами: как живет село, какие виды на урожай? Владимир чуть не сказал: «Какие пока могут быть виды, когда только-только отсеялись», но сдержался.

Владимир молча отвернулся и, взяв со стола иллюстрированный журнал, начал листать его. Взгляд остановился на статье некоего Бориса Тихомирова: «Прогулка по национальной галерее». Что за прогулка? По какой национальной галерее? Взглянул на обложку. А, это журнал «Америка»! Любопытно, что есть в американ-

ской сокровищнице искусства? Вот картина Сэведжа «Вашингтон в кругу семьи»...

— Так себе, — сказал Борис из-за плеча Владимира. — Ты вот что посмотри! — И он ткнул пальцем в статью, которая называлась «Театр-арена».

В тоне сенсации в статье рассказывалось о новаторстве режиссера Глен Хюза, ломающего традиции сцены. Театр Глен Хюза похож на цирк, спектакли идут без декораций. Борис с наслаждением прочел вслух, должно быть уже не в первый раз:

— «Пьесы, которые в обычном театре кажутся грубоватыми и схематичными, на сцене-арене приобретают теплоту и мягкость». — И обратился к Лебедеву: — Что вы на это скажете, Василий Нестерович? Здорово, не правда ли?

Лебедев ничего не сказал, зато заговорил Иванов-Петренко:

— Вообще идея не новая для русского театра. В свое время мы опрометчиво отбросили ее, а она, как видите, живет и, несомненно, придет еще к нам.

— А я, знаете ли, не представляю «Вишневый сад» или, скажем, «На дне» без декораций, — простодушно усомнился Лебедев.

Борис в замешательстве огляделся, с галантной любезностью улыбнулся Василию Нестеровичу и, как бы отвечая на его сомнения, с преувеличенной выразительностью прочел:

— «Хюз считает, что сцена в центре зала более всего подходит к легким драмам и комедиям, а потому только такие пьесы вошли в репертуар его театра». — И уже от себя добавил: — Василий Нестерович прав, такие вещи, как «На дне» и «Вишневый сад», не для мистера Хюза.

Владимир не вытерпел:

— Вот, оказывается, где собака зарыта: легкий репертуар! Никаких проблем, никаких драм и трагедий! Ловко придумано! Подальше от жизни. Новаторство, предназначенное для убийства реалистического театра!

— Я вполне разделяю ваш пыл, любезный э-э....

— Владимир Иванович, — подсказал Борис.

— .. любезный Владимир Иванович, — мило продолжал Иванов-Петренко, рассматривая Владимира. — Но, как видите, Хюзу не чуждо новаторство. А новое в той или иной мере всегда является могильщиком ста-

рого. Такова диалектика, батенька. Хюз ищет и, как всякий ищущий, рискует ошибиться.

Осип Давыдович щедро одарил своей улыбкой собеседников, и оттого, может быть, не хотелось возражать ему. Один Лебедев, видимо, не заметил этой обезоруживающей улыбки и сказал без особой учтивости:

— Не всякое трюкачество нужно считать новаторством

Машков с благодарностью взглянул в бесхитростные глаза Василия Нестеровича.

— Излишняя назидательность убивает искусство, — сипло заговорил Винокуров, незаметно уводя разговор в сторону.

Владимир возразил:

— Наше искусство должно быть беспокойным. Художник должен сам волноваться и других волновать, радоваться и возмущаться.

— Художник должен творить, — тоном уверенного превосходства перебил Борис. — А для этого нужно время. Одно из двух: либо картину писать, либо возмущаться. И вообще... Год назад ты обвинял меня в том, что сейчас сам проповедуешь.

— Ничего подобного! — загорячился Владимир — Я говорил тебе тогда, что ты всякую грязь смакуешь, злорадуешься, точно радуешься чужому горю. А я хочу, как хозяин, критиковать наши недостатки, чтобы избавиться от них. Это совершенно разные вещи!

— А я-то думал, что здесь отдохну от искусства, — пожаловался Иванов-Петренко. — Беспокойные мы люди. .

— Отдыхать надо на юге, — посоветовал Юлин-старший — Москва — суматошный город. Не люблю я ее.

— Ялта, безусловно, лучше, — просипел Винокуров и громко причмокнул губами — Разумеется, летом.

Лицо Винокурова непроницаемо, попробуй, пойми — иронизирует он или всерьез говорит.

— Ялта хороша в любую пору, — возразил Осип Давыдович. — Но чтобы жить в Ялте, надо иметь приличный и устойчивый заработок в Москве.

— Вы всегда были ортодоксальны, — просипел Винокуров все с той же неопределенной улыбочкой.

«Какие-то намеки, недомолвки... Трудно же, черт побери, разговаривать с такими людьми!» — подумал Вла-

дими́р. К нему подсел и снова заговорил негромко, доверительно Иванов-Петренко:

— Как живете? Над чем работаете?

В его обращении и манере говорить было столько искренности, что Владимир с увлечением рассказал сюжет задуманной им картины «Хозяева земли». На весенней пахоте солнечным утром, когда над землей струится тонкий пар, стоят парень-тракторист и девушка-агроном. Она, должно быть, делает ему внушение за какую-нибудь оплошность, так как в лице его и во всей фигуре виноватость. А вокруг — волнующий пейзаж, ядреное утро..

Иванов-Петренко выслушал Машкова внимательно и сказал, почесывая жирный подбородок:

— Картины я не вижу. Стоят двое на пахоте — ну и что ж из того? Чем они меня взволнуют? Частный эпизод не может быть картиной. Настоящее искусство требует больших общечеловеческих страстей, а тут...

Владимир поспешно искал аналогии, перебирая в памяти одну картину за другой. Не найдя ничего более убедительного, сказал:

— В таком случае позвольте вас спросить: вот стоят в поле три русских богатыря такими, какими их Васнецов изобразил. И нет в них этих самых общечеловеческих страстей. Чем же они вас волнуют?

— А почему вы думаете, что они меня волнуют?

Более циничного и неожиданного ответа Владимир не ожидал. Он только плечами пожал. Человек этот ему показался безнадежно чужим и непостижимым. Осип Давыдович, видно, пожалел о сорвавшейся фразе и примирительно предложил:

— А вот если в вашу композицию внести, скажем, такую деталь: где-то вдали за вашими героями, на десятом или сотом плане, виднеется чудный город, освещенный утренним солнцем, знаете, этак в розовой дымке — новый город будущего, или, как пишут газетчики, видимые контуры коммунизма? Город ваш будет носить функцию символа. Искусство не отвергает символику, а, напротив, предполагает. Символ делает произведение крылатым. Вот попробуйте, сделайте так, и вы убедитесь, что картина зазвучит по-новому, станет значимее, возвышеннее. Понимаете, поднимется над грешной землей. Искусство должно возвышать.



Он поднимал руки ладонями кверху, словно подбрасывал волейбольный мяч. Что-то было интригующее и любопытное в его неожиданной идее, выраженной в столь конкретной форме. Оно соблазнительно подкупало, и Владимир готов был забыть все предыдущее, что возбуждало в нем к Осипу Давыдовичу неприязнь и подозрительность.

Подошел Винокуров, поинтересовался, в каком состоянии находится картина «В загсе». Владимир сухо ответил:

— С вашего позволения, в прежнем.

— Жаль, хорошая картина. Там и доделать ее самый пустяк, на час работы.

«Испортить и за полчаса можно»,— подумал Владимир, но промолчал. Ввязываться с Винокуровым в спор не было никакого желания.

— А у меня есть интересное для вас предложение. Хотите поработать с Барселонским?

— В качестве?

— Помощника.

— Это что же, вроде подмастерья? — не без иронии полюбопытствовал Владимир, тщетно стараясь прочесть что-либо на лице Винокурова.

— Подмастерье большого мастера — то же, что ученик великого учителя, — недовольно бросил Винокуров. Но его перебил Борис:

— Скажите проще: у Льва Михайловича какой-то музей покупает дубликаты его старых картин. Он ищет работа, который бы сделал копии. Старик потом слегка пройдет по ним кистью, и дело сделано.

— И продаст их как авторское повторение, — догадался Владимир.

— Разумеется, деньги пополам, — бесстыже улыбнулся Борис.

— Откуда вам известно, что пополам? — беспокойно и торопливо, будто боялся дать одуматься, предупредил Винокуров. — Достаточно и четверти. Это обычная плата копировщика.

— Но он получит не за копии, а за дубликат. Тут нужен опытный художник, — урезонивал Борис всполошившегося Винокурова.

Эта нелепая преждевременная торговля позабавила Владимира.

— Погодите делить шкуру неубитого медведя...

У Семена Семеновича округлились глаза.

— Вас не устраивают условия?

— Нет, меня не устраивает в принципе такая работа.

— Но вы поймите, что это будет полезно для вас,— не отступал Винокуров, делая обиженное лицо.— Копировать Барселонского под его непосредственным наблюдением — не каждый может удостоиться такой чести.

— Я думаю, что это с удовольствием сделают ученики и поклонники Барселонского. А я не совсем понимаю творческую манеру почтенного Льва Михайловича,— грустно усмехнулся Владимир.

Винокуров и Борис переглянулись. На их лицах трудно было прочесть что-либо определенное, разве только недоумение: вот как — Барселонского не понимает! Вот даже что! Странно, однако Винокуров потер ладонью покрасневший лоб и демонстративно отошел в сторону. Борис тут же заговорил о даче Пашиного тестя. Владимир понял это как тонкий намек и начал прощаться. Вдвоем они вышли за калитку. Вокруг было тихо и душно.

— Говорят, ты на агрономе женишься? — с легкой, небрежной улыбкой спросил Борис.

— У тебя старые сведения. Уже женился,— пошутил Владимир.

— Вот как?!— Лицо Бориса расплылось в радушной улыбке.— Рад за тебя, Володька, очень рад. От души поздравляю и желаю...

— Теперь очередь за тобой. Женись, Боря.

Юлин остановился, что-то хотел сказать, но мгновенно передумал, ненужно откашлялся. «О Люсе хотел сказать, да вовремя остановился»,— подумал Владимир и решил: «Никогда я не стану с Борисом говорить о ней»

Борис посмотрел на небо, на невесту откуда появившуюся тучку. Гигантские золотистые мечи солнца пронизали край тучи и вонзились в землю. И казалось, лучи принадлежали не солнцу, а темно-синей разгневанной туче, глядящей на землю сердито и угрожающе. От ее дыхания деревья затрепетали.

Владимир восторженно произнес:

— До чего же величественно! Прелесть какая!

— Зловещая картина! — с пафосом возразил Борис — В ней есть что-то роковое, неотвратимое. Это — необузданная человеком стихия. Словно какой-то властелин вселенной занес над нашей планетой свой карающий меч

Владимир с усмешкой посмотрел на Бориса:

— Какие ужасы ты говоришь.

— А ты всмотришься лучше. Такое небо и Брюллову не довелось увидеть. Иначе «Последний день Помпеи» был бы более убедительным. — Он посопел носом, одним глазом, как петух, взглянул на небо и произнес философски: — Там своя жизнь, нам не известная.

Два художника видели один и тот же пейзаж, но каждый воспринимал по-своему.

В это самое время на другой даче три молодых художника писали этюды. Павел Окунев сосредоточил все свое внимание на лучах солнца, которые рассекали тучу, вырывались на голубой простор неба и зеленый ковер земли.

Петру Еременке этюд не удался.

А Карен поражал своей манерой восприятия мира. Казалось, он и мыслит цветом. Этюд выходил у него исключительно ярким, сочным, звенящим. Но краски его не казались пестрыми, не раздражали глаз. Карен достиг такой гармонии, сочетания цвета и света, что и зритель мог поверить в существование таких красок в природе, в жизни. Художник покорял какой-то неразгаданной, волнующей прелестью своих красок, благородством, восхищением и трогательным уважением к природе, как покоряет зрителя зеленоватая луна над Днепром Архипа Куинджи.

— И Борис пишет ярко, — обронил Владимир, глядя на новый этюд Карена, — но у Юлина получается почему-то грубо и неестественно.

Карен оглянулся и вздрогнул.

— Володька! — И бросился в объятия Владимира, крича: — Эй, ребята, давай сюда, Володька приехал!

Прибежали Павел и Петр. Оба с этюдниками. Павел в украинской рубашке с открытой грудью, Петр в синем штатском костюме. Друг друга отталкивая, начали мять Владимира.

— Тебя во сне видел, — сообщил Павел.

— Это к дождю, сострил бы Пчелкин,— отшутился Владимир.

— Нет, к сыну,— поправил Карен.

Все дружно засмеялись.

Дача Пашиного тестя стояла на высоком берегу ручушки со студеной прозрачной водой. Небольшой скромный домишко, окруженный фруктовыми деревьями и сиренью, весело и удивленно смотрел открытыми окнами на юг. Территория участка представляла зеленый пригорок, круто сбегающий вниз к густым кипучим зарослям ольшаника, прятавшим от солнца неугомонный ручей. Над ручьем поленовский мостик, под ним в летнюю жару хранились бутылки нарзана и цинандали. На склоне красовались уже немолодые березки-близнецы. У самой воды стоял длинный стол со скамейками, а чуть поодаль, в самой густой заросли,— беседка. С двух сторон участок окружали ровные шеренги рябин.

Все тут было живописно, солнечно, все запоминалось и пришлось по душе Владимиру. А вот у Юлиных он был дважды, но, спроси его про их дачный участок, и он ничего бы не мог сказать.

Вышла Таня, полная, большеглазая, с длинными толстыми косами. Подошла к Владимиру и сказала с улыбкой.

— А я на вас обижена...

Голос мягкий, и вся она — воплощение спокойствия и доброты.

— Чем я, Танечка, провинился перед вами?

— Не могли раньше-то приехать? Тоже, друг называется

— Это ему не простится,— поддержал Павел жену с деланно-грозным видом.— Вот сядем за стол и przypomним ему!

Таня ушла хлопотать о закусках. Друзья сели на скамейке под березами-близнецами.

— Ты как нас нашел? — спросил Павел.

— Борис показал...

— Ты был у него? — Широкое лицо Павла нахмурилось, глаза потемнели.

— Вы что, поссорились? — насторожился Владимир.

— Просто выяснили отношения,— ответил Павел.— Борис оказался тем золотом, которое и в воде не тонет...

Петр в подтверждение молча покачивал головой.

— Перед свадьбой я имел удовольствие познакомиться с его отцом, — с нарастающим возмущением продолжал Павел. — Видал это мурло? Ну вот. Танечка целый месяц гонялась за шифоньером и книжным шкафом и все не могла достать. Однажды в магазине какой-то тип шепнул ей: «Вам шифоньер? Двести рублей, и все будет» Таня возмутилась, конечно, а потом видит, привезли прекрасную венгерскую мебель. Эх, думает, черт с ним! Уплатила тому типу двести рублей, он ей чек, она в кассу. Прибегает ко мне, рассказывает: «Купила две вещи, пойдем перевезем». Тут как раз и Борис был. «В каком магазине?» — спрашивает Таня назвала адрес, и Борис почему-то сильно смутился. Ну, я не придавал этому значения. Приехали мы с Таней в магазин, слышим, называют фамилию директора — Марк Викторович Юлин. Я подошел к нему и, еле сдерживаясь, спрашиваю: «Вы отец Бориса?» — «Да, — говорит, — а в чем дело?» — «Просто, — говорю, — хотел познакомиться. Я — художник Окунев. Благодарю вас за услугу». Думаете, смутился? Ничего подобного! Принял как должное и глазом не моргнул. Вот вам тип нового спекулянта!

Павел поднялся, шумно сплюнул и ушел помогать жене.

Петр стал рассказывать о «салоне» у Иванова-Петренки. По его словам, тот вечер открыл ему глаза.

Из кустов выпорхнул ловкий веселый Карен. В каждой руке — по две бутылки. Он запыхался, должно быть, бежал в гору. На матово-бледном лице, оттененном черными усиками, сияло задорное легкомыслие. Голос его звенел.

— Не жизнь, а подмосковная сказка! — Но, увидев серьезные хмурые лица друзей, переменяет тон: — Стряслось что-нибудь?

Владимир поднялся, обнял его, сказал со вздохом:

— Не все же сказки, Каренчик, есть и суровые были. Впрочем, и сказки бывают жуткими, но пугают они только детей. У взрослых страх — дело субъективное... Ну, как ты живешь, Карен?

— Скучно и жалко.

— Скучно — я понимаю... А жалко почему? Кого жалко?

— Себя, Володька. И на кой черт я пошел в этот квартет на должность проказницы мартышки!

— Ничего, терпи Зато лауреата получишь,— добродушно подначивал Владимир. Карен криво ухмыльнулся, и эта ухмылка была похожа на то, словно человек проглотил какой-то горький комок.

От дома к ручью с большой салатницей в руках торжественно спускался Павел. Его низкий раскатистый бас звал ребят к столу.

Сели. Помолчали. Еременко снова заговорил о наблевшем:

— Уже раздаются голоса: к черту батальную живопись, к черту искусство, которое воспитывает патриотизм! Да здравствуют общечеловеческие страсти!

— Да! А ты Петину статью читал? — спросил Павел.

— Петину статью? О чем? Где?

— Э-э-э, дорогой товарищ! Главного ты еще не знаешь! — воскликнул Карен.

Павел и Владимир одновременно посмотрели на Еременку: один — торжествующе, другой — вопросительно. А Карен продолжал, лукаво сверкая своими черными быстрыми глазами:

— В «Красной звезде» о батальной живописи, вернее — о тех, кто пытался ее заживо похоронить.

— Статью или живопись? — спросил Владимир.

— И то и другое,— с улыбкой вставил Еременко.

— Да где же мне читать: в деревне «Красную звезду» не выписывают.

— Эх ты, темнота! — протянул Карен, дружески обнимая Владимира.— Да он, можно сказать, нанес первый удар по «салону» Осипа Давыдовича.

— Не столько по «салону», сколько по себе,— возразил Павел.— Статья — бумеранг.

— Это мы еще посмотрим,— задиристо произнес Еременко.— Что они со мной сделают? Грязные сплетни распускают? Ну и черт с ними: грязь не пристанет.

— Ты думаешь? — Павел внимательно и обеспокоенно посмотрел на Петра.

— Да мало ли они анекдотов сочиняют о тех, кого ненавидят,— не соглашался Еременко.— Ну и что из того! О Камышеве чего они только не сочиняли! А разве авторитет его как художника среди народа пострадал от этой болтовни?

— В какой-то степени — да,— с грустью сказал Владимир.— Девять человек не поверили, а десятый пове-

рил. Меня в деревне об этом спрашивали: верно ли говорят, что Камышев третью жену бросил и сошелся с восемнадцатилетней дочерью министра? А картины свои, говорят, по фотографиям делает. Будто специально двух фотографов держит: они ему фотографируют все, что надо, потом на холст, как на экран, переносят, а он уже раскрашивает. Дескать, техника облегчает труд художника.

— И до деревни дошли эти байки? — удивился Еременко.

— Представь себе, дошли. Значит, умеют распространять.

Еременко задумался. Дело в том, что, пока он ездил на Волгу, по Москве было пущено несколько подобных баек и в его адрес. Фабриковались они в «салоне» Иванова-Петренки, в этом никто не сомневался, но Петр как-то не придавал им значения. Он это воспринимал как пример бессилия противника, способного на мелкую пакостную месть. То, что Борис Юлин перестал с ним здороваться, Петра просто сместило. Но вот однажды его пригласил к себе начальник студии и показал ему письмо, подписанное группой художников. Письмо это было адресовано на имя начальника Главного политического управления Советской Армии. В нем сообщалось, что родная мать военного художника капитана Еременки ходит по селам и побирается, а сын ее, пьяница и развратник, ни разу в жизни не прислал ей ни копейки денег. Фамилии авторов письма оказались вымышленными. У Петра Еременки не было родителей, об этом, очевидно, знали и авторы этой грубой анонимной фальшивки. Но на что они рассчитывали? Хоть не надолго, на минуту, навести тень на ненавистного им человека. Авось эта тень сохранится в памяти начальников: время пройдет, сам факт забудется, а тень останется.

Показывая эту анонимку Еременке, искушенный в подобных делах подполковник сказал уверенно:

— Началось Оськина работа. Но ты не придавай этому значения. Просто не замечай.

Легко сказать — не замечай, когда ты живешь в обществе, а о тебе распускают грязные сплетни. Владимир не зря говорит: «Девять не поверят, а десятый поверит». Разве этого мало? Нет, тут есть над чем задуматься.

Павел наполнил бокалы. Карен предложил выпить за счастье молодоженов. Дружно, в три глотки, закричали: «Горько!» Молодожены охотно поцеловались. Снова выпили и опять заговорили об искусстве.

— Неужели Яша был с ними? — горестно спрашивал Владимир

— Нет! — Петр отрицательно мотал головой. — Нет и нет. В последний вечер Яша вел себя очень странно. Вы знаете, он не любил высказываться, молчал и в этот раз. Но было видно, что нервничал. Я боялся, что он не выдержит, взорвется...

Павел поежился, будто стряхивая с себя что-то.

— Когда ты рассказываешь о таких вещах, мне становится как-то не по себе, ей-богу. А может быть, они все же заблуждаются, все эти винокуровы, юлины, а? И потом — нельзя всех валить в одну кучу. Иванов-Петренко и Винокуров — это одно, Юлин и Барселонский — другое, Пчелкин — третье. Борису премия во сне видится, и не столько деньги, сколько золотая медаль, потому что денег у него и так до черта. Если он получит премию, взойдется к звездам, как метеор. В академики пробьется, вот увидите!

— И в энциклопедию, — подсказал Петр.

— Факт, — подтвердил Карен. — Пока до «Ю» будут печатать, Борис выдвинется. Вернее, его выдвинут.

— А вы знаете, Борис не любит искусство, — сообщил Павел и крепче уперся руками в колени. — Я это недавно обнаружил. Ему слава нужна. Слава и деньги. Идеи? У него их нет. Чужими живет и сходит за умного. У него даже слова чужие...

— И все-таки он талантлив, — перебил друга Владимир. — Кисть у него бойкая.

— Что значит «талантлив»? — загорячился Карен. — Барселонский сейчас делает иллюстрации к Бальзаку, я видел их — все сделано манерно и плохо. А ведь талантлив!

— Ну, то Франция! Где нам ее понимать! — не то иронизируя, не то оправдывая Барселонского, нараспев сказал Павел, грузно откидываясь на спинку скамейки.

Глаза его, карие, опечаленные, смотрели сквозь зелень листвы туда, где весело журчал ручей. Ветка орешника щекотала его лицо. Он отмахивался от нее, как от мухи, наконец разозлился, сорвал назойливый лист и



зажал в зубах. Беспокойные думы одолевали его, но он не умел толком разобраться в них. «Вот Петр или Владимир — для них всегда все ясно, а я...»

— А, собственно, откуда вы взяли, что Барселонский талантлив? — вдруг спросил Петр. — Со слов Винокурова? Винокуровы создают таланты навязчивой рекламой. А что у Барселонского за душой? Полдюжины посредственных плакатов. А в живописи он просто профан

Павел повернулся к Еременке всем корпусом, сказал с добродушной улыбкой:

— Быть бы тебе, Петр, министром культуры, ты бы навел порядок в нашем хозяйстве.

Друзья засмеялись.

Говорили о Барселонском. Его ведь хвалили в печати и на собраниях те же поклонники, немногочисленные, но поразительно активные. Для них слово Барселонского считается священным. Репродукции с его картин и рисунков, целые альбомы постоянно лежат на полках магазинов. Официально его давно уже произвели в классики, а неофициально, в кулуарах, к его имени приставляется и слово «гениальный». Настоящие художники, правда, посмеиваются: дескать, мы-то знаем, что король гол!

Вспомнили, что Лев Михайлович Барселонский родился в белорусском местечке Копысь, на левом берегу Днепра, но жил там совсем недолго, и поэтому в душе его слово «Копысь» не производило решительно никакого отзвука. Академию художеств в Петербурге он не окончил, так как, по словам критиков-искусствоведов, академия не удовлетворяла его новаторскую натуру. Незадолго до Октябрьской революции Барселонский уехал за границу. В Париже друзья помогли ему устроить выставку, которая, однако, успеха не имела и попросту не была замечена. Приятели объяснили ему причину неуспеха: реализм отжил свой век, надо следить за модой. Барселонский стал присматриваться к моде и быстро постиг ее. Никаких полутонов! К черту палитру! Достаточно трех-четырех красок: небо — синее, трава и деревья — зеленые, вода — желтая.

Через год открылась выставка нового Барселонского. В газетах появились хвалебные статьи. Картины покупались аристократической знатью. Лев Барселонский стал не только знаменит, но и богат. Он предпринял

путешествие по Европе, побывал в Америке, растратил сбережения и в начале тридцатых годов возвратился в Советский Союз после того, как перепробовал в живописи все «измы», начиная от импрессионизма и кончая конструктивизмом. Человек умный, эрудированный и в меру талантливый, отлично знающий искусство, он быстро сориентировался и не без колебаний сделал выбор между Парижем и Москвой.

Из Европы он привез несколько десятков своих работ, среди которых были и произведения живописи и графики, но главным образом — сатирические плакаты и карикатуры. Вокруг его первой персональной выставки был поднят ажиотаж: знаменитый скиталец возвратился на Родину! И ему были созданы условия, о каких за границей он и мечтать не мог. Он принял это как должное.

Социалистический реализм давался Барселонскому нелегко. Жизнь простых советских людей он знал по газетам, по курортам юга, по дачному Подмосквовью. Однако его крымские и подмосковные этюды критики вроде Иванова-Петренки встречали с помпой, а массовый зритель, не находя в них ничего особенного, смущенно молчал. Та же критика внушала им, что народ, мол, не дорос до понимания такого искусства.

Однажды Барселонский написал картину, которая называлась «Красные партизаны». Перед зрителем позировали полупьяные, озверелые, с мясистыми красными лицами люди, вооруженные вилами и обрезами. Зрители говорили: «Типичные кулаки, антоновская банда, восставшая против Советской власти!» А критики из кожи вон лезли, доказывая «типичность и глубину образов народных мстителей». Картина не удалась, потому что художник взялся за чужую и не понятную для него тему. И красный флаг с надписью «За власть Советов» в руках откормленного краснорожего вожака выглядел кощунственно, как издевка. Зрители говорили: «Такие не за власть Советов идут, а против Советской власти». Но критики в печати сделали свое дело, отстояли и расхвалили эту картину.

Сам Барселонский, будучи человеком умным, конечно, знал подлинную цену безудержному славословию и старался изо всех сил создать хоть что-нибудь маломальски подходящее для советского зрителя. Незадолго

до Великой Отечественной войны ему удалось наконец написать реалистическую картину «Счастье Марины Ткаченко». Поговаривали, что картину эту писал вовсе не Барселонский, а его помощник — молодой художник, очень способный. Как бы то ни было, а картина имела успех, и к славе Барселонского прибавились золотой значок лауреата и звание действительного члена Академии художеств

И все-таки это не было всенародное признание. Признание пришло в годы войны. Он не заперся в башне из слоновой кости, как это сделали многие из его западных коллег, а работал без усталости, с небывалой энергией и страстью: делал военные плакаты, карикатуры на наших врагов. Их можно было видеть всюду: на огромных щитах фронтовых дорог, на крестьянских избах и зданиях городов. Имя Льва Барселонского хорошо знали советские солдаты. К масляным краскам в годы войны он почти и не притрагивался, если не считать картины «Мародеры».

После войны Барселонский писал тихие, мирные этюды «для души» и никогда их не выставлял. Затем принялся иллюстрировать Стендаля. Однако это не был уход на покой. Имя Барселонского по-прежнему громко выкрикивали его друзья и поклонники, сам он появлялся в президиумах различных собраний и заседаний, иногда выступал в печати по вопросам изобразительного искусства.

— Неужели и Барселонский, и Иванов-Петренко, и Винокуров — одного поля ягоды? — пытливо спрашивал Павел. Друзья молча пожимали плечами. И для них люди, подобные Винокурову, были не до конца понятны. «Кто же они такие и чего хотят?» — подумал Владимир.

— В Братиславе в сорок пятом году один молодой живописец показал мне свои творения. Сперва я ужаснулся, но потом понял его, — вспомнил Владимир, задумчиво глядя на друзей. — У меня тогда не возникал вопрос, почему тот художник считает разноцветное бесформенное пятно настоящим искусством, а произведения Рембранта чем-то вроде лучины, которая отжила свой век. Да, он так и сказал: искусство реализма перестало быть искусством после изобретения фотоаппарата. Искусство есть то, чего не в силах запечатлеть фотообъектив, то есть чего нет в действительности. Его этому учили с детства.

Такие идеи нужны буржуазии, чтобы обезоружить художника, оторвать искусство от действительности, лишить его народности.

Взволнованный голос Машкова звучал искренне и тревожно Тревога вперемешку с негодованием. Еременко сосредоточенно слушал, прислонившись к дереву. Чистенький, всегда аккуратно одетый Карен сидел чинно выпрямившись.

— Но почему винокуровы хотят увести наше искусство от жизни народа? Почему? — Еременко начинал горячиться.

— Народа они не знают, не понимают, не любят. Чего же ты удивляешься? — в тон ему ответил Карен.

Петр вспомнил почему-то Ефима Яковлева и сказал:

— Сценарий о Чайковском написал, а в музыке ни бум-бум. В шутку ему вместо Чайковского «Пятый концерт» Бетховена подсунули — не понял. Сценарий, конечно, не прошел, а деньги он получил. И большие деньги, — проговорил он со вздохом и, сделав паузу, заговорил о личном: — За диораму боюсь я. Тот же Иванов-Петренко назовет «обветшалым жанром» или еще как-нибудь в этом роде. Три года работы. Да какой!

— Чепуха! — горячо перебил Владимир. — Что винокуровы! Вспомните двадцатые и тридцатые годы. Разве тогда не было попыток увести наше искусство в сторону от столбовой дороги? Были, да еще какие. Но партия, ЦК не позволили. Не позволят и теперь, вмешаются. А как же иначе?!

...На Всесоюзную выставку Машков решил предложить две картины — «Прием в партию» и «В загсе» — и, кроме того, несколько портретов колхозников. Ждал членов выставочного комитета. Один из них, Николай Николаевич Пчелкин, как-то забежал к Владимиру мимоходом. По обыкновению он торопился, сдержанно хвалил и картины, и портреты, и покровительственно пообещал «решительно поддержать».

— А когда же остальные члены выставкома придут? — поинтересовался Владимир.

— А зачем они тебе? — И рассмеялся. — Кто-нибудь заглянет.

На другой день нагрянули академик живописи Михаил Герасимович Камышев, живой, крепкий старик с трубкой в зубах, и Винокуров. Владимир заволновался:

с именем Винокурова он почему-то связывал все свои неудачи. Встреча с Камышевым обрадовала: имя его было хорошо известно не только в мире искусства, но и среди народа. Пожалуй, не было уголка во всей нашей огромной стране, где бы люди не встретили репродукций или копий с картин Камышева, написанных широко и ярко, сочной крепкой кистью большого мастера Михаил Герасимович, человек прямого и несколько крутого характера, ученик Репина и Архипова, пришел в искусство в канун первой мировой войны, принеся с собой запах чернозема, душистых трав и полевых цветов Тамбовщины, ширь лугов и удаль не былинных, а действительных богатырей — своих земляков, с которыми он когда-то состязался в кулачных боях. Реалист в каждом своем мазке и борец по характеру, Камышев стал коммунистом еще в годы гражданской войны и на протяжении десятков лет вел непримиримую войну с формалистами разных мастей, подвизавшимися в живописи. Не удивительно, что у него было много и друзей и врагов. Камышева ненавидели бездарные выскочки и псевдоноваторы, объявившие реалистическое искусство обветшалым, отжившим свой век. У него много было недоброжелателей и среди одаренных, но завистливых художников. Были и такие, которые высоко ценили и уважали в Камышеве художника, его большой самобытный талант и в то же время недолюбливали за его прямой и резкий характер, за острый язык и нетерпимость к конъюнктурщикам от искусства. Эстеты и формалисты окружали имя Камышева паутиной клеветы и сплетен, ненавидели его и побаивались, потому что он слишком хорошо знал их повадки, их «тактику и стратегию», разгадывал их ходы и уловки, никогда и никому не давал спуска. Он пользовался авторитетом среди лучших советских художников, но еще больше он был авторитетен среди простых советских людей и их руководителей.

Художественная молодежь относилась к Михаилу Герасимовичу по-разному: ученики Иванова-Петренки и Барселонского, такие, как Борис Юлин, не любили Камышева и в то же время при случае заискивали перед ним: все-таки академик, народный художник. А наследники передвижников, подобные Машкову и Окуневу, искренне восхищались им.

Машков не был близко знаком с Камышевым. При-

глашая сейчас его в комнату, Владимир почувствовал, как дрожат руки. Но, взглянув на свою картину, повеселел, успокоился. умные глаза колхозного парторга будто говорили не только девушке, но и ему: «Не волнуйся, все будет хорошо».

Камышев вел себя запросто, как дома, ходил по комнате, пришаркивая ногами. Быстрые зрачки его темных глаз профессионально прошупали всю обстановку и наконец остановились на картине. Владимир придвинул академику кресло. Тот сел, не отрываясь взглядом от полотна. Винокуров сел рядом на стул, а Владимир стал позади них. Пышная, слегка поседевшая шевелюра академика заслоняла правый угол картины. Молчали минуты три-четыре. Потом Камышев с неожиданной резвостью вскочил, подошел к картине вплотную, потрогал краски голубого неба и солнечной ржи, отошел к окну, посмотрел на улицу. Потом повернулся и опять посмотрел на картину. Владимир заметил, как шевелятся в улыбке его обветренные губы.

— Как ее зовут? — он ткнул пальцем в фигуру девушки

— Валя.

— А этот?

— Аркадий Волгин.

Лицо Камышева как-то помолодело, в глазах засверкали зеленые искорки

— Пятерка с плюсом! — произнес он немного охрипшим голосом в лицо Винокурову. А Владимиру дружески улыбнулся. И опять уставился на картину.— Где распал такую натуру? Лица, глаза... А жатва, а полдень! В деревне писал?

— Да..

— Ну вот, а мы тут, в канцеляриях, бумажки пописываем да подписываем.— Это уже сказано для Винокурова

Владимира тревожило молчание критика, который рассматривал работы художника с тем равнодушием, за которым обычно скрывается презрение. Казалось, и Камышев заметил это, потому что спросил Винокурова:

— Ну, а ты, милоч, что думаешь? — И глазами показывал на картину «В загсе»

— Я знаком с этой работой,— неопределенно ответил Винокуров, тиская в кулаке свою бородку.

«Свое мнение он выскажет потом, на выставке», — враждебно и грустно подумал Владимир.

Проводив почетных гостей, Машков задумался. Что же теперь будет? Предстоящая выставка имела для него особое значение, нечто вроде государственного экзамена на аттестат зрелости. Пчелкин и Камышев определенно «за», Винокуров хоть и ничего не сказал — определенно «против». А как другие члены выставочного комитета? Какое же будет решение?

Позвонила Люся.

— Володя, пойдемте вечером в парк? — предложила она.

Владимир словно ожидал этого и, несколько не задумываясь, коротко ответил:

— Не могу, занят.

— Да что вы, Владимир Иванович, министра из себя строите! Пойдемте, — попросила она сладко, нараспев. — Я соскучилась по вас...

Он не ответил.

— Ну где вы там? Почему молчите? Знаете что, — неожиданно живо заговорила она, — пойдемте в сад «Эрмитаж». Там сейчас хорошо. — Он снова промолчал. — Ах, да, вы не любите этот сад! Тогда пойдемте в парк Горького, хорошо? Я зайду за вами в восемь, не возражаете?

— Не знаю, буду ли я дома, — вяло ответил Владимир.

— Так я зайду, — как о деле решенном сказала Люся и повесила трубку.

Ровно в восемь она пришла. Валентина Ивановна, мать Владимира, была на работе. Комната убрана, у мольберта — портрет Вали. Взглянув на портрет, Люся почувствовала прилив зависти, безрассудной ревности.

— Хорошо написан! — заключила она вслух и тут же оговорила: — Только сама она неинтересная: большой и круглый, как футбольный мяч, лоб... Нет, мне не нравится ваша колхозная фея.

Владимир снисходительно улыбнулся:

— У нас с вами разные вкусы...

Она не обратила внимания на его слова и начала рассматривать картину «Прием в партию».

— Какой славный старик! — показала она на Щер-

бакова.— А тут опять рожь... Боже мой, сколько у вас ржи! Зачем так много?

Он молчал, но на лице его можно было прочесть: «А что вы понимаете в этом?» Ее пристального взгляда он избегал, смотрел на нее мельком, устало и равнодушно. А она все косилась на портрет Вали. Он это заметил, и Люся, как пойманная за руку, будто в оправдание, капризно заговорила:

— Напишите мой портрет. Других пишете, а меня не хотите? Напишите, я подарю его вам с надписью, и вы повесите его вот здесь...— Она показала на простенок.

— Снимите с себя маску, тогда попробую писать.

— Мою маску вы придумали сами,— улыбнулась она дружески, села в кресло, пододвинула к себе свободный стул и приказала: — Сядьте здесь. Хочу посмотреть на вас.

Он молча сел, и она внимательно уставилась на него. Глаза их встретились. Люся смотрела влюбленно. Она взяла его руку и слабым голосом спросила:

— Ну что вы такой... Жениться, что ли, вздумали?

Он не удержал улыбки и на вопрос ответил вопросом, стараясь вложить в него как можно больше безразличия:

— А как поживает Борис?

— Не знаю,— ответила она с невинным видом.— Наверное, хорошо... Вы, кажется, научились ревновать?

— Наоборот, разучился.

Разговор начинал его раздражать. Он встал, подошел к зеркалу, поправил на себе галстук, причесал волосы, достал из книги запечатанный конверт и, повернувшись к Люсе, сказал:

— Ну что ж, пошли в парк? Я заодно письмо опущу.

— Кому письмо?

— Секрет.

— Перед своей звездой изливаетесь! Ну-ну,— она начинала злиться, но после небольшой паузы опять заговорила мягким голосом: — А вы не боитесь ревности?

— Вашей? Нет.

— Покажите письмо! — голос властный, а на глазах навернулись слезы.

Изумленный неожиданной ревностью, он подал письмо и внимательно наблюдал за выражением ее лица, когда она читала на конверте: «Здесь. Площадь Ногина, министру нефтяной промышленности». Она подняла гла-



за, полные не удивления, а самого естественного разочарования.

— А что здесь такое? Не понимаю.

— Хотите расскажу?

— Да, хочу,— ответила Люся протяжно. Он сел рядом, положил руки себе на колени и, не глядя на Люсю, начал:

— В поезде я встретил двух жителей города Орши. Один — старик. Изумительный дед, умный и хитрый, а любознательность школьника. Так вот, этот самый дед рассказал, как у него на огороде земля дегтем сочится. Похоже на нефть. Вот он и просил меня рассказать об этом в Москве кому следует.

— Ну и что? — Она слушала его внимательно.

— Как что? А быть может, старик прав? Пусть пошлют разведку. А вдруг найдут нефть! Вы знаете, какая это находка для страны?

Она пожала плечами:

— А если ваш старик наврал? И вот напрасно туда людей пошлют, потом вас же ругать будут.

Он снисходительно усмехнулся и уже пожалел, что рассказал ей об этом. Взял из ее рук письмо и сказал со вздохом:

— Пошли...

— А куда мы пойдем? — спросила она, не трогаясь с места.

— Куда хотите. Хоть в сад «Эрмитаж», мне все равно

— Я хочу в парк Горького,— сказала она, внимательно наблюдая за ним, будто хотела узнать его мысль.

— Пожалуйста. На все согласен.

Она быстро встала, поправила перед зеркалом волосы и ресницы, говоря при этом: «Не смотрите...» Затем они вышли.

Парк звенел музыкой, людским гомоном. Сотни москвичей и приезжих заполнили влажные, политые водой, аллеи. Молодежь и старики, штатские и военные толпились у зрелищных площадок. Качели, карусели, чертово колесо, тир, самолет... Все вертелось, кружилось, гудело, стреляло, трещало, ухало. С многочисленных эстрад неслись звуки оркестров, рояля, пение, плоские остроты конферансье. Владимир заметил:

— Культуры много, а отдыха нет.

— Тогда поедem в Сокольники или в Измайлово. Там есть и культура и отдых,— предложила Люся.

Но в Измайлово они не поехали, понадеялись найти уединенный уголок здесь. Пошли в кафе-мороженое на берегу голубого пруда. Только сели, как Люся, встре-пенувшись, что-то второпях проговорила Владимиру и убежала в другой конец кафе. Там у столика какой-то смуглый, черноволосый, щегольски одетый мужчина рас-плачивался с официанткой. Люся поздоровалась с ним и заговорила. Постояли они так минут пять и прошли к барьеру над прудом. Тут остановились и, глядя на сну-ющие по пруду лодки, продолжали очень живо о чем-то разговаривать.

Прошло пять, десять, пятнадцать минут. Люся не воз-вращалась и даже не оборачивалась в сторону Влади-мира.

— Свободное кресло? — спросил кто-то.

— Занято,— с раздражением ответил Владимир.

Официант давно уже принес две порции мороженого. Оно оплыло. Владимир пододвинул одну порцию, но есть не хотелось. Без всякой связи с окружающим поче-му-то вспомнилась Варшава. Он был в ней проездом, когда возвращался из Германии. За Вислой есть боль-шой тенистый парк. Как он называется? Кажется, парк Понятовского. Впрочем, нет, это мост Понятовского, а парк как-то иначе называется. Так вот там под старой липой стоит бронзовый амур. Стрелой он натягивает тетиву лука, а сам весь изранен настоящими свинцовыми пулями!

Вторая порция мороженого растаяла. За соседним столиком артиллерийский офицер что-то сказал своей даме. Та сочувственно посмотрела на Владимира, потом в сторону барьера, потом опять на Владимира. Владимир стремительно встал, положил на стол деньги и ушел.

Люся звонила на другой день.

— Где вы пропадаете? — спросила она как ни в чем не бывало.— Я вас искала по всему парку. Почему вы меня бросили? Такой поступок можно простить только вам... У меня на завтра два билета на «Евгения Онеги-на» — Она говорила это так, как если бы не сомнева-лась, что он не откажется пойти.

Владимир ответил сухо:

— Благодарю за приглашение, но я занят. Ухожу к товарищу на день рождения.

— Возьмите меня с собой!

— Не могу.

— Мне нужно вас сегодня видеть. Непременно. Я должна вам что-то сказать очень важное!

Владимир знал, что ничего важного она не скажет.

— Сегодня у меня нет времени. Если вам нетрудно, позвоните мне послезавтра часов в шесть. Всего доброго.— И повесил трубку.

Она звонила в половине шестого, в шесть и в семь. Он не подходил к телефону, решив показать свой характер, хотя для него это было не так легко.

Неделю спустя неожиданно позвонил Окунев:

— Что у тебя новенького, Володя?

— Пока все то же, Паша...

— Странно,— произнес Павел.— А на помолвку ты не приглашен?

— На помолвку? — озадаченно переспросил Владимир.— На какую помолвку?

— Так ты не знаешь? Борис женится... на той.. с кудряшками, которая из издательства «Искусство».

Владимир чуть было не сказал «шутить», но сообразил: а что, если правда? И через силу выдавил из себя:

— Борис меня не приглашал и не пригласит. Ты это знаешь.— И повесил трубку.

«А мне не сказала...— думал он, стоя у телефона в коридоре.— Может, разыграл меня Пашка! Честное слово, разыграл. Люсю я давно не видел, не звонил ей... Может быть, она сама и попросила Павла устроить эту комедию?»

В последний раз они простились «навсегда». Но эти «навсегда» были и прежде, и он не верил в значение этого слова. И вот...

Он позвонил в издательство «Искусство». К телефону подошла подруга Люси, Наташа. Она, очевидно, узнала его голос, ответила многозначительно:

— Люся сегодня не работает...

— Больна?

— Да нет...— Наташа замаялась.— А вы позвоните ей домой...

Надо бы придумать, о чем вести разговор, с чего начать... Как нарочно, мать его дома — она работала в ночной смене — и сейчас затеяла стирку. Ей все слышно, что говорят по телефону. Не хотелось ее волновать, тем более что она недолюбливала Люсю и, наоборот, очень охотно заводила разговор о Вале...

Он долго стоял в коридоре у телефона и все-таки позвонил Люсе домой. К телефону подошла ее мать. С трудом сдерживая волнение, он попросил Людмилу Васильевну. Более всего он боялся, что она спросит: «А кто говорит?» Но она не спросила, сказала: «Подождите у телефона», — и, видимо, удалилась. В трубке слышались неясные голоса, потом легкий шорох и, наконец, — ее голос, негромкий, вкрадчивый: «Да?» Забыв поздороваться, Владимир спросил, все еще веря в возможность шутки:

— Вас, кажется, можно поздравить?

Она ответила не шутя и даже радостно:

— Да, спасибо. Представьте, я почему-то была уверена, что вы позвоните. Я даже поспорила тут...

Такого он, конечно, не ожидал; бросить бы трубку да выругаться, а он спросил:

— Кто же он?

— Как, разве вы не знаете? Один ваш хороший знакомый...

— Борис?

Она подтвердила милым, щебечущим, счастливым голоском.

— Желаю счастья, — глухо сказал он и положил трубку. Затем он лег на диван. В висках торопливо и тупо стучало: «Все кончено, все кончено». Теперь уж действительно навсегда. А где-то глубоко-глубоко, как пойманная птица, билась другая мысль: «Нет, нет, еще не все, еще не все!»

— Как это «не все»? — спросил он себя громко.

В комнату вошла мать. На лице и в глазах ее испуг:

— Что с тобой?

Он ответил, не решаясь поднять на нее взгляда:

— Ничего... Я немножко устал...

Она понимала, что он говорит неправду. Подошла ближе и, как в детстве, посмотрела на него ласково, но строго:

— С кем ты говорил по телефону?

Он поднял голову и смело встретил ее ясные глаза.  
— Сегодня у Люси помолвка...

Мать не скрыла радости:

— Ну и слава богу. Поздравил? Ну и хорошо. Видишь, как у них — по-старинному, по-интеллигентному: вперед помолвка, а через год, поди, свадьба.

— Через год? — переспросил он. Вскочил и беспокойно зашагал по комнате. И вдруг достал картину «В загсе», поставил ее на стул. Ему почудилось, что девушка-невеста на картине чем-то напоминает Люсю. И его осенила мысль, от которой он сразу посветлел.

— Мамочка, ты не знаешь, в какой сегодня смене Коля Ильин?

— Да, кажись, с утра, — ответила она.

— Очень тебя прошу: пойдешь на завод, загляни к нему домой, скажи, пусть немедленно придет ко мне. Не застанешь дома, оставь ему записку. Хотя нет, не надо, я телеграмму дам.

На ходу набросил на себя пальто и убежал на почту. «Еще год! Еще целый год!» — стучало сердце.

Когда Владимир вернулся, матери уже не было дома. Сбросив с себя пиджак и накинув рабочий халат, он водрузил на мольберт картину «В загсе» и стал переписывать голову девушки-невесты. Делал он это с каким-то неистовством, похожим на ожесточение. Щурясь, отходил от мольберта, закрывал глаза, вызывая в памяти знакомый, до боли близкий образ, и снова писал... Когда в окно заглянул вечер, на картине, у стола регистраторши рядом со смущенным женихом, сидела Люся Лебедева, та Люся, какой он знал ее в самые счастливые минуты...

Коля Ильин долго не приходил, и Владимир уже начал нервничать: а вдруг телеграмма не застала его дома! Наконец звонок. Коля явился раскрасневшийся и дурашливо доложил:

— Прибыл по вашему приказанию, товарищ лейтенант!

Владимир принял шутку: по-военному вытянулся, сделал строгое лицо и заговорил строго, отдельно:

— Вам, сержант Ильин, поручается ответственное задание. Поедете вот по этому адресу, — подал бумажку, — и доставите ценный пакет гражданке Лебедевой Людмиле Васильевне.

Коля щелкнул каблуками, как будто и в самом деле был военным, и отчеканил:

— Есть, товарищ лейтенант! Будет исполнено! А где же пакет? — уже по-штатски спросил он.

Владимир приподнял бережно упакованную картину.

— Вот пакет. Совершенно секретный. Вручить лично. Ответа не ждать. Придешь — расскажешь.

Коля ушел. В ожидании, пока он вернется, Владимир сел за пианино и заиграл «Аппассионату» Бетховена. Это была именно та музыка, которая соответствовала его душевному состоянию. Она то успокаивала и сосредоточивала, то вдруг вспыхивала ураганом неистовых чувств.

В квартире Василия Нестеровича Лебедева тоже гремела музыка. В просторной гостиной танцевала молодежь, задевая ноги Пчелкина и Иванова-Петренки, спорящих о путях развития советского прикладного искусства. А в скромно обставленном кабинете хозяина, удалившись от шума, вели беседу отцы невесты и жениха. Василий Нестерович был сдержан и грустноват, Марк Викторович в приподнятом настроении болтал о мировых проблемах, искусно «увязывая» их с покупкой дачи на черноморском побережье.

Невеста, жених и Диана Иванова-Петренко сидели на диване в Люсиной комнате и вели беседу о том, где лучше отдыхать: на кавказском побережье, в Крыму или на Рижском взморье. Говорили о будущем свадебном путешествии, составляли маршрут. Люсе эти разговоры были неприятны. Она думала о Владимире, о его звонке. К ее удовлетворению, беседу прервала Наташа, издательская подруга, сообщившая таинственно:

— Люся, там тебя какой-то мальчик спрашивает.

— По телефону? — глаза у Люси насторожены.

— Да нет, говорит, подарок принес...

— Мальчик? Подарок? — с наигранной ревностью переспросил Борис.

— Не волнуйтесь, Боря, это подросток, — успокоила его Наташа. — Или — как это у вас называется? — пацан.

В передней вокруг Коли Ильина уже стояли супруги Лебедевы и Марк Викторович. На их вопросы, что это и от кого, Коля не отвечал, говоря, что он хочет лично видеть Людмилу Васильевну.

Люся вышла стремительно.

— Вы ко мне? — нетерпеливо спросила она Колю, узнав его по портрету, который видела у Владимира. Она уже поняла, от кого подарок, и когда Коля сказал: «Это вам!» — и протянул ей громоздкий пакет, она растерялась и забыла поблагодарить за подарок. Лихорадочными движениями она стала распаковывать картину прямо тут же, в передней. Гости толпились вокруг.

Первым узнал картину Борис. Лицо его позеленело.

— Наглая выходка, — процедил он. Люся услышала, но не подала вида. Лидия Константиновна, смекнув, в чем дело, не на шутку забеспокоилась.

Между тем картина была водружена на стул, и Николай Николаевич Пчелкин уже успел произнести свою излюбленную оценку:

— М-да, ничего! В ней что-то есть!

Иванов-Петренко, видевший картину впервые, искренно сказал:

— Недурно? Кто автор?

— В таких случаях следует говорить наоборот: сначала спросить, кто автор, а уж затем давать оценку, — хитро подмигнул Пчелкин. Он-то знал имя автора и понимал, какое щепетильное положение создается.

— Великолепно! — прошебетала Наташа. — Вот это подарок! Люсенька, ты здесь как живая! Ну, знаешь, плакать хочется, до чего хорошо! — И она обняла и поцеловала Люсю. — Жаль только, — добавила она, — что жених ни капельки не похож на Бориса.

— В этом не моя вина, Наташенька, — кисло проговорил Борис, скорчив улыбочку незаслуженно обиженного человека.

Его позвала Люся — украдкой, глазами и еле заметным кивком головы. Он пошел за ней в ее комнатку неторопливой, независимой походкой. Люся вошла и села на тахту, возбужденная, настороженная.

— Боря, сядь рядом, — ласково попросила она. Он молча присел подле. Она взяла его руку, посмотрела ему в глаза с какой-то доверчивой и умоляющей покорностью, спросила тихим, ослабевшим голосом: — Ты обижаешься?

— А ты? — в свою очередь спросил он, сделав удивленные глаза. — Нас оскорбили нагло, грубо. Подарить

вещь, которую забраковали на худсовете,— это такой плевок!..

Люся болезненно сморщила свой тонкий красивый носик и предупредительным жестом остановила его:

— Боря, не надо так. Это неправда. Ведь ты же хорошо знаешь Владимира Ивановича. Клянусь чем угодно, что он это сделал по простоте душевной.

Уже в этот миг она почувствовала, как что-то еще не совсем понятное, но опасное рождается в ее душе. Она боялась, что все может вылиться во что-то нехорошее, а возможно, и страшное, но ничего не собиралась предпринимать, чтобы не допустить этого страшного.

— Нужно вернуть! — энергично сказал Борис. — Немедленно вернуть эту халтуру самому халтурщику!

Ей хотелось крикнуть: «Это не халтура! Это чудесное произведение искусства!» Но она только умоляюще попросила:

— Не надо, Боря...

О, как дорого стоило ей, привыкшей командовать и приказывать, эта фраза! И Борис это понял, вернее — угадал.

— Хорошо,— сказал он сухо и отчужденно.— Но, я надеюсь, ты не возьмешь эту дрянь с собой, в наш дом?

Как он потом жалел, что сказал эти слова! Люся вдруг вся переменялась в лице, побледнела, и до предела натянутая в ее душе струна лопнула.

— Не беспокойся,— сказала она тихо, глядя в сторону,— в твой дом никогда и ни за что я не внесу эту картину. Она останется вот в этой моей комнате.— Встала и, не оглядываясь, вышла.

Через минуту она вернулась с молотком, забралась на стул и стала вбивать гвоздь, чтобы повесить картину. На стук собрались гости. Николай Николаевич, а затем и Василий Нестерович хотели помочь Люсе. Она не разрешила: «Сама все сделаю». И действительно сделала

Когда картина была водружена на стену напротив тахты, Люся взглядом победителя посмотрела на Бориса и вдруг поняла, что он ей чужой, что все здесь чужие и что помолвка — это не больше как маскарад, глупый и нелепый. Она поняла это лишь сейчас, поняла поздно, удивилась, обрадовалась, и ей захотелось сообщить об этом открытии самому близкому из присутствующих.



Таким был только отец. Ей хотелось броситься ему на грудь и зарыдать, но она знала, что не имеет на это права: он же предостерегал, а она его не послушалась... И она взяла себя в руки. Все увидели внезапную перемену в ней: движения стали резкими, угловатыми, лицо ожесточилось, в глазах засверкали недружелюбные огоньки.

Борис понял, что пересолил, и теперь не знал, как все сгладить. Взглядом он дал понять всем, чтобы их оставили вдвоем. Гости удалились, но Люся задержала Наташу:

— Не уходи, Наточка, побудь со мной.

Наташа осталась, догадываясь, что Люся не хочет сейчас говорить с Борисом, должно быть, боясь, что объяснение это выльется в бурную сцену. Люся уже ясно чувствовала, что ей не придется уходить из этой комнаты, которая теперь казалась ей особенно милой. Да и полно, любит ли она Бориса? Ведь он для нее чужой человек. И самое слово «муж» применительно к нему звучит холодно: муж, чуж, чуженин... Да, конечно, лучше это сделать теперь, чем потом. Собственно, в этом, пожалуй, и есть единственный здравый смысл помолвки, которую предложил Борис и на которую она неохотно соглашалась. «Что еще за вздор придумал?» На что Борис невинно отвечал: «Так, вроде карантина».

Не ожидала Люся, что ее легкомыслие с этой помолвкой повлечет за собой столько неприятностей. Только бы не разрыдаться здесь, на людях. Более всего ей хотелось сейчас поблагодарить Владимира за подарок и за все хорошее, что было и чего она не замечала и не ценила раньше: говорить с ним, плакать, не стыдясь слез, рассказать, что случилось нечто глупое, но не столь уж неотвратимое, что она решилась на такой шаг ему назло и что дурман сейчас рассеялся. К Борису у нее не было ни вражды, ни жалости. Он просто был для нее случайным знакомым, который когда-то незваным гостем ворвался в квартиру с букетом мимоз.

Гости разъехались, оставив в квартире неизбежный в таких случаях беспорядок. Люся вышла проводить Бориса, а Лидия Константиновна, взволнованная и усталая, ушла в спальню, разделась и легла в постель, ожидая мужа. Нужно было поговорить с ним о Люсе. И хотя разговор этот не обещал ничего приятного, она нетерпеливо ждала его. Минуло четверть часа, а муж не шел.

— Вася? — позвала она несмело и с беспокойством в голосе.

Он не ответил. Она позвала еще раз, и снова ее натянутый, тревожный голос бесследно рассеялся в просторах большой квартиры Лидия Константиновна поднялась и, осторожно ступая, на носках, тихонько и вкрадчиво вышла в переднюю, заглянула в Люсину комнату. Она надеялась увидеть тут задремавшего мужа. Но он не спал, в глубокой задумчивости сидел перед картиной, которая, по его мнению, была и талантливой, и роковой. С болью и тоской в душе он смотрел на Люсю и молодого человека, сидящих в загсе, и спрашивал себя: «Как все это могло случиться?» Ему казалось, что этот вопрос задает та седовласая женщина, что сидит за столом. Невольно подумалось: в загсе, где должна регистрироваться Люся, наверно сидит не эта, а другая, какая-нибудь молоденькая девчонка-регистраторша, которая не сознает высокой ответственности своей службы. «Да что она? А мы, родители, где?»

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Правдивость составляет первое условие художественного творчества, а красота заключается в истине и простоте.

*В Плеханов*

Еще задолго до открытия художественной выставки в Москве распространился слух: гвоздями сезона будут новые работы Барселонского и большая картина, написанная бригадой Пчелкина. Машков и Еременко не сомневались, что слухи эти идут из «салона» Иванова-Петренки.

Помолвка Люси на несколько дней выбила Владимира из колеи, но, к счастью, картина и портреты его были уже готовы, оставалось только заказать рамы. Наконец позвонили из выставочного комитета: «Везите свои работы!» Этой команды Владимир ждал с нетерпением, а воспринял ее равнодушно. С картиной «Прием в партию» ему было просто жаль расставаться. Герои этой картины — сельские коммунисты — были в эти тя-

желые дни его лучшей духовной опорой. Иногда в тиши пустой квартиры он мысленно разговаривал с ними, пытался излить им свои огорчения, и они, казалось, сочувствовали ему.

На квартиру Владимира зашел Коля Ильин, и очень кстати: нужно было отправлять работы в Третьяковскую галерею, а денег на грузовое такси, как говорят, «шаром покати». Владимир хотел было Еременке позвонить, попросить взаймы, да тут вмешался Коля:

— А зачем такси, что, мы так не донесем? Подумаешь, тяжесть какая.— И он легко приподнял картину, подмигнув с лукавым намеком:— Нам не привыкать...

В рыжей из искусственной кожи куртке, застегнутой на длинную «молнию», с летним загаром на круглом лице и возбужденными глазами-пуговками, Коля нетерпеливо расхаживал по комнате, готовый немедленно оказать любую услугу Владимиру, которого он преданно, по-братски любил.

— А портреты как же? Может, мне помочь? — забеспокоилась Валентина Ивановна.

— Придется два раза ходить,— решил Владимир, с признательностью глядя на Колю Ильина.

Картина оказалась не такой уж легкой, как это думалось вначале. Главное — ее несподручно было нести.

— Надо было ремни приделать — и на плечи, было бы намного удобней,— говорил Коля, когда они спустились на Неглинную улицу.

— Что ж теперь делать, когда умные мысли к нам приходят с опозданием,— заметил Владимир.— Придется уж так нести.

Он хотел еще сказать, что «своя ноша не тянет», но, вспомнив, что своей она была только для него, а для Коли, может, и не своя, промолчал.

Он несколько смущался под любопытными взглядами прохожих, зато Коля шел с гордым видом, и было нечто торжественное в его твердой походке и в живом веселом взгляде. Раза два останавливались отдохнуть.

Пока дошли, порядком утомились. Даже Коля, который делал вид, что он ни капельки не устал, и тот изрек, когда пришли уже в Третьяковскую галерею:

— Искусство, оказывается, тоже большой и нелегкий труд.

У входа встретили Павла Окунева. Видя пешую

транспортировку картины, он набросился на Владимира с упреками

— Тоже друг называется. Не мог позвонить. Что мне, трудно было за тобой заехать? Голова садовая. Поехали за портретами! — решительно предложил Павел и первым вскочил в кузов грузовика. Коля сел в кабине рядом с шофером.

В пути Окунев сообщил Машкову очень печальную весть: диараму Еременко на выставку не приняли.

— Почему? — удивился Машков.

— Почему, почему, — раздражительно говорил Павел. — Не знаешь, что ли? Не надо было статью писать. А теперь он — однозная личность, как говорит Борис Юлин. Это в искусстве вроде прокаженного...

— Ну, это понятно. А формально под каким предлогом они отклонили? — допытывался Владимир, возмущенный и пораженный неслыханной несправедливостью.

— Да что предлог! Предлог они всегда найдут. Даже не один. Мы боремся, мол, за мир, а диорама военная, и притом она громоздка, негде поставить. Вот тебе и предлоги. К тому же Осип Давыдович в выставке имеет большинство, проголосуют, и точка.

Владимир был озадачен. Надо было что-то предпринимать немедленно, сию же минуту. Иначе будет поздно. Он сказал об этом Павлу. Тот ответил:

— Я уже говорил с Николаем Николаевичем. Он тоже возмущен, говорит — несправедливо. Обещал помочь

— Пчелкин вряд ли поможет, — усомнился Владимир

— Обещал твердо: он же зам. председателя выставки.

— Да пойми ты: Пчелкин сам небось голосовал против диорамы.

— Не думаю. Это не в его характере — голосовать «против». Он лучше проголосует «за», за что угодно, за две прямо противоположные и несовместимые вещи, но только не «против».

— Надо к старику Камышеву идти. Он поможет, — предложил Владимир.

— Камышев, конечно, верней, — согласился Павел. — Попробуй.

Это была единственная надежда. Камышеву они верили беспредельно, в его лице видели последовательного

и твердого борца за реалистическое искусство. Камышев не Пчелкин: он никогда не пойдет на сделку с противниками реалистического искусства, с шарлатанами и бездарными дельцами, увенчанными бумажными лаврами. Старик был неподкупен, он отлично знал настоящую цену всем этим барселонским, винокуровым и К°. В Камышеве Машков и его друзья видели не только огромный талант, но ум и совесть русского художника.

— Да, единственная надежда на старика,— повторил Павел, безудержное возмущение которого постепенно сменилось горькой, щемящей в груди обидой.

— А если Михаил Герасимович не сможет помочь? Он рядовой член выставкома, а Пчелкин все-таки зам. председателя,— напоминал Карен Вартанян: он надеялся на Николая Николаевича. А Владимир не верил Пчелкину.

— Если старик не сможет, тогда дело плохо,— с грустью повторил Машков.

— Министру культуры напишем,— предложил Карен.

— Будет поздно,— махнул рукой Павел.

В тот же вечер все втроем они звонили Камышеву. Домашние ответили: Михаил Герасимович уехал в Киев, вернется через три дня.

«Вот тебе и надежда!..» — обменялись друзья растерянными взглядами: ведь через три дня откроется выставка.

— А знаете что? — В глазах Владимира блеснули дерзкие и решительные огоньки. — Я завтра в Министерство культуры пойду. К Варягову.

— Так он тебя и примет,— усомнился Павел. А Карен сказал более определенно:

— Бесполезно, даже если и примет. Варягов — друг Барселонского.

О том, что Варягов покровительствует Барселонскому и слишком снисходителен и доброжелателен к Иванову-Петренке, хорошо знали в среде художников. По этому поводу Камышев как-то сказал в компании художников:

— Пока Варягов на коне, Оське нечего бояться. Но все во власти времени: когда-нибудь и Варягов раскроет себя:

Всю ночь Владимир обдумывал свой разговор с Варяговым. Надо говорить не только о диораме Еремен-

ки, но вообще о положении в искусстве. Но как отнестся к этому Варягов? А может, ограничить разговор диорамой и вовсе не касаться Барселонского и К? Просто сказать, что это недоразумение, произвол со стороны некоторых членов выставкома, сослаться на доброжелательное отношение к диораме Пчелкина

Утром, в новом костюме, чисто выбритый, слегка возбужденный, Владимир был в бюро пропусков Министерства культуры. Позвонил Варягову.

— Сергей Сергеевич болен, — ответила секретарша, когда Владимир назвал себя, и положила трубку.

— Вот так раз!.. — обронил Машков. — Что же делать?

Он поехал прямо в ЦК партии, позвонил в отдел культуры.

— У меня очень важное и срочное дело, связанное с художественной выставкой.

Секретарша посоветовала поговорить с инструктором отдела товарищем Козловым.

Козлов принял Машкова тотчас же. Это был невысокого роста бледнолицый человек средних лет с приветливой улыбкой и простыми, располагающими к непринужденному разговору манерами. Козлов усадил Владимира не в кресло напротив своего письменного стола, а на мягкий массивный диван и сам сел подле гостя. Владимир начал говорить быстро-быстро, стараясь успеть высказать самое главное, но Козлов перебил его вопросом:

— Вы куда-нибудь спешите?

— Нет, я боюсь отнять у вас время.

— В таком случае, пожалуйста, не спешите. Времени у нас достаточно.

Владимир говорил о диораме, о Еременко, о его статье, о «салоне» Иванова-Петренки, о выставке, где Барселонский и Осип Давыдович имеют большой вес. Оказалось, что Козлов хорошо знает и творчество Еременко, и его статью, и о проделках Иванова-Петренки в выставке. Правда, он не знал, что диораму на выставке не приняли, для него это была новость, хотя и не неожиданная.

— Хотят взять реванш, — заметил Козлов, не сводя с Машкова внимательных глаз. Потом поднялся, со

вздохом, подошел к столу, что-то записал себе в блокнот. — Отчаиваться только не надо. Идет борьба, жестокая идейная борьба. Дело это не простое и не шутейное. Как это раньше говорили: воин без ран не бывает. Вы боитесь синяков? — спросил он вдруг с веселой улыбкой.

— Не раны пугают, — сказал негромко, но с накалом Владимир, — страшно, когда душа в синяках. Ведь они же издеваются, и безнаказанно.

— Не всегда безнаказанно.

Да, Владимир знал: партия никогда не выпускала из-под своего влияния вопросы идеологии и культуры, всегда вовремя поправляла тех, кто пытался оторвать наше искусство от народа, увести его в сторону от жизни, от строительства социализма.

— А что касается диорамы Еременко, то попробуем в этом деле разобраться. Я поговорю с Пчелкиным, он — человек правильный.

«Пчелкин — человек правильный. Так думают о Николае Николаевиче и в ЦК». Эта мысль как-то омрачила Машкова. Он хотел сказать: «А вы присмотритесь — Пчелкин не тот, за кого он себя выдает», но сдержался. А вдруг не поверят ему, окажут: групповщина, мелкие личные дразги. Пчелкин ведь стал фигурой с определенным весом и положением в обществе.

Петр Еременко не находил себе места. Провал с диорамой, с которой было связано столько планов на будущее, привел его в состояние не то что растерянности, а какой-то творческой апатии. Много лет вынашивал он идею диорамы: мысль о ней родилась еще на фронте, где он, военный художник студии имени М. Б. Грекова, провел самые тяжелые месяцы героических кровопролитных боев. Он работал над диорамой с величайшим накалом вдохновения, вкладывал в нее все пережитое и прочувствованное им в дни, когда решалась судьба города на Волге, а быть может, и судьба всей страны. Он мечтал создать эпическую поэму народного подвига — рамки станковой картины казались тесными для воссоздания грандиозной битвы. Ему хотелось оставить потомкам потрясающей силы до-

кумент героизма, величия и духовной красоты советского человека. Он разговаривал с потомками: смотрите и помните, какой ценой завоевана для вас чудесная жизнь. Помните, что за нее лилась кровь ваших дедов и прадедов. Берегите ее, как самое дорогое.

Диораму Еременко расценивал как первый этап к главному своему произведению, которому стоило посвятить целую жизнь: он мечтал создать панораму «Битва на Волге». Воображение его рисовало чудесный народный парк на Мамаевом кургане, а в самом центре — панораму наподобие Севастопольской... И вдруг все это оказалось ненужным. Но кому? Не солдатам Волги и Днепра, не сыновьям и внукам тех, кто разгромил фашизм, а Барселонскому и К°. Это он отлично понимал. Его бесила неуловимость этой темной, но спаянной, спевшейся кучки. Правда, друзья обещали помочь, утешали. Но что они могут сделать? Как на грех, Камышева нет в Москве. Начальник студии обещал пойти в Министерство культуры, а Машков — в ЦК. В успех Петр не верил: поздно, выставка открывается послезавтра.

Он лежал в своей мастерской на жестком, самым сколоченном топчане. Положив под голову старую френтовую шинель и стараясь отогнать прочь тягостные думы, читал «Тараса Бульбу». Знакомые со школьной скамьи картины вставляли перед глазами и плыли, плыли, как страницы, которые он листал, читая не все подряд, а лишь отдельные места:

«... Могуч был казак Мосий Шило. «Так есть же такие, которые, бьют вас, собак!» — сказал он, кинувшись на него. И уж так-то рубились они! И наплечники, и зеркала погнулись у обоих от ударов. Разрубил на нем вражий лях железную рубашку, достав лезвием самого тела: зачervонела казацкая рубашка. Но не поглядел на то Шило, а замахнулся всей жилистой рукою (тяжела была коренастая рука) и оглушил его внезапно по голове. Разлетелась медная шапка, зашатался и грянулся лях, а Шило принялся рубить и крестить оглушенного. Не добивай, казак, врага, а лучше повернись назад! Не поворотился казак назад, и тут же один из слуг убитого хватил его ножом в шею. Поворотился Шило и уже достал было смельчака, но он пропал в пороховом дыме. Со всех сторон поднялось



хлопанье из самопалов. Пошатнулся Шило и почувствовал, что рана была смертельна. Упал он, наложил руку на свою рану и сказал, обратившись к товарищам: «Прощайте, паны, братья, товарищи! Пусть же стоит на вечные времена православная Русская земля и будет ей вечная честь!» И зажмурил свои ослабшие очи, и вынеслась казацкая душа из сурового тела.

Могуч был казак Шило, да беспечен...

В дверь постучали. Вошел начальник студии с тремя солдатами-копиистами, возбужденный, сияющий глубоко запавшими глазами, и сказал с порога:

— Хватит переживать. Собирай диораму: повезем на выставку.

Петр растерянно смотрел на подполковника, не веря словам, а тот продолжал:

— Ну что, не понимаешь? Сейчас звонили мне. Выставком пересмотрел свое решение. Машкову спасибо скажи...

Но Петя уже не слушал его слов. С помощью солдат он тут же принялся разбирать диораму.

Для полотен бригады Пчелкина на выставке был отведен один из просторных светлых залов. В центре всю стену висела картина, созданная коллективно. Продольные стены занимали персональные работы участников бригады. Здесь была и большая картина Бориса Юлина, та самая, которую Владимир раскритиковал позапрошлым летом на даче. Тогда она называлась «Рабочий день окончен», теперь к золоченой раме была прикреплена другая этикетка: «Юлин Б. М., рожд. 1919 г. Комсомольское звено». А рядом — «Натюрморт» и «Цветы» того же Юлина. На той же стене висела небольшая картина Павла Окунева «Маяковский в Америке», а на противоположной — картина Пчелкина «Горький на Волге» и три портрета: жены, тещи и студентки. По соседству с Пчелкиным пестрели небольшие, но необыкновенно яркие пейзажи Карена Вартамяна.

В другом светлом зале размещались акварели и сатирические рисунки Льва Барселонского, разрекламированные Ивановым-Петренкой и Винокуровым задолго до открытия выставки. Почти все стены были увешаны акварельными этюдами, портретами, цветами и натюрмортами. «Злые языки» твердили, что это совсем не новый, а самый что ни есть старый Барселон-

ский тех далеких лет, когда он жил в Испании и Франции. И только одна картина — «Мародеры» — была написана им в последние годы.

Картина Владимира Машкова и два его портрета выставлялись не вместе, как это принято, а почему-то в разных залах. Для диорамы Петра Еременки, с трудом принятой на выставку, места в Третьяковке так и не нашлось: ее выставили в филиале.

Вначале Еременко решил было вовсе не идти на вернисаж. Он так и сказал позвонившему ему Машкову:

— Не пойду. Нет настроения.

— Да ты с ума сошел! — воскликнул Владимир. — Представляешь, какое там будет сражение!

— Никакого сражения не будет, — вяло возразил Еременко. — Все пройдет тихо, гладко, как запланировали Осип Давыдович и Семен Семенович.

В Третьяковке Владимира, опоздавшего на открытие выставки, охватило сильное волнение. Должно быть, поэтому он отошел от своих работ подальше и смотрел картины рассеянно, прислушивался: а не заговорят ли о его «Приеме в партию», и невольно, быть может сам того не желая, искал глазами... Люсю. Народу было много, как обычно на всех наших выставках. Люди наступали друг другу на ноги, нечаянно сталкивались, смущенно извинялись.

Окунев, встретив Машкова, обрадовался:

— Ну, брат, Володя, поздравляю!

— Это с чем же? — Машков насторожился.

— Спрашиваешь! Твой «Прием в партию» всех затмил!

Владимир пристально осмотрел Павла с головы до ног и с ног до головы: шутит или говорит всерьез? В это время, энергично проталкиваясь сквозь толпу, подошли Еременко и Вартанян. Оба с сияющими лицами. Петр отыскал в толпе руку Владимира и, сжимая ее обеими руками, заговорил:

— От всей души, Володька! От твоей картины здесь светло! И тебя, Паша, поздравляю с «Маяковским». — И без перехода: — Видели, Юлин своих ин-ституток выставил с граблями?

— Пойдемте посмотрим, — предложил Карен. — Там есть смазливые барышни...

— Да ты что, смеешься? Лубочные девы! Розовощекие, синеногие, поналяпано, понамазано! — Петр говорил громко, не смущаясь тем, что к его словам прислушивается с десяток посетителей.

Они подошли ближе к картине Бориса и увидели тут Пчелкина и Винокурова. Критик протягивал руки к картине, будто хотел куда-то увлечь своего собеседника, и что-то доказывал быстро, вполголоса. Одна фраза прозвучала отчетливо:

— Все хорошо, свежо, только здесь солнечный луч застыл, он не живет, не играет.

— Критикует? Странно, — вслух удивился Владимир.

— Не беспокойся, свой своему на мозоль не наступит, — тихо сказал Еременко.

Пчелкин повернулся и, увидев Владимира, обрадованно бросился к нему, стал искренне поздравлять.

— Заходи ко мне, не исчезай! — сказал в заключение Николай Николаевич Владимиру и растаял в толпе.

А с другой стороны слышался чей-то низкий бас:

— Удивительные краски... Да такой травы на земле нет. Может, где-нибудь на другой планете, а за землю ручаюсь — всю изъездил!

— Освещение неэффектное, — возражал басу жиденький голосок.

— Как вам нравится? — Карен указал приятелям на картину Пчелкина «Горький на Волге».

— Есть что-то юлинское, — беспощадно сказал Павел.

Владимир нашел, что сказано метко. Бывший по близости Пчелкин слышал, конечно, эти слова и тотчас же удалился. Владимир успел заметить, что те, кто благосклонно отзывались о «Комсомольском звене» Юлина, хвалили и «Горького на Волге» Пчелкина, а те, которые недовольно морщились от картины Юлина, с недоумением смотрели и на картину Пчелкина.

— В свое время я говорил Юлину... — начал было Владимир.

— И я ему говорил, — вставил Еременко.

— Бесплезно, — заключил Карен. — Ему говорить — все равно, что коран читать.

В этот момент снова мелькнул по близости Пчелкин. Наверно, он принял и эту фразу на свой счет.

Большое патетическое полотно, написанное бригадой Пчелкина, вызывало должное одобрение критиков. Вокруг соседних работ шли споры, сыпались остроты и язвительные замечания. Спорили о пейзажах Вартаняна, о его необычно ярком, солнечном колорите, спорили о «Маяковском» Окунева, восхищались картиной Машкова. А чей-то монотонный голос философствовал:

— Вот наглядный результат мести искусства живописцу, который пытается слепо идти за литературой, заимствовать и копировать ее темы, идеи и сюжеты. Короче говоря — иллюстрировать. У живописи свои законы, свои рамки и свои возможности. А молодой художник. — Ах, это же говорит Семен Семенович! Вот он нагнулся, чтобы взглянуть на этикетку, и продолжал: — П. Окунев не хочет этого понять. Картины не получились, потому что тема и сюжет не для живописи.

Бритоголовый человек в мятом, хотя и дорогом костюме поддержал критика:

— Этот Маяковский — просто выдумка. Здесь нет даже приблизительного портретного сходства с живым Владим Владимычем!

— Говоря о сходстве, не слишком ли вы много на себя берете? — возразил Машков.

— Представьте себе — нет! — Самоуверенная улыбочка скривила тонкие губы бритоголового. — Мы, друзья и соратники Владим Владимыча, знали его не таким.

— Слышали? Соратник Маяковского объявился! — сказал кто-то из толпы вполголоса не то с иронией, не то с удивлением.

Эта неожиданная реплика побудила Владимира еще на одно замечание:

— Теперь у Маяковского много соратников и друзей объявляется. Одни кормятся его именем, примазываясь к его славе, другие наживают себе литературный капитал на «защите» Маяковского от мнимых противников... А где вы, соратники, были в ту пору, когда «банда поэтических рвачей и выжиг» травил поэта?

— Небось подсюсюкивали Авербаху, — добавил Павел Окунев.

Винокуров залился багрянцем, тряхнул то-петушиному головой:

— Ну, знаете ли, молодой человек!..

Новые работы Барселонского вызывали недоумение. Зрители спрашивали друг друга: «Неужели это писал один и тот же человек?» Это же недоумение выразил вслух и Владимир:

— Не понимаю, где настоящий и где случайный Барселонский

— Нельзя судить так прямолинейно,— сказал Павел.— Это, брат, не мы с тобой, это человек сложный..

Еременко насмешливо сверкнул глазами:

— Сумбурное и манерное еще не значит сложное. И потом, как можно выставять все без разбора: и хорошее и плохое?

— А что поделаешь, если хорошего слишком мало? — раздумчиво проговорил Карен.

Ему не ответили. Еременко улыбнулся с лукавой иронией, словно кого-то дразнил. Окунев смотрел на картины поверхностно, с безразличным видом, занятый своими мыслями. Владимир молча стоял у картины «Мародеры».

На картине — небольшой городок после недавнего боя. Дымятся развалины. На улице — подбитый танк, трупы людей. На ступеньках полуразрушенного дома фашистские солдаты делят «трофеи», снятые с убитых: часы, сапоги, похищенные домашние вещи, среди которых — детская кукла...

— Страшная картина! — заключил Карен.

— А бьет мимо цели,— добавил Петр.— Смотреть ее нельзя. Вместо ненависти она вызывает чувство безразличности.

— Типы мародеров слишком окарикатурены,— заметил Павел.— А помните, что-то подобное есть, кажется, у Верещагина?

— Ну как же, в Киевском музее! Так и называется: «Мародеры»,— подсказал Петр.— Но там на поле боя турки обирают трупы русских воинов. И как написано! Там мародеры внешне, как люди, без малейшего намека на карикатуру. Один делают хладнокровно свое обычное гнусное дело.

— Значит, эти «Мародеры» неоригинальны,— заметил Карен и спросил: — Ну, а что же у Барселонского нового, своего?

— А этого тебе мало? — Владимир с усмешкой по-

казал на пестрые пейзажи, акварельные портреты каких-то хлыщей и модниц, зеленоволосых, фиолетовоносых и оранжевощеких.— Было бы лучше, если бы Лев Барселонский остался художником одной хорошей картины — «Счастье Марии Ткаченко», — которой здесь нет.

Две пожилые дамы обернулись в его сторону с презрением. Они как раз восхищались зеленоволосыми и оранжевощекиими портретами. Окунев посоветовал Еременке:

— Говори, Петя, потише, не накликай гнев поклонниц, которые без ума от этих дырявых сараев, поваленных заборов и грязных луж.

— Вы что, серьезно? — спросил вдруг откуда-то появившийся Борис.— Изумительные полотна! Да кто ныне у нас так пишет? Чудесные пейзажи!

Пейзажей было хоть отбавляй, в разных вариантах: «После дождя», «Перед дождем», «Дождь прошел», «Утро», «Вечер», «Полдень».

— Попробуй докажи, что это утро, а не вечер, — заметил Машков, но Карен возразил ему:

— Ты слишком уж строг, Володя. Написано недурно, старик умеет... А что утро от вечера не отличишь, так ведь и у других...

Еременко перебил его:

— Поленовские пейзажи, например, вовсе не нуждаются в этикетках, а тут докажи, что это утро или полдень. И вообще, кому нужно такое искусство? Вон тем снобам?

Вокруг приятелей собралась порядочная толпа зрителей. Вдруг один из них, пробравшись поближе к Еременке, спросил:

— А, собственно, какое вы имеете право выступать от имени народа? Кто вас уполномочил?

Это был поэт Ефим Яковлев, завсегдатай «салона» Осипа Давыдовича Иванова-Петренки.

— А разве он выступает? — вмешался Окунев.— Он просто вслух говорит свое мнение. Вам обидно, что товарищ не разделяет ваших восторгов? — И повернулся к Яковлеву своей широкой спиной.

В толпе начинали гудеть: «Это безобразие!», «Хулиганство!»

А Лев Барселонский, торжественно-величавый, ус-

талый, с воспаленными глазами и преувеличенным равнодушием на лице, стоял поблизости, беседовал с одним из своих приятелей и делал вид, что не слышит своих худителей. Борис Юлин, косясь в сторону Барселонского, сказал друзьям:

— Нельзя ли потише... Лев Михайлович все слышит!

— Пусть! — возразил Владимир. — Тем лучше для него. А я не собираюсь ни от кого скрывать своих мнений. О любви и неприязни я прямо говорю.

— И давно ты таким стал? — Борис с вызывающей улыбкой наступал на Машкова.

— Представь себе, в этом году.

— Свои симпатии и антипатии вы можете высказывать дома, а здесь они никого не интересуют, — снова вмешался в разговор Ефим Яковлев.

— Вас-то, выходит, очень даже интересуют, — ответил Владимир.

Поблизости оказался академик Камышев.

— Здравствуйте, Михаил Герасимович! — кинулся к нему Юлин — Вы, должно быть, слышали наш спор, рассудите, скажите свое мнение о новых работах почтенного Льва Михайловича.

— А зачем вам мое? Надо свое иметь! А что касается спора, то я голосую за спор. Мы очень мало спорим и еще меньше критикуем друг друга. — Старик встряхнул пышной, хорошо сохранившейся к семидесяти годам шевелюрой и, заметив Владимира, сказал в его сторону:

— Вот он замечательную картину из деревни привез. Прямо-таки кусок сегодняшней жизни. Надо выходить из мастерских на волю, на простор. Тогда меньше будет худосочных, парниковых выдумок.

Сказав это, Камышев красноречиво провел глазами по работам Барселонского и двинулся в следующий зал. Юлин поспешил за академиком.

Карен покачал головой, приговаривая:

— Видали, Борька-то петушком, петушком...

— Подлизывается. На это он мастер, — сказал Павел.

А Барселонский щедро раздаривал направо и налево поклоны и покровительственные улыбки. Владимир нашел, что с его лица исчезла деланная усталость,

в глазах блеснули холодные и недоверчивые огоньки. Он, должно быть, понимал, что ожидаемого триумфа не получилось, но не хотел подавать вида, принимая как должное дежурные комплименты знакомых художников, литераторов и артистов. Владимира удивляло, как этот желчный, раздражительный старик может так спокойно и весело держать себя, когда всем ясно, что работы его не нравятся публике.

— Великий артист, этот Лев,— сказал он Окуневу. Павел не понял его слов и возразил:

— Ничего тут ни артистического, ни нового. Просто изнанка модернизма.

Еременко добавил:

— Гвоздь выставки оказался ржавым.

Ни смотреть на «шедевры» Барселонского, ни, тем более, говорить о них больше не хотелось, и друзья гурьбой перешли в другой зал.

К картине Машкова нельзя было протолкаться. Ее хвалили. Владимиру запомнилась фраза художавого человека в очках с золотой оправой. Он внушительно говорил пожилой полной женщине:

— На этом полотне — печать глубокой мысли и большой любви к человеку.

— А что, верно ведь? — согласился Петр.

Но тотчас же они услышали совершенно другое:

— Слабовата по живописи. Однотонна. Желтизины много..

И в другой стороне голос:

— Главный герой — на втором плане, это нехорошо...

Еременко не выдержал:

— Ерунда какая! У Иванова Христос на пятом плане, но все взоры обращены к нему.

На громкий негодующий голос Еременки обернулся человек, хуливший картину «Прием в партию». Лицо его ничего не выражало: глубоко вставленные маленькие мутные глаза, серые, помятые щеки, жиденькие черные брови... Разве только о пестрый галстук мог споткнуться взгляд. Взглянув на него, Еременко процедил:

— Вот такие часто и навязывают свои мнения художествам.

Пошли дальше.



Владимир остался. Ему хотелось послушать мнение зрителей.

— Уже все ясно: успех полный,— убеждал Петр.

— Что ты! — воскликнул Владимир.— Не слыхал разве?

— Пустяки,— уверил Еременко.— Подумаешь, какой-то плюгавый критикан сболтнул сам не зная что!

Но Машков не был склонен пренебрегать критическими замечаниями.

— Вспомни,— попросил он Еременку,— как Гоголь относился к критическим замечаниям людей враждебных. То, чего не заметит благосклонный глаз друга, то не пропустит озлобленный, пристрастный глаз недруга.

— Умная мысль,— поддержал Карен.

— А Пчелкин поступил несерьезно,— вдруг сказал Павел — Зачем выставил «Горького на Волге»? Ведь говорили ему, что вещь не доработана. Прямо носом ткнули в недостатки. Тут уж действуй по пословице: «Коль двое говорят, что ты пьян,— ложись спать».

— Наверно, доводы Винокурова оказались сильнее наших,— сказал Еременко со злостью.— А может, это вызов? Своего рода программа? — вопросительно посмотрел он на товарищей

Ему не ответили.

Легкий на помине появился Пчелкин. Обращаясь к Владимиру, сказал по-отечески наставительно:

— Смотри не зазнайся!

Владимир спросил его:

— А как тебе нравится Барселонский?

Николай Николаевич, щурясь, оглядел стены, сказал неопределенно:

— Что ж, в них (имелись в виду акварели) что-то есть... Во всяком случае для Барселонского это необычно.

— Но тебе-то нравится? — настойчиво допрашивал Владимир.

— Видишь ли, «нравится» — это дело вкуса, а о вкусах, как ты знаешь, не спорят.— И дружески улыбнулся.

— Это кто сказал, что о вкусах не спорят? — спросил Еременко.

— Французы,— ответил Пчелкин.

— Вот именно,— заметил Машков,— потому-то они первыми и начали губить искусство.

— Нет, дорогой Николай Николаевич, будем спорить,— уже серьезно заговорил Еременко.— Будем отстаивать здоровый вкус и здоровое искусство. Будем за него драться

К друзьям подошел опять Борис Юлин. Он снисходительно кивнул на портрет колхозника Вишнякова, написанный Машковым.

— Хорош старик, с характером! — И тут же, без перехода: — Ну, а как мои девки после доработки?

За всех ответил Вартанян:

— Да, собственно, ты их только переобул, а в остальном ..

По лицам приятелей Борис понял, что картина им не нравится, но не смутился и заговорил бойко и самоуверенно:

— Винокуров упрекает меня за то, что нравится Иванову-Петренке. Не поймешь, кому верить. Лучше, кажется, только себе. Впрочем, Михаил Герасимович Камышев находит, что в моей картине есть что-то общее с Пчелкиным

— Да это и все находят,— в тон сказал Окунев. По его голосу трудно было определить отношение к картине, но Борис и не очень-то дорожил мнением Павла Еременко добавил к словам Павла:

— Все находят, а Пчелкин отрицает. Ничего, говорит, похожего...

Юлин сделал обиженное лицо и отвернулся от друзей, разыскивая глазами Люсю.

Лебедева пришла на выставку вместе с Борисом и была свидетелем успеха картины Владимира. В душе она радовалась и по-хорошему завидовала ему. Держалась одна, в сторонке: так лучше было наблюдать за Владимиром. Улучив минуту, когда он остался один, она подошла, поблагодарила за подарок, поздравила с успехом картины. В темных ее глазах — молящее ожидание и тихий укор. Они не виделись очень давно.

— Ваш подарок для меня — самая дорогая картина в мире...

Ему было приятно слышать эти слова, но он с тревогой и волнением ждал слов других. Не дождавшись, спросил:

— Когда же свадьба?

Она не боялась такого вопроса, ждала его и все-таки, когда он спросил, вспыхнула.

— Не знаю... Может быть, никогда...— И осеклась: к ним сквозь толпу пробирался Борис.

Увидав его, Владимир поспешно простился и отошел.

Утром на третий день после открытия выставки Владимиру позвонил Павел Окунев.

— Читал сегодня «Советское искусство?» — спросил он загадочно.

— Нет, а что? — с неосознанным беспокойством спросил Владимир. Потом вспомнил про статью, которую написал совместно с Петром для этой газеты, и улыбнулся: «Напечатали!» Но почему же так угрюмо говорит Павел:

— Прочти. Непонятные вещи творятся на белом свете. — И положил трубку.

Владимир босиком побежал на лестничную площадку к почтовому ящику, дрожащими пальцами извлек газету и, не утерпев, тут же развернул ее. Гм... огромная статья Семена Винокурова о выставке. Вернулся в комнату и с ходу стал читать.

Так, так: акварели Барселонского, живопись Пчелкина и Юлина открывают новую страницу в развитии советского изобразительного искусства. Богатство красок... трепет березовой листвы... необычайная экспрессия... Так, так... «А мы-то по своей темноте и неопытности принимали изысканную пестроту этой живописи за манерность, за кривляние, за желание во что бы то ни стало пооригинальничать, — думал Владимир, читая статью. — Акварели Барселонского мы считали заумной мазней, а это, оказывается, всамделишные шедевры, новое слово в советской живописи.. Картину Бориса Юлина считали подражанием ремесленника, а это, оказывается, «талантливое отображение социалистической действительности»! Ну и ну, черт возьми!»

Чертыхаясь и отплевываясь, Владимир продолжал читать, перескакивая через пустопорожние строчки. Ага, вот, кажется, и про формализм... Вартанян! Вартанян зачислен в формалисты! Вот, оказывается, кто

наш враг! По мнению критика, Вартанян пишет слишком яркими, слишком светлыми красками...

В большой статье, претендующей на обзор выставки, не было ни слова о «Приеме в партию». Как будто такой картины и не было.

Владимир растерялся. Этого он не ожидал. Ну, пусть бы разругали, указали на промахи (наверное, есть и промахи!) — что угодно, только не молчание! «Впрочем, — вспомнил он умные слова, — умолчание тоже своеобразный вид критики».

Статья Винокурова вызвала бурную реакцию среди читателей, побывавших на выставке. В течение всего дня в редакцию звонили художники, студенты, служащие, инженеры. У всех был один и тот же недоуменный вопрос:

— Почему в газете ничего нет о картине «Прием в партию»?

Из редакции сначала отмахивались: «Критик не нашел нужным...» Но такие ответы вызывали еще большее возмущение.

— Что значит «не нашел нужным»? — гремел по телефону басовитый голос. — По-вашему, газета — частный орган вашего критика?!

К вечеру в редакции началось смятение. Редактор понял, что допущена ошибка, которую нужно исправлять. Выругав читателей, которые вмешиваются «не в свое дело», а заодно и своих сотрудников, которые доставляют столько хлопот редактору, он пригласил к себе в кабинет автора злополучной статьи, Винокурова:

— Ну что вам стоило? Упомянули бы между прочим, и никаких бы хлопот... А то еще и в ЦК партии напишут...

Семен Семенович рассыпался мелким смешком, потом заговорил. Во-первых, он не ставил своей целью разбирать каждую картину, он лишь коснулся основных проблем советского изобразительного искусства; во-вторых, картина Машкова выпадала из плана статьи; в-третьих, она — весьма среднее произведение; в-четвертых, звонки в редакцию — обычное явление, и нечего на них обращать внимание. Если бы каждый мог верно ценить произведения искусства, тогда бы не было искусствоведов!

В другое время такая блестящая речь, несомненно, подействовала бы на редактора, но сейчас он был так напуган многочисленными звонками читателей, что аргументация критика не произвела на него никакого впечатления. В кабинет вошла секретарша и доложила, что свидания с редактором добывается какой-то председатель колхоза.

Редактор удивился и переспросил:

— Председатель колхоза? Вы уточните, может, он не в ту редакцию попал. Ему, наверно, нужна редакция газеты «Сельское хозяйство».

Секретарша пожала плечами и ответила, что председатель толкует что-то о картине Машкова.

— Опять Машков! — Редактор откинулся на спинку кресла и с немым укором посмотрел на знаменитого критика. — Скажите этому товарищу, — обернулся он к секретарше, — что это ошибка и мы исправим ее. А я сейчас занят и принять не могу. Никого не принимаю, — поправился он на всякий случай.

Секретарша вышла, но не успела захлопнуть дверь, как в нее вошел коренастый, плотный мужчина средних лет, интеллигентного вида.

— Председатель колхоза «Застрельщик» Слепцов! — громко, по-военному, отрекомендовался он и пошел к столу редактора. Тому ничего не оставалось, как привстать и протянуть руку со словами:

— Рад, очень рад... Присаживайтесь,

— Присаживаться некогда, товарищ редактор, — пробасил вошедший. — Я вот статью написал о картине Машкова «Прием в партию»...

— Вы знаете Машкова? — нетерпеливо перебил его Винокуров.

— Не имею счастья, — спокойно ответил Слепцов, не взглянув на критика. Он наблюдал теперь за выражением лица редактора, который пробегал глазами его рукопись.

— Вам нравится эта картина? — спросил редактор.

— Отличная вещь! Хотелось бы поскорей получить с нее репродукцию для клуба. — Говоря это, Слепцов с сожалением обвел взглядом голые стены редакторского кабинета.

Дочитав статью (она была невелика) редактор посветлел лицом и сказал:

— Мы напечатаем вашу корреспонденцию.

И в самом деле напечатал на другой же день. Так была исправлена ошибка

Владимир и его друзья спрашивали друг друга:

— Ты не знаешь этого Слепцова? — и пожимали плечами.

Машков почему-то представлял этого Слепцова похожим на Аркадия Волгина.

Серым ветреным днем на широкой Самотечной площади, недалеко от здания, в котором помещалась редакция «Советского искусства», критик Винокуров встретился с художником Пчелкиным. Николай Николаевич хотел уклониться от этой встречи, но было поздно.

— Добрый день, Николай Николаевич! — еще издали закричал Семен Семенович, оскаливая в улыбке желтые зубы — Помните, я вам говорил, что Машков и Еременко — люди непорядочные, помните? Так вот, они написали препохабную статью и об акварелях Барселонского, и о вашей картине «Горький на Волге». Безграмотная галиматья! — Он ждал, что Пчелкин рассвирепеет, но этого не произошло.

— Видите ли, Семен Семенович, — начал Николай Николаевич, приняв позу беспристрастного человека, — они, пожалуй, отчасти правы. Я много думал над этой своей картиной и пришел к заключению, что поторопился ее выставить. Мне и прежде некоторые говорили... Есть в ней места уязвимые...

Винокуров замахал руками:

— Что вы, Николай Николаевич, опомнитесь! Картина превосходная! Все о ней только и говорят. Люди, которые понимают подлинное искусство, по достоинству ценят ее. Мальчишеские выходки нигилистов и невежд не дают вам оснований для подобного самобичевания. Статью, по моему настоянию, редакция вернула авторам...

Пчелкин обрадовался, но виду не подал.

— Пожалуй, напрасно... Надо было напечатать. Ну хотя бы в порядке дискуссии. — Он знал: уже если статья возвращена, значит, она не будет напечатана.

Винокуров понял этот ход неблагодарного художника и разозлился. Но ему было некстати выказывать это, и он с серьезным видом стал убеждать:

— Нельзя, Николай Николаевич, допускать, чтобы

под видом дискуссии разные шарлатаны шельмовали больших мастеров искусства. Нет-нет, мы этого не позволим!

— Машков — талантливый живописец, а не шарлатан, прошу запомнить это, Семен Семенович!

Такой дерзости Винокуров не ожидал от тихого, «обтекаемого» Николая Николаевича и потому решил наказать его:

— Если вы настаиваете, — со слащавой любезностью заговорил он, — мы можем напечатать эту статью. Ее, кажется, еще не отправили авторам...

У Пчелкина вытянулось лицо, в глазах промелькнуло опасение.

— Или, может быть, все же вернуть статью? — все с той же напускной любезностью спросил Винокуров. — Кстати, завтра в «Литгазете», как я слышал, будет напечатана статья Осипа Давыдовича о выставке с двумя репродукциями: с вашей картины и с портрета работы Барселонского. Помните портрет писателя Александра Сливина?

Пчелкин с благодарностью пожал руку критика и ничего не сказал.

У Камышева, кроме большой просторной мастерской в его собственном домике на окраине Москвы, была совсем маленькая мастерская, двенадцатиметровая квадратная комната, на улице Горького недалеко от Моссовета. Уютно обставленная, достаточно светлая и тихая — последний, восьмой, этаж, — она служила для художника отличным убежищем от мирской суеты. Здесь Михаил Герасимович делал наброски карандашом, искал интересные композиции, писал этюды, обдумывал сюжеты будущих картин, работал над статьями и дневником — в печати он выступал довольно часто, — читал книги и журналы, а то просто, лежа на удобном широком диване и полузакрыв усталые глаза, думал. Здесь ничто его не тревожило и не отвлекало. Здесь не было телефона, и никто, кроме домашних да двух-трех самых близких художников, не знал о существовании убежища художника.

Вернувшись в Москву из недолгой поездки, в день открытия выставки, — старик любил выезжать из сто-

лицы не только на этюды и в республиканские союзы художников по служебным делам, а просто так, в колхоз, к своим землякам, которые много лет подряд избирали его депутатом Верховного Совета,— и, пройдясь по залам Третьяковской галереи, Михаил Герасимович понял, что выставком, отбирая работы художников, часто проявлял эстетские тенденции. Ну если не весь выставком, то добрая половина его членов. Для Камышева это не было ни новым, ни неожиданным: он наизусть знал весь большой список выставкома, знал, кто чем дышит и в какую сторону тянет. Он только не предполагал, что Барселонский и его друзья будут действовать так грубо и с вызовом, как они поступили в отношении Еременки и его диорамы. Случай с Еременкой был не единственным. Об этом Камышеву рассказал инструктор ЦК Козлов. Вдвоем они пешком возвращались из Третьяковской галереи и делились впечатлениями от выставки.

— Посмотрим, что скажет печать, — вслух рассуждал Козлов.

— Печать скажет то, что думает Барселонский, — отвечал Камышев.

Козлов попробовал усмехнуться, но это была горькая усмешка: он ведь отлично понимал, что Камышев говорит неприятную истину. Сам он был на стороне Михаила Герасимовича, который с присущей ему резкостью и прямоотой говорил:

Пора понять, что формализм, эстетство, которое проповедуют и насаждают эти люди, могут завести наше искусство в тупик, после которого лет тридцать не сможет появиться ни новый Пушкин, ни Репин, ни Чайковский. Настало время одернуть их, показать, чего они хотят и что делают.

— А почему бы вам это не сделать? — деликатно заметил Козлов.

— Мне? Я частное лицо.

— Ого! Как это раньше говорили: кустарь-одиночка, — добродушно рассмеялся Козлов. И потом уже совсем серьезно: — Вы — коммунист, Михаил Герасимович, и к тому же большой художник. Кому, как не вам, серьезно поговорить о судьбе нашего искусства?

— Где поговорить, с кем? — Камышев резко остановился.



— Ну, скажем, на страницах «Правды».

— Критиковать Барселонского и Иванова-Петренку в «Правде»? Варягов не позволит, — решительно отрезал Камышев

— Вы в этом неправы. Варягов, между нами говоря, никакого влияния на «Правду» не имеет. Он, конечно, в дружбе с Барселонским, это всем известно, но я не думаю, чтобы личные отношения товарищ Варягов ставил выше партийных принципов.

О Варягове Козлов говорил довольно деликатно, хотя иногда и недоумевал по поводу того, что Варягов покровительствовал доморощенным эстетам и формалистам. Он заигрывал с Барселонским и Ивановым-Петренкой, хотя всячески избегал это афишировать. Он даже — бывали случаи — резко критиковал зарубежных эстетов, формалистов, космополитов и прочих апологетов буржуазного искусства, призывал с ними бороться и, где нужно было, выдавал Барселонского, Иванова-Петренку и Винокурова за самоотверженных борцов фронта социалистического реализма.

Расставшись с Козловым, Михаил Герасимович пошел в свою комнатуху на улицу Горького и сразу же сел за статью. Он был очень возбужден и взволнован и самой выставкой, и разговорами вокруг нее. Через три дня он отвез статью в «Правду», и с тех пор жил ожиданием. Статья получилась очень резкой и злой, он это знал. Но иначе разговаривать Камышев не мог, потому что вылазки врагов социалистического реализма в искусстве слишком волновали старого художника.

Михаил Герасимович лежал в своей комнате и читал книжонку, изданную в конце двадцатых годов нашего века: это был сборник автобиографий видных в то время советских художников. Была там и автобиография тогда еще молодого, самонадеянного и анархистствующего Льва Барселонского. В развязной манере человека, лишённого скромности, Лев Барселонский, кокетничая и рисуясь, писал о себе:

«Отец мой — честный коммерсант — был далек от всякой политики, жандармов и пьяных мужиков, которых одинаково не любил и побаивался, но умел с ними ладить. Революцию он встретил настороженно: не было бы хуже... Мне же революция ничем не грозила: бунтарский

дух ее мне imponировал, и я сказал: принимаю! Записался добровольцем в продотряд, дали паек: не жирно, но сносно. Вступать в партию отказался: считал это покушением на мою свободу. Чем отличаются большевики от меньшевиков, так и не понял. Впрочем, это не имело для моего творчества никакого значения. Был агитатором и пропагандистом: рисовал плакаты и выступал на собраниях и митингах. Говорил всякий вздор, упражняясь в красноречии. Ничего, слушали. Однажды согнали с трибуны, пристегнули ярлык «контры» и посадили в каталажку. Было холодно, хотелось есть. Я даже плакал в ожидании расстрела. Но меня не расстреляли, следователем оказался анархист — выпустил на все четыре. С тех пор ненавижу любые ярлыки. Второй раз сидел за укрытие «контры» в собственной квартире: «контрой» оказался мой университетский друг, сдуру примкнувший к эсерам. При его аресте нашли револьвер и две бомбы: чужак считал, что революция продолжается. Был я и у Махно — не выдержал экзамена православной молитвы, избили до потери сознания и обещали распять. Я знал, что они это сделают, и бежал в Румынию.. В искусстве люблю прежде всего фантазию. Все великие были смелыми и дерзкими: они прислушивались только к голосу своего сердца. Мнения толпы и авторитетов для них не существовало, наивысшим авторитетом считалось собственное мнение. Потому они были великими...»

Вся автобиография была написана в таком же духе. Книжица эта, изданная тиражом в двести пятьдесят экземпляров, давно стала библиографической редкостью. Ходили слухи, что друзья Барселонского охотились за ней, скупали по баснословной цене. Михаил Герасимович отлично понимал смысл этой охоты: боялись, что народ узнает подлинного Барселонского. И тогда уж сколько ему почетных титулов и званий ни давай, сколько ни прославляй, а народ не переубедишь. Впрочем, и без того простые люди недолюбливали Льва Барселонского, точно в чем-то подозревали его...

Чтение книжки прервал стук в дверь, не очень решительный, вкрадчивый, заискивающий. Камышев решил было не открывать, но стук повторился, более настойчивый..

Михаил Герасимович отложил книгу и с любопытством открыл дверь.

— А-а, Николай Николаевич! Заходи. А я думал, кто это ко мне ломится?

— Простите, что потревожил ваш покой, — пропел Пчелкин, галантно протягивая пухленькую руку.

— Ну что ж, милый, с выставкой-то получилось? — с ходу начал Камышев. — Дерьма сколько набрали.

— Это неизбежно, дорогой Михаил Герасимович... А как ваше здоровье, как съездилось?

— Да спасибо, милый, здоровья на наш век хватит, а больше мне и не надо.

— Да, завидую вам, крепко вы с матерью землею связаны, — польстил Пчелкин.

— А кто тебе не дает связаться?

— Дела, Михаил Герасимович, суета заела, черти б ее побрали. А так хочется забраться в родную деревню, побродить по полям, по знакомым местам, детство вспомнить, березки наши, русские, соловьиные ночи, костры, весенний ледоход.

Сели. «Пришел о чем-то просить», — решил Камышев, прислушиваясь к сладенькому голосу Николая Николаевича. А тот не очень спешил приступать к делу — строя блаженные глазки, осматривал комнату и приговаривал:

— Хорошо здесь у вас, уютно. — И сразу переход: — А в печати, между прочим, выставку хвалят, и также за разнообразие стилей.

— Сами себя хвалят, — Камышев недовольно поморщился. — Разнообразие стилей! Что, по-твоему, Барселонский и этот ваш Юлин, по-твоему, это стиль? Открытие в искусстве?

— Это их стиль, — подсказал Николай Николаевич. — Иначе они не могут, каждому свое.

— Вот-вот, каждый сверчок знай свой шесток. А некоторые не хотят и на чужие шестки лезут. Вот в чем беда...

Камышев хитрыми, прищуренными глазами уставился на Пчелкина. Николай Николаевич не принял его взгляда, ответил:

— Дело не в этом. Я лично, да и не только я один, не вижу оснований ссориться вам с Барселонским и Ивановым-Петренкой. Время не подходящее.

— Потом будет поздно. Сейчас самое время. — В го-

лосе Камышева звучала настойчивая уверенность. — Да, будет поздно, — повторил он.

— Наши внутренние распри будут подхвачены нашими недругами за рубежом и использованы против нас же. — И для большей убедительности Николай Николаевич сообщил: — Я вот на днях с одним ответственным товарищем разговаривал: в верхах не одобряют нашу междоусобицу. Особенно когда ее выносят на страницы печати, так сказать, предают широкой огласке.

«Ах, вот ты куда гнешь, любезный Николай Николаевич. Ну-ну, открывай карты до конца, не хитри и не темни, все равно все ясно». И словно прочитав эти мысли в смеющихся глазах Камышева, Пчелкин раскрылся:

— Я слышал, вы написали для «Правды» очень резкую статью?

— Об этом тебе сказал тот же ответственный товарищ?

— Это не имеет значения. Во всяком случае вряд ли будет она полезна в настоящий момент, скорее — повредит.

— Это твое личное мнение или мнение все того же ответственного товарища?

Камышев-то отлично знал, что о статье Пчелкину сообщила его жена, Линочка, которой сказал Иванов-Петренко со слов Барселонского. Лев Михайлович узнал о ней от самого Варягова. Все шло по цепочке, которая никогда не обрывалась.

Пчелкин добродушно улыбнулся, потом, сделав лицо серьезным, заговорил:

— Дорогой Михаил Герасимович, то, что вы не просто старейший русский художник, а один из крупнейших художников-реалистов, то, что вас любит народ и к вашему голосу прислушиваются, — все это привело меня к вам сюда для откровенного разговора. Я думаю, нет нужды лишний раз повторять, что мы все любим вас, верим вам и это обязывает нас оберегать вас от возможных ошибок или заблуждений. Я буду говорить с вами, как коммунист с коммунистом — честно и прямо. Я читал вашу статью, которая сейчас лежит в «Правде». Будет она опубликована или нет — от вас зависит. Но мне кажется, она повредит и вам лично, и всему нашему искусству. И это не только мое мнение.

— Если статья вредная, пусть не печатают. Вот и все,— сказал Камышев.

— Мне очень жаль, что вы не хотите меня понять, очень жаль.

Лицо Пчелкина стало сострадательным. Камышев наблюдал за ним внимательно, пытаясь разгадать: искренне говорит или играет. Но так и не понял, спросил:

— Скажи, Николай Николаевич, ты искренне считаешь Барселонского хорошим художником и порядочным человеком?

— Он неплохой общественный деятель,— уклончиво ответил Пчелкин.— Мне нравится его принципиальность и твердость,— сказал Пчелкин.— Мне чужды его взгляды на искусство, но он их не скрывает, как некоторые.

Камышев открыл книжицу с автобиографией Барселонского и подал ее Пчелкину:

— На, почитай.

Пчелкин читал сначала молча, про себя, потом уже не мог, начал читать вслух, то и дело бросая на Камышева удивленный взгляд. Он был ошарашен, встретившись с нагим Барселонским. Он прищмокивал от неожиданности языком, качал головой, мычал, произнося какие-то невнятные звуки. Наконец сказал:

— Вот подлец! Я так и думал, что он такой.

И это прозвучало очень искренне. А Камышев спросил:

— Так ты все-таки советуешь забрать статью?

— Ну их всех к черту, Михаил Герасимович! — Пчелкин замотал головой и резко махнул рукой, словно хотел поставить крест на всем, о чем только что говорил.

— А Варягову ты все-таки передай мое мнение о нем. Карьера его непрочна. И как видишь, я его нисколько не боюсь.

Николай Николаевич ничего на это не сказал и поспешил уйти.

Никогда еще за всю свою жизнь, включая самые мрачные военные годы, Владимир Машков не находился в таком угнетенном состоянии духа, как в эти короткие декабрьские дни художественной выставки. Говорят, что две беды, свалившиеся сразу, переносятся легче одной.

Владимир не мог с этим согласиться. Помолвка Люси и статьи с восторгами в адрес художников-формалистов печалили и возмущали Владимира.

Статью его из «Советской культуры» вернули с формальной отпиской. Что он еще мог предпринять?

Статья председателя колхоза Слепцова в сущности никаких практических последствий не имела. В некоторых газетах художественная выставка по-прежнему освещалась односторонне: всячески расхваливались работы формалистов и к ним примыкающих по тенденции, и брались под сомнение жанрово-тематические полотна, изображающие труд и быт советских людей. Барселонского именовали не иначе, как «патриархом» советской живописи, Бориса Юлина — «молодым, ярким дарованием». Картина и портреты Машкова по-прежнему замалчивались, о полотнах Окунова и Вартаняна писали иронически, а об авторах — что они «на ложном пути». Что это за путь и почему он ложный, никто не говорил. В небольшой «Заметке о батальной живописи» некоего Александра Каменева двумя фразами было сказано о Еременке, что он «трактует современную войну в духе обветшалых традиций Верещагина и Грекова»...

Машков много размышлял наедине с самим собой и впервые обнаружил в себе нежелание встречаться и делиться своими мыслями со знакомыми и друзьями. Надо было что-то придумать и уж потом идти к друзьям за советом. А ничего не придумывалось. Написать жалобу в ЦК партии? Но, во-первых, он не любил писать жалобы; во-вторых, почему ему должны верить больше, чем Винокурову и Иванову-Петренке? Ведь они тоже о советском искусстве хлопочут! Даже с натурализмом борются! А что выдают при этом черное за белое — попробуй докажи!

Однажды Владимир прямо спросил себя: «А может, я заблуждаюсь? Может, Иванов-Петренко и Винокуров правы? Может быть, мы расходимся с ними только во вкусах?» И снова начал анализировать то, за что ратовали, что отвергали его противники. «А народ? Народ, зрители ведь не принимают их мазню за искусство! Это же самый верный критерий!» Нет, он не ошибался.

Как-то утром, по обыкновению, до того как умыться, Владимир достал из почтового ящика «Правду» и стал ее просматривать. Мать заметила, как глаза сына стре-

мительно разгораются и густой румянец залил его осунувшееся лицо. «Наверно, напечатано какое-то важное сообщение», — с тревогой подумала мать. В ту пору люди все еще не отвыкли от тревог и опасностей. Но то была статья академика Камышева «Об эстетских тенденциях в изобразительном искусстве».

Через час с «Правдой» в руках Владимир сидел в мастерской Петра Еременки. Тот уже прочел статью. Говорили оба, почти не слушая друг друга.

— Теперь все понятно, — возбужденно говорил Владимир, — кто они такие и чего хотят. Старик сорвал с них маски радетелей советского искусства. Они хотят потихоньку вывести искусство из-под руководства партии и увести его в сторону от жизни, от борьбы за коммунизм, приспособить на потребу узкого круга гурманов. Любую нужную им дребедень они способны обставить такими словесными букетами, что неискушенный человек начинает сомневаться: «Может, я действительно в искусстве ничего не смыслю? Может, эта дрянь ~~вовсе~~ и не дрянь, а и есть подлинное искусство?»

— В том-то и дело! — перебил его Петр. — Иванов-Петренко, Винокуров и их последователи в совершенстве владеют искусством находить недостатки даже там, где их не было, и выявлять достоинства там, где их и быть не могло. В результате их дружных усилий подлинные таланты объявляются бездарностями, а бездарности — подлинными талантами.

В то же время статья Камышева вызвала переполох в «салоне» Осипа Давыдовича. Его фамилия и фамилия Семена Семеновича упоминались автором статьи в числе первых. Напуганный Осип Давыдович, сочувственно оглядывая своих паникующих коллег, подбадривал их и советовал:

— Надо признавать ошибки. И ждать. Без паники. Терпеливо, тихо переждать грозу.

— Вы думаете, это ненадолго? — со вздохом облегчения спросил Ефим Яковлев.

— Очередная кампания. Через год-два о ней забудут, — с убеждением ответил Осип Давыдович. — Мой двоюродный племянник служит врачом на крейсере. Он говорил, что у моряков есть такое профессиональное выражение: борьба за живучесть корабля. Мне оно сегодня дьявольски нравится: борьба за живучесть!

Его понимали, ему верили.

Осип Давыдович Иванов-Петренко, юрист по образованию, считался в определенных кругах самым крупным авторитетом в искусствоведении, хотя ни теории, ни истории искусства он в сущности не изучал. Главное качество его характера — апломб, но не грубый, а эрудированный, изощренный, тонкий. Написав несколько монографий о художниках — небольших книжонок, которые не отличались ни оригинальностью, ни глубиной мысли, — Осип Давыдович приобрел популярность в среде себе подобных и постепенно, хитростью и ловкостью, вошел в силу, стал «видным» искусствоведом. За кандидатской диссертацией последовала докторская на тему «Сезанн в свете новых материалов». Сведущие люди говорили, что существо этой диссертации составляли неизвестные материалы, случайно попавшие в руки ловкого дельца.

Своих читателей и слушателей Осип Давыдович сражал обычно бесспорными, умело подобранными цитатами и звучными иностранными словами. В мире искусства, как в столице, так и на периферии, у него были обширные связи. Чуть не каждый день ему звонили из Одессы, Ленинграда, Киева, Минска, Кишинева — спрашивали его советов, заказывали статьи и брошюры, приглашали прочитать лекцию, проконсультировать тот или иной научный труд. И он успевал все делать: писать, консультировать, читать лекции, рекомендовать в качестве авторов или сотрудников своих людей.

Винокуров — сын врача из приднестровского городка Овидиополя, по образованию педагог, но учителем никогда не работал: слишком тусклая для него профессия, а главное — не дает она простора для материальных комбинаций. Отец хотел его видеть журналистом, и Сема стал им — сначала в районной газете, а потом благодаря протекции маминого родственника, репортера «Крестьянской газеты», перекочевал в столицу. Отец при расставании напутствовал: «Не теряйся, чувствуй себя умнее всех». Эта заповедь одно время хорошо помогала Винокурову. Когда началась война, Сема, чувствуя себя умнее всех, оказался в городе Алма-Ате, но «брони» раздобыть он не успел и был призван в ряды действующей армии. Зато уж тут он маху не дал: сразу же пристроился по продовольственно-фуражной линии и с войны вернулся



в звании майора интендантской службы, с орденом и четырьмя медалями.

С ученой степенью у него не получилось, во всем остальном он не отставал от своего друга Осипа Давыдовича Иванова-Петренки.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Любовь, это восхитительное чувство, животворящее вселенную, у нас всегда соединена с грустью.

*М. Глинка*

С выставки Люся приехала расстроенная, бросилась на тахту и заплакала. Слезы размочили тушь на ресницах и черными ручейками потекли по щекам. Взглянув в зеркало, она испуганно и торопливо начала вытирать лицо, а слезы все лились и лились. Дома, кроме нее, никого не было. Она умылась холодной водой, согнав с лица краску и пудру, и лицо сделалось другим: приветливым, девически милым. Снова разглядывая себя в зеркале, она обнаружила морщинки на лбу. Открытие это испугало ее, и ей снова захотелось плакать. Села на тахту, подобрав под себя ноги, и стала смотреть на картину Владимира. «Зачем она здесь? Зачем я здесь, а не с Борисом, у которого сегодня большой торжественный день? Почему я не разделяю его радости?»

Люся редко бывала у Юлиных и шла к ним точно по обязанности, только бы не обидеть Бориса. Об инциденте во время помолвки ей никто не напоминал, все относились к ней с подчеркнутой любезностью, но день от дня Люся все более сознавала, что свадьбы у нее с Борисом не будет. Надо бы с ним объясниться, но она не знала, как это сделать. Да и не хотелось начинать неприятный разговор. Она чувствовала себя виноватой и перед Владимиром и перед Борисом.

Люся встала, вынула из шкатулки фотографию Владимира и стала внимательно, как будто впервые, рассматривать лицо человека, которого любила. «Милый, милый Володя! — беззвучно шептала она. — Если бы ты знал, какая я дурочка... Но ты этого никогда, никогда не узнаешь!»

И ей захотелось, чтобы все стало так, как было несколько месяцев назад. Возможно ли это? «А может, он уже ту любит, что на портрете и на картине? Она, кажется, моложе и свежей. Но все-таки, все-таки была бы она, Люся, счастлива с ним? Нет-нет, он не простит! Никогда не простит! Ну, а она, если бы Володя так поступил, простила бы?» К своему ужасу, она должна была сознаться, что, если бы Володя устроил помолвку с Валей, она ни за что не простила бы его. «Значит, и он... и он? Какой ужас! Что я наделала?!» Что же ей теперь делать? Как жить? И зачем?

На раздумье ушло несколько дней. Наконец Люся решилась: «Пойду к отцу. Да-да, расскажу все по совести и попрошу совета, как дальше жить. Он добрый, он поймет...»

Люся сидела рядом с отцом и молчала. Заговорить первой она стеснялась, ждала, когда заговорит отец. Она была уверена, что он это сделает, и готовилась к неприятному, но необходимому разговору, который должен, как ей казалось, облегчить душу, ответить на уйму неясных вопросов, беспокойно роящихся в голове. Люся чувствовала себя беспомощной и слабой, но не хотела никому, даже себе самой, в этом признаться.

Для нее было совершенно неожиданным, когда отец, отложив «Правду» со статьей академика Камышева, которую Люся еще не успела прочесть, заговорил совсем не о том, чего она ждала. Он заговорил об искусстве, которое бывает очень разным: одно помогает людям жить, согревает душу, будит разум, волнует и зовет к новым горизонтам; другое раздражает, отталкивает, пугает, вносит в мысли какую-то сумятицу, подрывает веру в человека и в красоту жизни, оставляет на душе нехороший осадок.

— По-моему, твоему Борису и его друзьям ближе второе искусство, чем первое,— медленно выталкивая слова, говорил Василий Нестерович. Серое болезненное лицо его было угрюмым, в усталых глазах появилась настороженность.

— Их надо понять,— сказала Люся и почувствовала, что защищает Бориса и его друзей. А на самом деле она хотела защитить только себя и уж никак не их.

— Понять, чтобы оправдать? — И в этом утвердительном вопросе отца Люся почувствовала упрек. — А я

не могу. И понимаешь, Люсенька, не я один, но и Камышев, и другие. Большинство не принимает того искусства, большинство не только таких, как я, простых зрителей, но и ценителей.

— Понимать искусство — это тоже большое дарование, и не каждый им владеет, — повторила Люся чужие, Осипа Давыдовича, слова. — Надо уметь слушать музыку, смотреть картины, спектакли...

— ...И кинофильмы и читать романы? — добавил Василий Нестерович. — Значит, искусство для избранных. Я это слышал, когда тебя на свете не было. Слышал и видел то искусство: кубистов, футуристов, конструктивистов, импрессионистов. И все кричали о новаторстве, о революции, о шедеврах новоявленных и непризнанных гениев, которых, дескать, поймут лишь потомки. Где они сейчас, эти шедевры? Разве не кажутся тебе их опусы обыкновенным дилетантством? А Микеланджело и Рембрандт были одинаково понятны как своим современникам, так и потомкам. Чтобы их понимать, не надо было кончать специальных университетов. А наши Иванов, Репин, Шишкин! Разве когда-нибудь их не понимал народ, массы? Недоучки, кривляки не принимали их тогда и третируют теперь. Так это от зависти, потому что сами так писать не могли и не могут.

— Репин и Шишкин — не одно и то же, — заметила Люся и сообразила тотчас же, что говорит не свои слова, потому что в душе она любила Шишкина, которого Борис и его друзья считали просто-напросто фотографом, натуралистом и вообще не художником. — Но согласись, папа, что надо воспитывать эстетический вкус народа.

— Надо, конечно. Только не надо убеждать народ в том, что черное есть белое, а белое есть черное. Взрослые не поверят, ни за что не поверят. Разве только молодежь можно обмануть такими штучками. А кто позволит обманывать несовершеннолетних? Взрослые не позволят, отцы, наконец партия, правительство не позволят дурачить народ.

Василий Нестерович говорил с твердой спокойной убежденностью. И Люся чувствовала, как иссякали ее аргументы, ей нечем было возразить. Позиции ее были очень шаткими. В сущности это не были ее, Люсины, позиции и убеждения. Она стояла на позициях людей, которые ее учили в университете, с которыми сталкива-

лась по работе, людей, которые считали себя метрами и законодателями в искусстве. Она им верила. В их теориях, преподносимых с таким апломбом, шумом и феерическим блеском, было что-то заманчиво-привлекательное для людей неискушенных, не имеющих твердых собственных взглядов и убеждений. Тем более что противоположная точка зрения на искусство Барселонским и его друзьями всячески высмеивалась, объявлялась дилетантской, старомодной. А кому из молодых людей, особенно самовлюбленных девиц, к числу которых принадлежала и Люся, хочется слыть дилетанткой, да еще старомодной, быть предметом насмешек? Для нее и Камышев был старомоден. А вот Барселонский — это уже «шаг вперед», это «европейская цивилизация», потому что его искусству «чужда русская национальная ограниченность», как говорит Осип Давыдович. Нравился ли Барселонский, а точнее — его искусство, Люсе? В душе — нет. Но она восторгалась им «за компанию», она не хотела «отставать от моды». А мода создавалась в «салоне» Осипа Давыдовича. Но об этом Люся ничего не знала. Об этом не знал и ее отец, хотя и догадывался. Друзья будущего зятя были ему несимпатичны. Даже Пчелкин, которого Василий Нестерович любил как художника, вызывал в нем чувство настороженной сдержанности. «Это еще не известно, с кем идет маститый и популярный, преуспевающий и везде успевающий Николай Николаевич, — рассуждал отец Люси. Ведь над ним есть Лина, жена его.

Неужели Люся, его дочь, на которую он возлагал столько светлых надежд, оказалась среди людей, не любящих национального искусства, далеких от народа своего? И почему такое могло случиться? Не верилось, что это серьезно, просто она еще очень молода, не смогла разобраться, где настоящее искусство, а где поддельное, фальшивое. Она разберется, внушал он себе, но это было слишком легковесным утешением, вызывавшим в душе еще большую тревогу. Волновала дальнейшая судьба Люси, судьба, которая решается сегодня. То, что Люся увлеклась «левым» искусством, это было еще полбеды, потому что он чувствовал непрочность ее позиций; это, мол, ненадолго, временно. Опомнится, разберется, и все пройдет. Пугало и тревожило другое: не увлеклась ли она и Борисом вот так же легкомысленно, случайно? Инцидент с картиной Машкова «В загсе» убеждал его в

этом. И в таких догадках было что-то приятное: он чувствовал, что Люся равнодушна к Владимиру, который ему определенно нравился.

— Вот Машков, он совсем другой, чем Борис,— размышляя, произнес Василий Нестерович.— Он не скажет, что Репин и Шишкин устарели. Чтобы понимать его искусство,— Василий Нестерович поднял усталые, но уже сверкающие тревожными искорками глаза на картину «В загсе»,— не надо кончать специальных курсов и университетов. Мне кажется, человек и художник— это едино. Потому что в искусстве— душа художника. Если ты подлец, ловкач, деляга, так это будет заметно и в твоём творчестве. Этого не скроешь, когда-нибудь, да прорвется.

Был ли это деликатный намек— трудно сказать, но Люся поняла его именно так. Она вдруг посмотрела на отца большими влажными и необыкновенно открытыми доверчивыми глазами, в которых светилось большое искреннее чувство.

— Спасибо тебе, папа!— сказала она.

С тех пор прошло немало времени в муках и напряженных трудах. Валя поступила в Тимирязевскую академию, жила в Москве, но с Владимиром не виделась. Машков знал, что она в Москве, но встречи с ней не искал. Люсю он также не видел больше года. О Люсе он думал все время, с ней хотелось повидаться. Теперь уж он почти не верил, что она выйдет замуж за Бориса, но в нем задним числом, все более разгоралась обида: «Она плюнула мне в душу! Знала, что я ее любил, а побежала за Борисом. Ну и пусть теперь за ним бегают, и пусть!».

Да только обида и злость почему-то не заслоняли образ Люси. Владимир не хотел себе признаться, что все еще любит ее. Желая себя урезонить, он начинал сомневаться: «Да и был бы я счастлив с ней?» Перебирая в памяти семейную жизнь своих знакомых, он, к огорчению своему, обнаруживал, что многие из них не смогли создать счастливой семьи, о которой мечтали. Так могло быть и у него с Люсей. Люди они разных характеров, вкусов и привычек. Говорят, любые противоречия между супругами примиримы, если они доверяют

друг другу. Но возможно ли теперь доверие между ним и Люсей. Он-то любил ее и надеялся, а она — к Борису... Не повторится ли это потом, когда они все же окажутся вместе?

Грустно, томительно было думать об этом.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Дурной человек не может быть хорошим автором.

*Н. Карамзин*

Успех на предыдущей выставке картины «Прием в партию» и ее признание, последовавшее после статьи Камышева в «Правде», окрылили Владимира Машкова, улучшили его материальное положение. Он с новыми силами и надеждами работал в течение года над картиной «Родные края».

В творческих организациях после известных решений партии по идеологическим вопросам обстановка также резко изменилась к лучшему. Эстеты и формалисты всех мастей, апологеты «искусства для искусства» были оттеснены на задний план. Все эти винокуровы, яковлевы, ивановы-петренки, как тараканы, попрятались по щелям и временно не проявляли особой активности. В тиши дачных особняков они производили перегруппировку своих сил, вырабатывали новую тактику и вели разведку наблюдением.

Осип Давыдович в печати теперь не выступал, на собраниях художников не появлялся. Запершись у себя на даче, он писал теоретический труд «О закономерном исчезновении конфликтов в жизни и в искусстве». Этим «открытием» он собирался потрясти мир и... снова выдвинуться. Это был поворот «на несколько румбов», как говорят моряки. Теперь Осип Давыдович проповедовал то самое, что отрицал вчера. Спекулируя правильными лозунгами, жонглируя громкими фразами, он даже забежал вперед своего времени и доказывал, что в жизни нет классовых противоречий, а следовательно, нет и не может быть непримиримых конфликтов. А поскольку ис-

кусство есть отражение действительности, значит, и в произведениях искусства не может быть никаких конфликтов. Таким образом, Осип Давыдович хотя и завуалированно, но недвусмысленно призывал художников и советскую общественность к примирению старого с новым, отсталого с передовым, идейного с безыдейным, обывательским.

Выслушав своего друга, Лев Михайлович Барселонский хитро улыбнулся:

— Очень остроумно и заманчиво! Но уверены ли вы в неуязвимости вашей теории? Все-таки в жизни еще немало мерзостей, и диалектики призывают нас к борьбе с пережитками...

— Я вас понимаю,— подхватил Осип Давыдович,— но на это есть убедительный ответ: то, что конфликтно, то нетипично. Все теневое в нашей действительности — нехарактерная случайность, не заслуживающая внимания...— Он ухмыльнулся.— Ну, а случайность, как вы понимаете, годится только для водевиля...— И, помолчав немного, таинственно сказал:— Эта штучка может понравиться и в верхах.

Это была тайная мечта, вдруг доверительно высказанная вслух.

Барселонский, прищурившись, довольно гмыкнул и, побарабанив пальцами по столу, повторил:

— Очень остроумно и заманчиво, очень! — Подумал и сообщил как новость:— А Семен Семенович по-другому вопрос ставит...

— У него другой план,— уверенно возразил Иванов-Петренко.— Я с ним говорил...

Семен Семенович Винокуров всю зиму и лето жил на даче Барселонского на полном его иждивении и писал большую журнальную статью «Об искренности в искусстве».

По вечерам художник и критик медленно прохаживались по чистеньким аллеям просторного дачного участка, обнесенного высоким зеленым забором, и вели нескончаемый разговор на эту тему. Говорил больше Барселонский, а Винокуров слушал, запоминал и приводил в систему мысли «патриарха». После каждой прогулки Винокуров садился к письменному столу и заносил кое-что на бумагу.

Так постепенно рождалась острая, полемического

тона статья, в которой тенденциозно и однобоко освещалось положение в советском искусстве. Упор делался на теневые стороны нашей действительности, будто бы замалчиваемые искусством и литературой. Основной смысл статьи сводился к тому, что советские художники неискренни. А неискренни они потому, что лишены «свободы творчества», пишут не так, как им бы хотелось, а якобы только так, чтобы потraфить вкусам вышестоящих товарищей и невзыскательных зрителей и читателей. «В основе нашего искусства,— писал Винокуров,— лежит проповедь, облеченная в грубую форму пропаганды. Ее нужно заменить исповедью. Натуралистическое искусство факта должно уступить место подлинному искусству психологического анализа».

Обе статьи были готовы почти одновременно. Но авторы понимали, что обнародовать их нужно в разное время. Сначала появился в печати труд Иванова-Петренки об исчезновении конфликтов в советской действительности и в искусстве, потом, спустя определенное время, в порядке развернувшейся дискуссии опубликовал свою статью Винокуров. И снова общественность и художники были искусно сбиты с толку этими ловкими критиками, утверждавшими непримиримые вещи.

Статья Иванова-Петренки с претенциозным названием «Время и конфликт» была опубликована в журнале. Статью показал Владимиру Павел Окунев.

— Видал, Иванов-Петренко снова выполз на свет божий! Удивляешься, как они живучи.

— О чем статья? — спросил Владимир.

Окунев статью не читал, он лишь полистал ее и, не найдя в ней ничего для себя интересного и не уловив главного смысла ее, швырнул журнал в угол мастерской. Владимиру ответил: — Меня интересует не содержание, а сам факт слишком скорого воскресения ее автора.

Владимир читал статью Иванова-Петренки внимательно, находя в ней мотивы, которые касались и его творчества, как-то перекликались с его личными настроениями. Чей-то посторонний голос и раньше упрямо внушал ему мысль о необходимости изображать нашу действительность только в радужных тонах и оттенках. Владимир не понимал, зачем это нужно, и внутренне противился такой идее. Однако те два полотна, над ко-



торами он сейчас работал, вольно или невольно были отражениями этой идеи. И не только потому, что главные герои их были абсолютно положительные люди. Художник ставил их в обстановку беззаботного благополучия, где каждая деталь, каждый мазок кисти подчеркивали какую-то душевную беспечность. В «Родных краях» демобилизованный старшина идет полевой дорогой среди моря густой высокой ржи, тучной, урожайной. Над ним — ясное безоблачное небо, за ним блестит асфальт шоссе, по которому мчатся автомобили. А дальше, за шоссе, на солнце сверкают белым шифером новенькие крестьянские домики. Выражение лица демобилизованного воина — это выражение беззаботного счастья.

Статья Осипа Давыдовича поселяла в нем сомнения, и, как ни странно, именно тем, что теоретические положения критика совпадали в какой-то мере с творческой практикой художника. Владимир не подозревал, что в его практику эти мысли о лакировке действительности, о бесконфликтности в искусстве были навязаны тем же критиком и его друзьями гораздо раньше, навязаны постепенно и незаметно. Владимир не знал, как ему быть: принимать такую статью или не принимать. Автор статьи по своим убеждениям был ему чужд, и поэтому надо бы отвергать все, что он предлагал. Но Владимир понимал всю несерьезность и наивность такого пути. Осип Давыдович не дурак, и не всегда он предлагает чуждые идеи. Иногда он вынужден высказывать правильные мысли, иначе его никто не стал бы печатать. А ведь печатают же, и прежде чем печатать, должно быть, читают люди понимающие и грамотные. Тем более что это было первое выступление Иванова-Петренки после резкой партийной критики в его адрес, и вряд ли в нем Осип Давыдович рискнет нести чертовщину.

Нет, никакой крамолы не находил Владимир в этой статье. Но она и не вносила ясности, а лишь усиливала тот разлад, который образовался в его душе. Как примирить соломенные крыши, которые он видел в жизни, с новенькой черепицей домов в колхозных кинофильмах? И он себя успокоил тем, что его творческая практика сходится с теоретическими положениями критиков, подобных Иванову-Петренке. В данном случае он считал, что в конце концов не столь важно, кто автор статьи,

важно, что она напечатана в советском журнале. В этом свете он видел статью как плод коллективного разума.

Картина «Родные края» не доставила художнику ожидаемой радости. Его мучили сомнения. Хотелось послушать мнение авторитетов до того, как картина попадет на выставку. А может, вообще ее не выставлять? Такую мысль он как-то высказал Еременке Петр посмотрел на него прищуренными глазками и, убедившись, что товарищ говорит серьезно, ответил:

— Ты стал излишне требователен к себе. А излишества, как тебе известно, вредны.

Владимир решил показать картину Пчелкину. Правда, Николай Николаевич уже не был для него безупречным авторитетом, как несколько лет тому назад, но все же...

Пчелкин охотно откликнулся на просьбу своего бывшего ученика. В квартиру Машковых он вошел легко, коlobком вкатился, по своему обыкновению потирая руки, как азартный игрок. На картину смотрел внимательно, со всех сторон, дружелюбно и многозначительно хмурился, отчего лицо его, полное, круглое, делалось смешным, как у мальчишки, разыгрывающего роль взрослого.

— Ну что ж,— наконец важно протянул он, все еще не отрывая взгляда от картины,— хорошо. Я бы вот только здесь усилил рефлекс, сделал бы его поярче, посочней.— Он ткнул толстеньким, мягким с крапинками веснушек пальцем в левый край холста и добавил поучающе:— А правый угол неба надо еще проработать. Сделай его помягче, потеплей.— И быстро посмотрел на Владимира, точно сообщая, что у него больше нет никаких замечаний

— Я не об этом спрашиваю... Это детали, их устранить недолго,— с тихой грустью в голосе произнес Машков.— По идее как? Понимаешь, о главном речь.

— Вообще... недурно. Я тебе скажу — даже хорошо. Жизнерадостный колорит, веселое, бодрое настроение. Ты читал статью Иванова-Петренки об исчезновении конфликта в нашем искусстве?

Этот неожиданный вопрос Пчелкина открыл Владимиру глаза.

— Солнечно, без облаков? Читал. Вначале даже как будто нравилось, а теперь вижу — не то...

— Что «не то»? — Пчелкин насторожился.

— И статья Осипа, и моя картина — все не то. Понимаешь, внутренне я чувствую, что-то здесь не так, — он постучал по холсту, — какая-то фальшь тут... слащавость. Вот именно — слащавость! — обрадовался он найденному слову.

— Самоанализ? — подозрительно спросил Пчелкин.

— Нет, что-то другое. Эту картину я начал в первые дни моего пребывания в Павловке. А потом, когда я ближе узнал трудную жизнь колхоза, мне хотелось бросить этот сюжет, но... как раз в эту пору появилась статья Осипа Иванова-Петренки, и я с новым жаром взялся за эту картину.

— Я тебя не совсем понимаю... — Пчелкин глядел в пол.

Владимир пытливо взглянул на него сбоку и глазами спросил: «А ты искренне хочешь понять или только так, видимости ради?» Николай Николаевич, должно быть, угадал этот немой вопрос, положил руку на плечо Машкова и ласково попросил:

— А ты объясни

Они сели на тахту, и Владимир стал терпеливо объяснять:

— Картина эта имеет определенное географическое место и время. Представь себе послевоенные годы, смоленскую деревню, разоренную и растоптанную войной. Скучную землю, одичалую залежь, которую надо было поднимать. А кому? В селе бабы да дети. И вот он, демобилизованный старшина, возвращается в родные края, к земле, за которую кровь проливал. Сколько дел ему предстоит! А что ты видишь на моей картине? Этому старшине уже делать нечего. Для него вон какой хлеб вырастили! Живи, как говорится, припеваючи. Ты говоришь, «веселая картина» вышла, а мне теперь кажется — беспечная.

— М-да, — промычал Николай Николаевич. — Это уже тема другая. То, что ты рассказал, — тоска-кручина, грусть

— Грусть? — воскликнул Владимир. — Ну нет, брат, грустить тут некогда и незачем. Тут работать надо за-сучив рукава.

— Значит, все заново? — спросил Николай Николае-

вич, не находя для возражения ни нужных слов, ни убедительных доводов.

— Да, теперь решено: начну новый холст. Все, все заново: небо, земля, и главное — внутреннее состояние героя. Разве только композиция останется, — твердо сказал Владимир, хотя еще час назад не был уверен и в этом.

— Жалко рожь и небо, — заметил Пчелкин. — Это тебе удалось.

— Не думаешь ли ты, что мне жалко меньше твоего? — Владимир сокрушенно посмотрел на Николая Николаевича.

— Тогда поезжай на озеро Сенеж в Дом творчества художников: там найдешь и нужное небо и невспаханную землю, — посоветовал Пчелкин.

Это была недурная идея, тем более что в Павловку Владимиру ехать не хотелось: он боялся расспросов колхозников о Вале, с которой так и не виделся ..

Наступил сентябрь, мягкий и солнечный. Надвигалась пора золотой осени, то самое время, от которого Владимир не знал, куда прятаться. Весна его окрыляла, наполняла энергией, и он готов был работать сутками напролет, недосыпая, недоедая, и всегда чувствовал себя бодрым. А ранняя осень среднерусской полосы с тонкими запахами увядающих трав и полевых цветов, с белой паутиной на стерне, шуршанием опавших листьев и горьковатыми дымками костров, с прохладой вечеров и грустным курлыканьем первых журавлей — эта осень выбивала его из колеи, напоминая о чем-то безвозвратно уходящем и бесконечно дорогом. Иной раз ему хотелось закричать на весь мир: «Стой, остановись, время! Дай поглядеть на землю, насладиться ее красотой, надышаться последними запахами ушедшего лета».

Расхаживая по живописным окрестностям Солнечногорска в поисках подходящей залежи, с которой можно было бы писать передний план картины, оглядывая живописные окрестности, Владимир думал: «Только здесь мог родиться гений Чайковского, в этой «русской Швейцарии»! Как приятно и легко здесь бродить! Куда ни ступишь — открывается новая сельская даль, зовет и манит, и ты идешь, не чувствуя усталости, и так хорошо мечтается, даже забываешь, что это не весна, а «бабье лето»... Странное название. В чем смысл его? Неужто в увядании женской молодости?

Владимир пошел опушкой леса по старинной дороге к бывшей барской усадьбе, где теперь расположен совхоз. Четыре шеренги старых берез бежали вдоль дороги. Дорога неезженная, поросшая травой и устланная желто-оранжевой листвой, выходила к тихому пруду.

Владимир спустился в лощину, дышащую влагой. Постоял немного, точно силясь совладать с одолевшими его чувствами, и поднялся на бугор. Из леса, пересекая лощину, выбегала проселочная дорога. Невдалеке — село, возле села — санаторий военных моряков, с аркой и белыми башнями у центрального въезда. А рядом — зябь и участок давно не паханной земли на краю оврага. Настоящая облога с мелкой, как поредевшие волосы, травкой, с кочками и ямочками.. Да это же то, что нужно!

Обрадованный находкой, художник поднял глаза, посмотрел на запад и в расстоянии трех-четырех километров увидел Сенеж, зажатый с двух сторон пестрым лесом. Озеро сверкало отражением светлого западного неба. И вдруг эта картина напомнила что-то очень знакомое и близкое. Да это же пейзаж Ивана Шишкина! Да-да, именно здесь, вот с этой возвышенности и писал Шишкин свои «Лесные дали»! Теперь, спустя почти сотню лет, на том же месте стоял наследник великого пейзажиста и готовился написать фон для своей картины, в которую хотел вложить весь жар души, все свои мысли.

Открыл этюдник, поставил картон и начал писать. Работал, как всегда, быстро, но время шло еще быстрее. Солнце катилось к озеру, угрожая утонуть в его сверкающей пучине; на землю вместе с влагой тумана ложились длинные тени. Владимир разогнул натруженную спину и, убедившись, что краски на земле резко изменились, с сожалением стал свертывать работу.

На другой день он чуть свет пришел сюда писать этюд. Теперь озеро смотрелось еще лучше, хотя над ним дымился туман. Владимир просидел за этюдником до обеда. Был сделан новый вариант облоги — при другом освещении. Можно, пожалуй, возвращаться в «Дом творчества» к натянутому на подрамник холсту. Владимир поднялся на самый гребень бугра, чтобы еще раз взглянуть на озеро, потом вернулся за этюдником и неожиданно увидел, что облога стала другой, не похожей на ту, что изображена на картоне. Взглянул на солнце, неплот-

но прикрытое тучей, и все стало ясно: те два этюда он писал при солнечном освещении. А теперь что же, третий писать?

По замыслу в новом варианте картины «Родные края» небо должно быть облачным. Но закрывают ли облака солнце? Вспомнился могучий солнечный луч, пробивший фиолетовую грозовую тучу, ту самую необычную картину природы, которую он и его друзья на даче в Переделкине спешили занести в альбомы и на картон. Да-да, та туча и тот солнечный луч, символ жизни, силы и могущества, как нельзя лучше подходят к его новому замыслу!

Забыв даже про еду, он снова расположился на облоге и стал переписывать этюд заново...

И вот картина закончена. На первый взгляд почти все от старого варианта оставалось на месте, но это была все же совсем новая, другая по духу и мысли картина. От прежней беспечности не осталось и следа. Нечто мужественное, суровое и зовущее появилось на полотне. На заднем плане — асфальтовое шоссе. По нему в даль перелеска уносится грузовик. Можно догадываться: из его кузова несколько минут назад соскочил демобилизованный сержант. Вот он на первом плане с чемоданом и шинелью в руках, подтянутый и сдержанный. Теперь он шел не по проселочной дороге среди высокой спелой ржи, а по тропинке, проложенной через запущенную облогу, за которой открывались родные необозримые дали. Сложные и широкие чувства выражало лицо сержанта. Это было лицо человека, который после долгой разлуки вернулся в родные края, где он впервые появился на свет, где топтал босыми ногами пахучую землю, за которую пролили кровь его боевые друзья-однополчане и которую он должен переделать так, чтобы она зацвела изобилием. За шоссе — новый сруб избы, новый телеграфный столб и еще не убраный подбитый танк. Это «детали», которых (как и облоги, и тучи с солнечным лучом) не было в прежнем варианте. Но главное все же было не в этих деталях, а в образе героя хлеборода новой деревни.

В тот день, когда в «Правде» была опубликована первая редакционная статья, разоблачающая «теорию» бес-

конфликтности, Осип Давыдович сидел дома и отвечал на телефонные звонки. Многочисленные друзья спешили засвидетельствовать ему свое сочувствие и советовали «не падать духом». А к вечеру тут собрались завсегда-тай «салона». Первыми пришли Борис Юлин и Ефим Яковлев, оба нарядные, возбужденные. О статье — ни слова. Хозяину это понравилось. С улыбочкой он спросил Яковлева:

— Какие новости у кинематографа?

— У нас, как вы знаете, в этом отношении всегда был порядок, — самонадеянно и тоже с улыбочкой ответил поэт-сценарист.

— Не спешите хвастаться, Ефим, подождите выхода на экран картины «Ломоносов», — предостерег хозяин, направляясь к телефону, чтобы ответить на очередное утешение. Вернувшись в гостиную, он продолжал: — Насколько мне известно, в этом фильме есть мысли, сомнительные для патриотической критики...

Яковлев кивнул, приподнял брови и возразил с ухмылкой:

— Фильм выйдет на экран в юбилейные дни Московского университета. Кто станет критической рецензией омрачать торжество?

Осип Давыдович одобрительно покачал головой, как бы говоря: «Ай да озорники!»

Семен Семенович Винокуров появился в «салоне» позже всех. Он пришел со своим киевским племянником, молодым художником, только что окончившим институт. Это был мелколицый, шуплый юноша с самодовольным, нагловатым взглядом, которому тоненькая ниточка рыжих усов придавала смешное выражение. Одет был юноша в украинскую сорочку с вышивкой и в серый костюм. Звали его Геннадий Репин. Институтские остряки говорили о нем: «Пустоголовый Гена с гениальной фамилией», что, впрочем, ничуть не смущало будущую знаменитость, по убеждению которой таланта, как такового, вообще не существует, а есть удачники и неудачники, как объективно не существует хороших и плохих произведений. Все зависит от точки зрения. И он был уверен, что добрые, близкие люди создадут ему славу великого художника. Первым шагом к этой славе была знаменитая фамилия.

С хозяином здоровались сегодня особенно тепло: ни-

кто не забывал, что он герой дня, хотя никто и не решался начинать разговор на эту тему. Когда все уселись по своим излюбленным местам и люстра начала таять в облаке табачного дыма, Осип Давыдович сообщил, как приятную новость:

— Звонил сегодня Лев. Приглашал на крестины своего детища...

Это означало, что Лев Барселонский закончил новую картину, которой заранее отводилось место в сокровищнице бессмертия.

Беседовали пока обо всем понемножку, и все понимали, что это лишь прелюдия. Говорили о том, что над миром сгущаются тучи, и о том, что Юлины купили себе «вполне приличный» домик за сто двадцать тысяч далеко от Москвы, в районе Томска, «там, где не было затемнения». Иванов-Петренко заметил, что лично он предпочел бы Алма-Ату, но без компаньона не обойтись, поскольку такая отдаленная и «приличная» дача «обойдется в копеечку». Винокуров изложил свой дачный план: он решил подыскать «за сходную цену» крестьянский домишко комнаты на три-четыре в прикамской глуши, вдали от шума городского...

Наконец Осип Давыдович обвел всех присутствующих пытливым взглядом и спросил:

— Ну, как вам нравится сегодняшняя статья?

— Снова шумят,— отозвался тотчас Винокуров.

Остальные вопросительно смотрели на хозяина «салона».

— Пошумят и забудут,— решительно заключил Иванов-Петренко.— Побеждают тех, кто не сопротивляется. Как это у военных говорится: наступление — лучший вид обороны.

И снова начался разговор, состоящий из полупонамек и недомолвок, где значение имели не столько сами слова, сколько тон, которым они произносились, гримасы и жесты, которыми сопровождалась.

— Акварели Барселонского были хорошим началом,— говорил Иванов-Петренко, и все понимали, что это, собственно, была успешная разведка боем и что настало время переходить в решительное наступление на реалистическое искусство.

Непоседливый поэт, вскочив со стула и зашагав по комнате, мрачновато признался:



— Я до сих пор не понимаю, зачем нужна эта теория бесконфликтности.

— Вы, Ефим, неспособны серьезно мыслить,— урезонил его Иванов-Петренко.— Попросите Бориса, он умеет самые сложные вещи излагать элементарным языком.

Юлин с неизменной улыбкой и не меняя своей независимой позы, которую он принял в день получения лауреатской медали, начал с наигранной ленцой:

— Весь смысл теории бесконфликтности в ее бессмысленности. Я надеюсь, Осип Давыдович на меня не обидится за этот парадокс? Любая замечательная мысль, доведенная до абсурда, превращается в свою противоположность.

Все засмеялись, а Семен Семенович Винокуров сказал серьезно:

— Это опошление большой идеи. Я думаю, мы теперь должны бороться за искренность в искусстве. Да-да, так нужно подавать: художник должен быть искренним!

— Вот и напишите такую статью! — простодушно выпалил Яковлев.

Винокуров посмотрел на него иронически.

— Тут главное,— проговорил он многозначительно,— чтобы моя теория была подтверждена практикой.

— Появление на выставке новых картин Барселонского, Пчелкина и Бориса будет лучшим подкреплением вашей теории,— вставил Иванов-Петренко. Он отлично понимал ход мыслей Винокурова:

— А что, если на выставке появятся картины, противные вашей теории? — полюбопытствовал Яковлев — И именно они получают поддержку печати? Или еще хуже: печать откроет огонь по произведениям Барселонского, Пчелкина и Юлина,— тогда как?

Точно давно предвидя такой вопрос, Осип Давыдович ответил:

— Наши возможности на выставках и в критике неограниченны, и если бы вы, Ефим, были поумнее, то не задавали бы таких вопросов. А интересно, что дадут на выставку они? — перевел он взгляд на Винокурова?

Семен Семенович с видом осведомленного человека ответил:

— У Окунева — картина о Зое Космодемьянской. На-

писана гладко, интересно. Это раз. Машков может произвести впечатление Это два...

— Машков? — Борис скептически скривил губы. — Чем? Золотой рожью и веселеньким частушечным солдатиком?

— Ваши сведения, Боренька, к сожалению, устарели. Машков заново переписал всю картину, — мрачно сообщил Винокуров.

— Когда же он успел? — зрачки у Бориса удивленно расширились

— Успел... — Острое лисье лицо Винокурова предупредительно вытянулось. О картине Владимира он узнал от Лины Пчелкиной. — Отрицать талант Машкова можно и нужно, но недооценивать его — неразумно и даже глупо. Дальше: Еременко заканчивает картину о Брестской крепости — это три. Вартанян выставит жизнеутверждающие пейзажи — это четыре ..

— Вартанян отпадает. — Борис скорчил на полном холеном лице пренебрежительную гримасу. — Пейзаж есть пейзаж, и каков бы он ни был, картине он не конкурент. Что касается баталии Еременко, то она просто будет неуместной в дни, когда так энергично пропагандируются идеи мира. Ну, а Паше Окуневу мы подсказжем, что не стоит пока выставлять свою картину, что над ней еще кадо много работать

— Вот это сказано умно, — похвалил Винокуров Юлина.

— Да, Окуневу можно посоветовать, — подтвердил Юлин, — а вот Машкову

— Этого заносчивого парня только критика в печати может урезонить, — подсказал Семен Семенович. — Ну и в книге отзывов. — Винокуров перевел взгляд на Осипа Давыдовича и спросил: — Не повременить ли мне со статьей?

Иванов-Петренко пожал плечами.

— Наоборот, желательно ускорить ее появление в печати. Другое дело: стоит ли вам самому ее подписывать и дразнить гусей? Скажут: «Опять Винокуров!»

— Об этом я и хотел посоветоваться с вами, — живо подхватил Винокуров.

— Пусть подпишет Борис, — предложил Яковлев.

Иванов-Петренко поднял ладонь, как бы отстраняя это неуместное предложение:

— Нет-нет, нужна нейтральная подпись! Лучше уж подписать статью вам, Ефим. Бориса надо держать по-дальше от подобных историй. Помните Лев уже стар и надо думать о замене. Борис — это уже фигура, имя Выдвинем в члены-корреспонденты, дадим заметку в энциклопедии...

Некоторое время все молчали. Каждый из присутствующих перебирал в памяти своих знакомых: кому бы из них можно было предложить стать автором статьи Семена Винокурова.

Первым нарушил молчание Борис:

— У меня есть предложение Статью может подписать молодой искусствовед Людмила Лебедева.

Отекшее лицо Осипа Давыдовича прояснилось, он снял очки и, взмахнув ими, воскликнул:

— Блестящая идея! Что же вы молчали?

Все с этим согласились, и Юлин был очень доволен.

Борис понимал, однако, что взял на себя очень деликатное поручение. «Карантинный срок» помолвки затянулся. По просьбе невесты свадьба откладывалась вот уже второй год. Отношения жениха и невесты становились все более холодными. Правда, Люся продолжала относиться к Борису с уважением. В ее глазах он был человеком трудолюбивым и предупредительным. Кроме того, он казался ей остроумным. Она была посвящена в его творческие планы, знала, что он готовит к выставке большую картину, задуманную им на южном курорте.

Однажды в санатории в присутствии Люси один бывалый моряк рассказал, как недавно в результате катастрофического прилива, вызванного подводным землетрясением, гигантской волной было начисто слизано и унесено в море небольшое селение на одном из островов в Тихом океане. На Бориса рассказ произвел сильное впечатление. «Вот новая Помпея!» — воскликнул он и пообещал написать на этот сюжет картину.

С тех пор, вот уже больше года, он и работал над новым полотном. Люся знала это, но почему-то ни разу не проявила интереса к тому, как подвигается дело, и не заходила к нему в мастерскую. Несколько раз он напоминал ей о свадьбе. Она уклонялась от конкретного ответа, и он перестал напоминать. Иногда они не встречались по несколько недель и потом не упрекали друг друга за это. Знакомые уже перестали спрашивать Бо-

риса о свадьбе Истошились остряки, смирился жених с положением «неженатого вдовца», как окрестил его Ефим Яковлев

И вот теперь ему нужно встретиться с Люсей, «подогреть» ее разговором о статье. Он позвонил ей и попросил о свидании. Она согласилась, но, судя по голосу, без энтузиазма. Встретились на одной из центральных улиц. Люся натянула на себя непроницаемую холодную маску отчужденности, и Борис не знал, с чего начать разговор. На все его вопросы она отвечала сухо и рассеянно. Он пошутил:

— Уж не вышла ли ты замуж?

Она передернула плечами и отвернулась. Бориса это взбесило. «Хватит! — решил он — Вот сейчас скажу «прощай», повернусь и уйду без всяких объяснений». И он бы, наверное, сделал так, если бы не имел щекотливого поручения. «Нет-нет, надо крепиться, — стал твердить он себе. — Дело есть дело, им нельзя рисковать». И он плотней прижал ее локоть.

А Люся вдруг переменялась. Лицо сделалось нервически-возбужденным, движения — порывистыми. Борис решил, что до сих пор она притворялась равнодушной, а теперь наконец расчувствовалась. Но он ошибся. Люся увидела Владимира, идущего под руку с какой-то женщиной.

Это было на площади Свердлова. Владимир и его спутница шли в густом потоке людей и быстро скрылись в подъезде Малого театра. Борис их не видел и не понимал, почему Люся так резко прибавила шаг и почему потащила его за руку:

— Ну, идем же, идем быстрее!

— Куда? — удивился он. — Куда ты торопишься?

— Как куда? — изумилась она — В Малый театр!

— В театр? — в свою очередь изумился он. — Почему вдруг в театр?

— Да скорее же! — прикрикнула она, не отвечая на его вопрос.

— А что там сегодня? — спросил он.

— Там? Сегодня? — Она растерялась — Ах, да не все ли равно! Пошли, пошли, я очень давно не была в Малом театре!

• — А как же билеты? Сейчас не достанешь .

— Ты не достанешь? Вот уж не ожидала! Известный художник, лауреат...

Борис озабоченно взглянул на часы

— Но пойми, через двадцать минут начало! Лучше в другой раз...

— Только сегодня! — с капризной настойчивостью сказала Люся, и он понял, что спорить бесполезно, и пошел к администратору.

Ревность, обида, чувство оскорбленного самолюбия — все вспыхнуло в ней сразу, и она, забыв о том, что сама виновата перед Владимиром, готова была кинуться к нему и наговорить дерзостей.

На сцене шли «Таланты и поклонники». Люся любила этот спектакль, но сейчас она его не смотрела и после первого же действия предложила Борису:

— Скучно. . Давай уйдем? Побродим по улице ..

Забыв про беседу с отцом, Люся неожиданно для Бориса сама заговорила о свадьбе, которую «дальше откладывать нельзя». Борис обрадовался. Условились: ровно через месяц, то есть первого ноября, пойти в загс, чтобы свадьбу приурочить к Октябрьским праздникам. О «деле», однако, поговорить не пришлось. «Но теперь уж нечего особенно торопиться, — думал Борис. — Теперь она сделает все, что мне нужно Жена! Как это говорится в русской пословице: «Муж и жена — одна сатана».

Как-то Борис позвонил Люсе на работу, спросил, свободна ли она сегодня вечером, и пригласил ее к себе в мастерскую.

— Я закончил свою «Катастрофу», посмотришь. А потом погуляем. У меня для тебя два сюрприза.

«Катастрофа» — это, наверное, картина, над которой Борис так долго работал», — догадалась Люся. Она будет первым зрителем! И еще два загадочных сюрприза! Она с нетерпением посматривала на часы, ожидая конца рабочего дня.

Борис встретил ее у своего подъезда, молча провел в мастерскую, помог раздеться, усадил в кресло и сдержнул с картины покрывало.

— Ну, суди, невеста. Строго суди, беспощадно, без скидок. — Он был уверен, что картина потрясет ее.

Больших размеров картина была написана размахис-

той кистью. Гигантская глыба воды неотвратно надвигалась на маленький беззащитный городок и его жалких, беспомощных обитателей, в ужасе бегущих перед волной, взбирающихся на балконы и крыши. Но нет им спасения. Волна так чудовищно высока, что даже двухэтажные дома кажутся перед ней игрушечными. Ужас и неминуемая гибель. Страх особенно наглядно был выражен художником в фигуре женщины с ребенком. На нее из-за грозовой тучи падал солнечный луч, похожий на огненно-раскаленный меч. Смелая манера письма понравилась Люсе, и она сказала, не сводя с картины глаз:

— Сильно.— Подумала и добавила.— И страшно.

Это было первое впечатление, и слова эти сорвались как-то сами собой. А в душе рождался вопрос: зачем все это? Но она не решилась произнести его вслух, а спросила по-другому:

— Боря, к чему столько ужаса? — Голос ее дрожал.

Он ответил спокойно, сдержанно.

— Я хочу потрясти зрителя. Пусть не проходит равнодушным мимо моей картины.

— Потрясти? — переспросила Люся. — А зачем, Боря? — Она подняла на него глаза, ласковые, блестящие. Нет, она не хотела его обидеть, и он понял это, но еле сдержал раздражение.

— Когда я писал, я не спрашивал себя: зачем? Я просто выражал себя, свои чувства и настроения. Это исповедь, а не проповедь. Оставим, Люсенька, проповеди окуновым, еременкам и прочим агитаторам-моралистам.

Под «прочими» Люся легко угадывала Машкова. Но мысль об «исповеди» (как и сама картина) ей показалась неожиданной и оригинальной, и она сказала

— Ты очень вырос как художник! Ты будешь иметь успех!

Вот этих слов он и ждал от нее. Теперь можно и похвастать! И сообщить, что Барселонский, Пчелкин и Тестов выдвигают его кандидатуру в члены-корреспонденты Академии художеств и что завтра он ожидает у себя в мастерской кинооператоров, а послезавтра его ждут в студии радиокомитета...

Люся не терпела хвастовства, но тут смолчала. Успех ее будущего мужа, оказывается, уже начался!

Борис подсел к ней, мягко, осторожно обнял ее за плечи и заговорил так ласково, как еще, кажется, никогда не говорил:

— Знаешь, Люся, тебе тоже надо выходить на большую дорогу. Ты станешь знаменитым критиком-искусствоведом. Я помогу тебе.

— Что ты, Боря! — Она густо покраснела. — Какие у меня данные? Я обыкновенная

— Нет, в самом деле, — продолжал восторженно Борис, не обращая внимания на ее слова. — Мы тебе поможем: я, Осип Давыдович, Семен Семенович...

С этими словами он встал, прошел к письменному столу, ключом открыл один ящик, извлек оттуда толстую пачку машинописных листов и, вернувшись, подал Люсе.

— Вот я написал статью, взгляни.

Люся взяла статью и принялась читать.

— По-моему, интересно, — сказала она, перевернув третью страницу. — Остро, смело. И написано увлекательно. Я не предполагала, что ты не только живописец, а еще и критик-публицист...

— Читай, читай, Люсенька, — мягко перебил он ее. — Мне Семен Семенович помог...

Дочитав, она сказала:

— Да, художник должен быть искренен в своем творчестве, иначе он не художник, а делец!

— Так ты считаешь, что статья прозвучит?

— О, еще как! Может и шуму наделать, дискуссию вызвать.

— Значит, одобряешь? Вот и отлично. Так пусть эта статья будет твоим первым крупным выступлением в большой печати. Это я для тебя... Подписывай.

— Как так? — Она была поражена. — Я не понимаю..

— А чего ж тут понимать? Напиши вот в конце: «Людмила Лебедева», и в очередном номере одного из журналов статья увидит свет.

— Но ведь это же не моя статья!

— Считаю ее моим свадебным подарком. А второй подарок — вот эта картина, — добавил он, кивая на «Катастрофу».

Голос у Бориса необычайно нежный, взгляд вкрадчивый. А у Люси в глазах растерянность.

— Странный подарок. — проговорила она и вспомнила вдруг разговор с отцом

— Неужели это хуже, чем флакон духов? — смеясь, спросил Борис

— Нет, Боря, этим шутить нельзя, — насторожилась она. — Почему бы тебе самому не подписать статью?

— Видишь ли, дорогая, мне неловко. Кое-что тут сказано и о моем творчестве, а это, знаешь

— Но в этом смысле мне тем более неловко, скажут — невеста рекламирует своего будущего мужа...

— Чепуха! Никто тебе ничего не скажет!

Люсе очень не хотелось отказывать Борису.

— Знаешь что, Боренька, — вздохнув сказала она, — ты дай мне статью домой, я ее еще раз внимательно прочитаю и тогда. Уж подписывать, так чтобы хорошенько знать то, что подписываешь

Борис не возражал. Он лишь попросил никому статью не показывать и вернуть ее поскорей.

На другой день она позвонила ему и сказала, что подписать такую статью не может, так как при внимательном чтении главная мысль показалась ей ложной. Она поняла это, став на точку зрения других художников, которых знала

— Почему «ложной»? — удивился Борис.

Люся не умела этого объяснить и лишь повторила:

— Ложная, Боренька, ложная, поверь мне. И вредная.

— Вот даже как! — воскликнул он в негодовании — Ты, может быть, назовешь меня врагом народа?

Она попыталась воздействовать на него кротостью:

— Не горячись, Боря, выслушай меня, ведь это в твоих же интересах. Давай бросим эту статью. Ты заблуждаешься. Ведь что выходит? Выходит, что все наше искусство неискреннее и что все наши художники — дельцы, пишут не по зову души. Такие, конечно, встречаются, но ведь большинство-то пишет свои произведения искренно, от души! Как же можно делать такие обобщения?

— Хватит! — грубо и резко оборвал он — Я же тебя просил никому не показывать, тем более... Машкову.

— Боря, клянусь, я никому...



— Не нужны мне твои клятвы! — закричал он. — К черту! А я еще думал, что не все потеряно! Глупец! Давно бы пора понять, что ты чужой для меня человек!

Голос его срывался, злые ожесточенные слова громоздились друг на друга, он старался как можно больше высказать ей обидных и оскорбительных слов и сказать ей то, о чем раньше думал, но не решался сказать: берег до случая, и случай этот подвернулся именно теперь.

— Ты жестоко просчиталась, да, просчиталась. Ты близорука, ты не способна видеть, за кем будущее.

— Неужто за вами? — язвительно сказала Люся.

— Да, за нами. Мы.. я, да, я, если будет вам угодно, и есть молодая генерация

— Вы. вы — тля, обыкновенная тля, — неожиданно вырвалось то, что жило где-то подспудно, накапливалось и зрело.

Это было вечером после работы. В глубоком оцепенении Люся сидела несколько минут, потом тяжело поднялась, оделась машинально и вышла на улицу. Морозный воздух сразу освежил ее, мысли прояснились. «Вот тебе — и свадьба!»

Открытие художественной выставки затягивалось. Прошла осень, наступила зима, а выставком все еще занимался отбором экспонатов. Работа выставочного комитета окутывалась самыми невероятными слухами. Говорили, что каждый день там происходят чуть ли не сражения, что среди членов выставкома преобладают эстеты, отвергающие любую вещь с ярко выраженным идейным содержанием, что ставка делается на салонные, камерные вещички и что выставка будет необычной. Наменялось на какой-то новый курс в искусстве

Владимир смотрел новый кинофильм — «Михайло Ломоносов» Из кинотеатра вышел с тяжелым чувством. Состояние было такое, будто ему в душу наплевали. Это был фильм не о национальном русском гении, а о чужеземных искателях «счастья и чинов». Главными героями фильма, как ему показалось, были не Ломоносов и русские люди, а иностранцы, обучающие русских уму-разуму. Впечатление такое, что фильм делался где-то за пределами СССР, за морями-океанами.

Как-то позвонил Павел Окунев и сказал Владимиру о странной встрече с Борисом Юлиным.

— Понимаешь, пришел он ко мне в мастерскую и часа два нес всякую чепуху. Потом послал лифтершу за цимлянским: вдруг ему пришла в голову такая блажь — пить цимлянское из цветочной вазы, из той, с которой я натюрморты пишу... Ладно, думаю, пить так пить. Выпили, и развел он кадило, давай меня «окуривать», что я самый талантливый из всех нынешних живописцев и только по своей доброте и глупости не могу сесть в кресло, которое мне уготовила судьба, и далее все в таком же тоне. Слушал я слушал и спрашиваю его:

— Для какой надобности несешь ты эту околесицу?

В ответ он стал хвалить мою последнюю картину — «Зоя Космодемьянская». Хвалил, хвалил, а потом обухом мне по затылку: «Святая она у тебя, лишенная человеческой плоти». Это Зоя-то! Написана, говорит, по-старомодному: все зализано. И предупредил: «Это не только мое мнение, так думает почти весь выставком. Тебя все любят и потому подсказывают тебе: не выставляй ее в таком виде, поработай еще с годок».

Передохнув, Павел спросил Владимира:

— Ну, что ты на это скажешь?

Владимир молчал, и Павел заговорил снова:

— Знаешь, Борис, говорю я ему, мало ты заказал цимлянского. Еще бы бутылки две, тогда бы я подумал... А так не знаю, что мне с тобой делать. выбросить тебя в окно или просто спустить по лестнице. Он выругался, назвал меня дураком и ушел.

Окунев и Машков так и не разгадали смысл этого странного визита.

Линочке недолго пришлось уговаривать своего супруга подписать статью «Об искренности в искусстве». Николай Николаевич лишь восхищенно переспросил жену:

— Ты сама написала? Ой, молодчага. Ты гений, Линочка!..

А через две недели в одном из журналов появилась большая статья Николая Пчелкина под интригующим названием: «Об искренности в искусстве. Заметки художника».

Читая статью, Владимир изумлялся: «Как все это по-

нимать? Выходит, мы неискренни в своем творчестве? Выходит, все, что нами создано за годы Советской власти, не более как ремесленничество?» В статье мелькали слова «проповедь» и «исповедь». Проповедники — это реалисты, поклоняющиеся идее коммунизма; исповедники — это жрецы подлинного искусства, поклоняющиеся красоте, не доступной ремесленникам социалистического реализма. «Откровенно, цинично и нагло», — возмущался Владимир. Было обидно, что написал весь этот вздор Пчелкин, художник, перед талантом которого когда-то преклонялся и Машков.

К Владимиру пришел Еремёнок и сказал:

— Пчелкин, кажется, сбросил маску. Помнишь, как мы с тобой боролись за Пчелкина? А теперь надо бороться против Пчелкина. Все-таки винокуровы затащили его в свое болото

В канун выставки одна из столичных газет напечатала броскую информацию и репродукцию с картины Бориса Юлина «Катастрофа». Текст начинался патетическими словами: «Вы видите разъяренную стихию, неистовую и неукротимую, сметающую все живое на своем пути.» Заметка заканчивалась многообещающе. «Картину эту написал талантливый художник Борис Юлин. Под названием «Катастрофа» вы увидите ее завтра на Всесоюзной художественной выставке».

Машина «салона» Иванова-Петренки начала действовать.

Владимир не знал, что свадьба Люси расстроилась окончательно, и все чаще и тревожнее думал о Люсе. Что же тянуло его к ней? Он помнил ее то самовлюбленной холодной красавицей, то умной и нежной, задумчиво печальной девушкой. Не то в шутку, не то всерьез, она называла себя «сложной натурой». А Валя вся как на ладони. Выходит, она слишком простая? А что значит «сложная натура»? Горький говорил, что «сложность» — это недостаток, результат крайней раздробленности мешанской души. Владимир искал в людях не «сложности», а других достоинств. И снова сравнивал Люсю и Валю. Но сравнения эти ничего не давали: перед ним были два очень разных, непохожих характера.

В день открытия выставки на нее трудно было по-

пасть и еще труднее оказалось смотреть картины в этой сутолоке.

Вокруг картины Льва Барселонского «Ненастье», о которой еще до открытия выставки так много шумели, поднимали ажиотаж. Владимир никак не мог вначале понять, чем, собственно, замечательна эта картина. Какой-то унылый; неопределенный, не известно, какого географического пояса пейзаж, забытая в лесной глуши деревушка с соломенными, прогнившими крышами, голые деревья. Дождь вперемешку со снегом, грязная разбитая дорога, на которой застряла автомашина «Победа», должно быть с районным начальством. Полный одутловатый человек стоял на обочине и, энергично размахивая портфелем, давал, видимо, руководящие указания. Две пары тощих лошадей тщетно пытались вытащить «Победу» из грязи. Сзади машину толкали три человека неопределенного возраста и пола. От картины несло чем-то безысходным, безнадежным. Казалось, «Победу» не вытянут эти тощие клячи, и слякоти не будет конца, и солнце никогда не взойдет над этой землей... С профессиональной точки зрения все было написано приблизительно, эскизно, с нарочитой грубостью. и люди, и пейзаж, и лошади — все сделано условно и по рисунку и по живописи. Собственно, живописи там совсем и не было: все намалявано тремя красками, точно художник никогда не знал полутонов и оттенков.

Владимир отвернулся. Взгляд его остановился на другой картине: вьюга завывает в ветвях березы, морозом обжигает печальные с ненавистью в глазах лица русских женщин, подростков. На переднем плане прямо на зрителя идет в окружении фашистских штыков босая, полураздетая, с гордо поднятой головой советская девушка Зоя. Картина названа: «Путь к бессмертию П. Окунев». Зоя написана так, что зрителю кажется, будто он слышит ее дыхание, видит, как дрожат ресницы и шевелятся побелевшие искусанные губы. А в широко раскрытых глазах затаилась такая притягательная сила, что зрители не могут отойти от картины.

В толпе Владимир увидел Люсю и удивился, что она без Бориса. Почему? Под его упрямым взглядом Люся обернулась, и глаза их встретились. Оба одновременно сделали по шагу навстречу друг другу. Она протянула ему руку и задушевно сказала:

— Поздравляю, Владимир Иванович, с большой удачей!

— Спасибо, Люсенька, но я, к сожалению, не могу вам ответить тем же: картина вашего жениха мне не нравится.

Она вздохнула:

— Ах, не говорите, это действительно катастрофа... Впрочем, ничего странного этого надо было ожидать.— И, переменив тон, спросила:— А вы еще не женились?

— Да все времени не выберу,— шутливо ответил он и, спрятав улыбку, спросил:— Ну, а у вас как идут дела?

— Так себе... — неопределенно ответила она — Мы с вами так долго не виделись, что я даже не знаю, с чего начать разговор, хотя мне многое хотелось вам рассказать.

— А почему не звонили?

— Боялась, что вы не станете со мной говорить. Я перед вами очень виновата. И перед многими. Но перед другими-то как-нибудь оправдаюсь, а перед вами — никогда...

Расталкивая толпу, с видом разъяренного вепря подошел Павел Окунев. Не извиняясь, перебил их разговор.

— Идем, я покажу тебе, что делают эти мерзавцы.— Только после этих слов он увидел Люсю и недовольно пробурчал в ее сторону.— Простите, я с вами не поздоровался. Жених ваш имеет катастрофический успех.— И, схватив Владимира за руку, потащил его за собой.

Оглядываясь назад, Владимир глазами извинился перед Люсей: «Ничего не поделаешь, вы уж его простите, должно быть, случилось что-то серьезное».

Когда наконец миновали несколько залов, Владимир спросил:

— Куда ты меня тащишь, в чем дело?

Павел громко ругался:

— Эта банда эстетов совершенно обнаглела. Иди взгляни, что они делают с книгой отзывов. Голос «общественности» создают.

У книги отзывов толпились люди, жаждущие высказать свое мнение о выставке.

Владимир и Павел, пробравшись ближе к столу, остановились за спиной плюгавенького человечка, быстро пиущего свой «отзыв». Владимир сверху, из-за спины, читал: «Потрясен великолепными картинами Льва Барселонского, Бориса Юлина и Н. Н. Пчелкина. Отрадно жить, сознавая, что в одно время с тобой живут и творят такие гиганты кисти Рядом с ними пейзаж Машкова «Родные края» и баталия Еременки кажутся жалкими раскрашенными фотографиями. Творчество Барселонского, Юлина и Пчелкина — вот столбовая дорога советского искусства. Это подлинный социалистический реализм».

Поставив точку, человечек немного подумал и размашисто расписался: «Полковник гвардии С. Попов». Он встал и хотел отойти. Но в этот миг могучая рука Павла Окунева схватила его за ворот.

— Послушай-ка, так называемый «полковник гвардии Попов». Слово «гвардии» пишется впереди, и любой настоящий полковник это знает. А за такие гадости мордубьют!

Человечек съежился, скорчил на лице гримасу и зашипел по-змеиному:

— Отстаньте, хулиган!

И вся толпа жаждущих оставить в книге отзывов свои автографы отпрянула от стола и окружила Окунева. Десятки голосов угрожающе загалдели:

— Позвать милиционера!

— Какое вы имеете право?

— Отпустите человека!

— Да разве это человек? — спросил Павел толпу. — Это мелкий авантюрист с подленькой душонкой!

Мнимый полковник мгновенно растаял в толпе, а его сообщники угрожающе зашипели на Павла, стараясь запугать его.

Машков насильно увел Окунева. Вышли на улицу, сели в такси, но не могли сообразить, куда ехать. Шофер, включив счетчик, терпеливо ждал. Наконец Павел предложил:

— Поехали ко мне. — И назвал шоферу адрес. — Посидим за чашкой чая, сыграем друг другу на пианино что-нибудь душевное: это успокаивает.

В ваших мудрствованиях об искусстве вы игнорируете русское, вы не признаете существования русской школы. Вы не знаете ее, как чужаки России. Эх, господа, господа! Ни крошки патриотизма!

Эстет равнодушен и к России и к правде и даже к будущему своей родины

*И. Репин*

Весна в этом году шла неохотно, она где-то задерживалась. Метеорологи предсказывали сырое и холодное лето, и москвичи не слишком торопились снимать дачи.

О выставке шумели на всех перекрестках. И зрители, и партийная печать резко отрицательно отзывались о картинах Барселонского, Юлина и Пчелкина, но эстеты не унимались. С подозрительной поспешностью готовилось обсуждение выставки, где противники социалистического реализма решили дать генеральное сражение. В победе они не сомневались. Все было заранее продумано, подготовлено, рассчитано: кто с какой речью выступит, кто с репликами, когда аплодировать и когда шуметь.

За несколько дней до начала дискуссии среди художников прошел слух: картины Барселонского и Юлина куплены какими-то иностранцами. Это было похоже на правду. По этому поводу Карен Вартамян говорил Владимиру:

— Видал, на кого работают?

— Что ж, все закономерно. там их поймут и оценят, — с усмешкой ответил Машков.

Карен не понял в словах Владимира злой иронии и выпалил с еще большей горячностью:

— А хлеб-то наш жрут!

В связи с подготовкой к съезду художников распространилась еще одна версия, будто бы секретарями правления Союза художников будут избраны Пчелкин, Винокуров и Иванов-Петренко и будто Барселонский займет пост президента Академии художеств, а Юлин станет во главе Московского отделения Союза художников.

В эти версии Владимир не верил, хотя Павел, почесывая затылок, говорил:

— Дыма без огня не бывает. Чем черт не шутит, когда бог спит. Иначе, скажи: почему с ними миндальничали? За статьи Иванова-Петренку и Винокурова ругали? Ругали. За картины Барселонского и Юлина критиковали? Критиковали. А что толку? С них все, как с гуся вода. А почему так получается, ответь мне?

Владимир не знал, что ответить. Он видел, что Барселонскому и К° каким-то образом удалось завоевать или одурачить МОСХ. Во всяком случае они имели влияние среди части московских и ленинградских художников и, опираясь на них, надеялись провести съезд «по-своему» и прийти к руководству Союзом художников. Правда, на периферии они не пользовались ни авторитетом, ни влиянием. Очевидно, со стороны их подлинное лицо можно было лучше разглядеть.

В «салоне» Иванова-Петренки сочинялись и распространялись на художников-реалистов злые эпиграммы, анекдоты и грязненькие сплетни, чернящие и Машкова, и Еременку, и Окунева, и Вартаняна, и, конечно, Камышева.

Войдя в переполненный зал, где предстояло обсуждение выставки, Владимир понял, что предстоит жестокая борьба. Когда в президиуме появились Камышев, Барселонский, Пчелкин и еще несколько «ведущих» художников, зал восторженно зааплодировал. Николай Николаевич занял председательское место и, не дожидаясь, когда прекратится шум, объявил собрание открытым.

— Нам хотелось бы,— сказал Пчелкин,— слышать здесь не официальные речи и не мелочные дразги, а серьезный творческий разговор о судьбах нашего искусства, о рецидивах натурализма и формализма и о борьбе с ними. Нам хотелось бы, чтобы это обсуждение превратилось в страстную творческую дискуссию, чтобы художники, критики и зрители искренне обменялись мнениями. Мы решили не делать сегодня традиционных докладов о выставке, а начать нашу работу выступлениями с мест. Записавшихся ораторов пока еще нет, но мы надеемся... лиха беда — начало... Итак, кто первый?

Владимир заметил, с какой поспешностью взметнулась вверх рука с листками бумаги, и тотчас к трибуне



шустрой походкой двинулась юркая фигура Винокурова. Семен Семенович заговорил так же быстро, как и поднялся на трибуну. По его мнению, нынешняя выставка «знаменует собой коренной поворот искусства в сторону настоящего искусства». Наконец-то наступила оттепель, и художники могут свободно творить по велению своего сердца. Наконец-то наш зритель увидел обнаженное здоровое человеческое тело, которое ханжески прятали от него чиновники от искусства. За многие годы господства в искусстве чиновников мы, дескать, разучились чувствовать и понимать прекрасное. И сегодня мы рады приветствовать один из первых образцов прекрасного — великолепную картину Николая Николаевича Пчелкина «Женский пляж». Мы также не можем не радоваться смелому решению большой философской темы Борисом Юлиным, не можем не наслаждаться чарующей живописью Льва Михайловича Барселонского, живописью, которую уже сейчас с полным основанием можно отнести в разряд классики...

Безудержный поток хвалебных слов хлестал с трибуны в зал, где то и дело вспыхивали восторженные хлопки и поминутные возгласы: «Правильно!» Воздав хвалу великим, критик мельком коснулся «пейзажа» Машкова, он усиленно подчеркивал, что «Родные края» — это не тематическая картина, а пейзаж, заметив при этом, что такой натуралистической, фотографичной вещи напрасно выделили место на этой интересной выставке. Впрочем, сказал он, Машков не исключение. Критик искренне разочарован последней работой Окунева «Путь к бессмертию», в которой натурализм показал себя во всей своей отталкивающей наготе. Его героиня Зоя лишена живых человеческих черт, это грубый образ какой-то святой девицы, идущей на муки.

«Отсюда мы видим, — говорил Винокуров, — что рецедивы натурализма в нашем искусстве еще очень и очень сильны. Мы недостаточно энергично с ними боремся. У нас есть еще чиновники от искусства, которым нравятся раскрашенные фотографии натуралистов»

Ему аплодировали..

Вторым слово взял Барселонский. Зал гремел от хлопков минут пять. Павел шепнул Владимиру:

— Сегодня они выиграли битву.

— Погоди, еще рано складываешь оружие,— нервно ответил Владимир. Он еле сдерживал себя

Поймав на себе взгляд председательствующего Пчелкина, он знаком попросил слова и Николай Николаевич обещающе закивал головой. Владимир не расслышал первых слов оратора, до его сознания долетели лишь обрывки фраз Барселонского.

— Картина Бориса Юлина наводит на размышления Владимир мысленно и в тон спрашивал оратора: «На какие размышления?» Барселонский говорил: «Хватит гигантомании, народ устал от нее. Пора подумать о кастрюлях». Владимир размышлял: «Странно, точно так же говорят некоторые горе-экономисты, предлагая остановить развитие тяжелой индустрии, обезоружить нас экономически. Какое совпадение взглядов!»

— Хватит с нас героев,— продолжал Барселонский,— довольно эпических тем, пора подумать о личном, о частной жизни и повседневных заботах маленького человека...

Владимир мысленно резюмировал: «Боятся героического, боятся искусства, которое воспитывает людей. Хотят идейно нас обезоружить».

Аплодисменты, крики: «Правильно!» Павел подал Владимиру записку от Петра Еременки: «Чувствуешь настроение «публики»? Выступать здесь бесполезно освищут, обругают, заплюют. Полон зал молодчиков Барселонского и К°. Откажись от слова».

Отказаться от слова значило сдать без боя, капитулировать. «Ну, знаешь ли! От тебя я такого не ожидал, баталист!» — ответил Владимир Петру.

Пчелкин настороженно смотрел на Владимира, словно предупреждал взглядом: «Ну как, ты еще не передумал?» И вдруг объявил:

— Слово предоставляется художнику Машкову. Приготовиться критику Иванову-Петренке.

Владимир поднялся на трибуну и прямо посмотрел в зал. И вдруг ему показалось, что зал смотрит на него не так уж враждебно, как думалось. Он видал и дружелюбные и просто любопытные взгляды. У него был заготовлен конспект, но он забыл о нем.

— Один из выступавших здесь ораторов, произвольно оперируя цитатами, закончил свою речь патетическим восклицанием: «Пусть цветут все цветы!» Я за цветы, но не за все. Васильки, например, тоже цветы, и красивые

на вид, но это сорняки. Я решительно против сорняков в искусстве, даже если они хороши на вид. А у некоторых наших художников и критиков слишком заметно пристрастие именно к сорнякам. Они предпочитают выращивать репей, усердно ухаживают за ним, наряжают в бумажные розы, а настоящие цветы поливают ядом. На словах они ратуют за все цветы, а на деле признают только сорняки.

В зале раздался угрожающий, какой-то неясный не то гул, не то вой. Затем несколько голосов закричали: «Хватит!», «Долой!» А Машков продолжал.

— Тут нас призывали отказаться от больших тем и заменить их «кастрюльными», якобы ради личных интересов рядовых людей. А почему вы думаете, товарищи, что рядового советского человека интересуют только кастрюли? Думать так — значит оскорблять наш народ. Предыдущие ораторы много говорили о новаторстве. Я тоже за новаторство. Однако надо помнить и о том, что вперед нельзя двигаться, не освоив того, что оставили нам в наследство классики. Я имею в виду не ваших классиков, Семен Семенович, не Сезанна и Гогена, а тех русских художников-реалистов прошлого, которых вы называете натуралистами: Репина и Шишкина, Ярошенко и Айвазовского. Вы легко швыряете словами: «гладкопись», «цветная фотография», а зрители часами стоят в музеях у этих картин и видят не рельеф засохших красок, а живую природу, живых людей с их мыслями и чувствами.

В зале раздались топот ног и возгласы: «Довольно, кончай!» Выждав, пока уляжется шум, Владимир продолжал:

— Мы еще не превзошли в портрете Тропинина и Венецианова, Крамского и Перова, не говоря уже о Репине. А пейзажи? Кто из нас превзошел Ивана Ивановича Шишкина, Архипа Ивановича Куинджи или Исаака Левитана? Вы делаете гримасы, стыдливо хихикаете: дескать, это устарело, это пройденный этап, мы и лучше можем. Нет, не можете! Не можете и потому создаете свое «новое» и пытаетесь кого-то убедить, что ваше творчество — шедевры. А на самом деле все эти «Катастрофы» не что иное, как недовольные гримасы противников социалистического реализма. Наше искусство всегда было и будет искусством глубоких идей и пламенных страстей.

Оно воодушевляло и будет воодушевлять народ на великие дела. Критик Винокуров в своем выступлении ни слова не сказал о картине Петра Еременки. А ведь хорошую картину он написал — мужественную, героическую, патристическую. Не нравится она вам — это понятно. Но тогда скажите: чем она не нравится? Станные вещи происходят. Я помню, как критик Винокуров рьяно проповедовал космополитизм, а потом, когда его поругали, с легкостью необыкновенной стал учить нас патристизму. Потом, должно быть, забыв и об этом, снова принялся за свое, зовет нас к эстетству. Где же здесь принципы? Что вы отстаиваете? За что боретесь? Сказали бы правду, хоть раз в жизни!

Когда Машков вернулся с трибуны на место, Павел сказал:

— Хорошо! Только зря волновался, нужно было поспокойней — И крепко пожал ему руку

А с трибуны уже гремел самоуверенный голос Иванова-Петренки. Сделав экскурс в теорию искусства, поговорив о социалистическом реализме, оратор пришел к выводу, что именно натурализм сейчас представляет смертельную опасность для нашего искусства.

— Осужденная и отвергнутая нами серятина в живописи — результат монополии натуралистов, которые связали творчество настоящих художников по рукам и ногам. К счастью, этому, кажется, наступил конец. Пришло время открыть музей нового западного искусства. Нужно извлечь из подвалов произведения подлинных художников-новаторов — Фалька, Штернберга, Марка Шагала, — которые в своем творчестве прокладывают пути для нашего искусства. Пусть народ их посмотрит и оценит!

Павел сказал вполголоса:

— Вишь, чего захотел: кубистов, конструктивистов, футуристов, модернистов пустить в музей! Да народ их давно уже осудил, а приговор народа обжалованию не подлежит

Иванов-Петренко продолжал:

— Выставка, которую мы сегодня обсуждаем, — событие и отрадное и показательное во многих отношениях. Она вселяет веру в представителей настоящего искусства. Картины Барселонского, Юлина, Пчелкина — это более чем хорошее начало. И правильно здесь говорилось: это наша новая советская классика! Я не стану останавли-

вать ваше внимание на грубом, бестактном, я бы сказал, хамском выступлении художника Машкова — он выступал в стиле своих коллег, которые долгое время сохраняли аракчеевский режим в искусстве. Выступление Машкова — это голос бывших, отчаянный крик умирающих, тех, которые путались и еще продолжают путаться под ногами победоносно идущего настоящего искусства, освобожденного от цепей казенщины. Но я хочу призвать вас к бдительности и решительности. Помните, что предстоит еще борьба, что наши противники не намерены отказываться от своих отживших творческих методов. Вы видели их картины: пейзаж Машкова и картина Окунева — это не более как раскрашенные фотографии...

Неискушенному человеку нелегко было понять, кто здесь прав, тем более что и Осип Давыдович и его единомышленники на словах рьяно отстаивали социалистический реализм. Своих противников — реалистов — они просто-напросто для удобства борьбы объявили натуралистами. Впрочем, в свое время и Репин был объявлен натуралистом. Новое в тактике врагов реализма было, пожалуй, лишь одно: обилие цитат.

После Иванова-Петренки слово было предоставлено молодому киевскому художнику Геннадию Репину. По залу легкой волной прокатился шумок: «Родственник?», «Однофамилец?»

Начал он самоуверенно, точно заранее был убежден в особом к нему расположении аудитории:

— Пока что с этой высокой трибуны выступали представители искусства, так сказать, профессионалы. Я думаю, нам желательно послушать и голос народа, для которого мы трудимся. С вашего разрешения я позволю себе зачитать некоторые записи из книги отзывов. — И, уткнувшись в блокнот, с пафосом и с жестами актера начал читать дифирамбы в адрес «трио»: Барселонского — Юлина — Пчелкина, а заодно поливать помоями Машкова, Окунева, Вартадяна и Еременку.

Несмотря на протесты художников, оратор продолжал читать всякий вздор под одобрительный хохот своих единомышленников. В числе прочих прочел и «отзыв полковника гвардии Попова».

— В нашем искусстве наступает эпоха Ренессанса, избавление от Камышевых и Машковых. Подлинное искусство пробивает себе дорогу!

Оратора проводили градом аплодисментов и каким-то неистовым ревом.

Вслед за Репиным должна выступать Люся. Но когда Пчелкин поднялся, чтобы предоставить ей слово, на сцену неожиданно взошел здоровенный усач и в тишине зала под взглядом изумленной публики сказал, обращаясь к президиуму:

— Тут передо мной молодой человек говорил от имени народа, а слова говорил не свои, чужое читал. Получилось нехорошо. Поэтому я, как рядовой человек, не художник и не критик, хочу кое-что дополнить. Моя фамилия Прудов, да, Тимофей Прудов,— повторил он, как если бы кто оспаривал эту истину.— А профессия — проходчик, метростроевец. Так вот, прошу слова.

Из зала закричали: «Дать!» — и Пчелкин приветливо заулыбался:

— Пожалуйста, товарищ Прудов.

Старый метростроевец подошел к трибуне и заговорил негромко, по-домашнему:

— Вот тут сейчас молодой человек, вроде как уполномоченный от народа, отзывы читал. А нашего почему-то не прочел. Мы всей бригадой в той книге записали. И очень даже разборчиво. На выставке много хорошего, но много и плохого. Нам кажется, что нетрудно понять, что хорошо, а что плохо. Вот пейзажи Вартадяна — это очень хорошо, сердце радуется. Стоишь и любишься: до чего Родина наша красива! Я никогда не был в Армении, а вот посмотрел картины товарища Вартадяна, и словно побывал там. Красивая республика. А тут про эти пейзажи никто доброго слова не сказал. Почему? Я не понимаю тех людей, у которых поворачивается язык говорить плохое о картине Окунева «Путь в бессмертие». Вы говорите, что Зоя тут святая. А разве это плохо? Она для нас и в самом деле святая. Ну не в церковном, конечно, не в поповском смысле, а в том, что мы преклоняемся перед этой девушкой за ее патриотическое героизм. Я к этой картине раз пять возвращался и все наглядеться не мог. Художнику товарищу Окуневу спасибо надо сказать, а не обзывать словами разными.

Он умолк, строго посмотрел в притихший, настороженный зал нахмуренным взглядом и заговорил снова:

— Или возьмем картину «Первый бой» художника Еременки. Тоже хорошая картина. У меня на границе

сын погиб в первый день войны, вот так же, как на этой картине. Я приводил на выставку своих внучат, показывал им эту картину и говорил: запомните, ради вас умирали отцы ваши! Эта картина — памятник героям первых боев. Хороший памятник! Спасибо товарищу Еременке. Я вижу некоторым и «Родные края» не нравятся. Ну что ж, на всех не угодишь, я так понимаю. Не всякий человек имеет родные края и не всякий их поймет и полюбит. Для кого родные, а для кого и чужие. Критикам, которые тут выступали, может, и не понять эти края, а мы понимаем. Мы к своей земле душой и телом привязаны.

Машина Иванова-Петренки явно расстраивалась. Хотя на собрании было большинство сторонников Осипа Давыдовича, искусственно образованное не из художников, а из каких-то лощенных хлыщей и раскрашенных нервических девиц, после выступления Тимофея Прудова в зале произошла какая-то перемена. Люди заговорили между собой, начали спорить, не обращая внимания на следующего оратора. Однако, расслышав первые слова Людмилы Лебедевой, зал насторожился.

— Моя задача, — говорила она, — облегчена выступлением товарища Прудова. Много из того, что мне хотелось сказать, он сказал, и сделал это лучше меня, убедительней. Да, сейчас мы слышали настоящий голос народа. И мне думалось: вот бы перенести наше обсуждение выставки в цех, в колхоз и послушать там живой голос народа, а не выписки из жалобной книги, которыми нас потчевал Репин-второй. Итак, о хороших картинах здесь хорошо говорил товарищ Прудов. Коротко скажу о плохих. Уважаемый Лев Михайлович! Многие искренние поклонники вашего таланта удивлены и глубоко разочарованы вашим «Ненастьем». Образно говоря — это ненастье на вашем творческом пути. Я слышала, как одна девушка, стоя у вашей картины, говорила: «Художник этот — не наш человек. Чужой. И мы для него чужие, и жизнь наша для него чужая». Подумайте над этим, Лев Михайлович.

В зале раздался истеричный вопль:

— Безобразие! Вывести хулиганку!

А Люся продолжала:

— Та девушка сказала очень резко, но верно. Дело же, конечно, не в том, что картина Барселонского назы-

вается «Ненастье». Не в погоде дело, а в атмосфере унылой безысходности этой картины, где нет никаких просветов. Ведь вот и в «Родных краях» Машкова погода невеселая, а картина дышит силой, оптимизмом, верой в жизнь. Герой тут — могучий человек, богатырь-преобразователь, то есть герой нашего времени. А ваших героев, Лев Михайлович, нелегко отнести к определенному времени, и нелегко определить их гражданство. Так, люди вообще. Притом какие-то приниженные, жалкие, убогие

— Дождь везде одинаков! — крикнули из зала.

Люся подхватила эту реплику:

— Нет, товарищи, и дождь не везде одинаков! Бывает дождь с солнышком, а бывает и с безысходной тоской. Два слова о «Катастрофе». Я решительно не понимаю причины неумеренных восторгов по поводу этой картины. Бесспорно лишь одно: у автора есть дарование. Но зачем написана эта картина? Что она дает уму и сердцу. Ужас?

— Люди гибнут не только на войне! — крикнули из зала.

— О, нет, погодите, — подхватила Люся — Это разные вещи: погиб человек случайно, скажем, попал под поезд, утонул, и погиб в бою за Родину, как герой. Как можно здесь ставить знак равенства? Говорят, в «Катастрофе» есть глубокая философия: ничто не вечно под луной, над миром висит опасность неотвратимой катастрофы. Философия эта не наша. Она нужна тем, кто готовит новую войну. Она почему-то понадобилась и авторам статьи «Об искренности художника». Кстати, я считаю своим гражданским долгом сообщить широкой аудитории, что эту статью писал не Пчелкин, фамилия которого под ней значится. Ее писали критик Винокуров и художник Юлин. Сначала они предложили мне подписать статью. Я прочла и категорически отказалась, так как считаю ее ошибочной и вредной.

Лебедева говорила еще что-то, но слова ее утонули в невообразимом шуме. Председательствующий Пчелкин, человек находчивый и нестеснительный, так растерялся, что объявил перерыв. В зале раздавались возмущенные возгласы: «Позор!», «Скандал!», «Клевета!»

В общей суматохе Владимир и Люся искали друг друга. Он крепко сжал ее руку, вполголоса приговаривая:

— Вы умница, Люсенька! Я очень-очень рад за вас



и... за себя, за то, что не ошибся в вас! Я всегда верил, что вы не пойдете с ними...

После перерыва Пчелкин не появился в президиуме. Не было его и в зале. Бегство Николая Николаевича было воспринято всеми как признание справедливости разоблачения. Это внесло замешательство в ряды эстетов. И когда новый председательствующий, Лев Барселонский, спросил у зала, кто будет говорить, с галерки раздался возглас:

— Пчелкина на трибуну! Пусть оправдывается!

— Здесь не трибунал, а творческая дискуссия, — недовольно бросил Барселонский. — Прошу выступать.

Зал молчал. Председательствующий еще несколько раз повторил свой призыв и стал о чем-то советоваться с Камышевым. Было очевидно, что те, кто заранее приготовились выступать, теперь уже не решаются подняться на трибуну, и Барселонский объявил собрание закрытым.

Владимир вышел на улицу вместе с Люсей. Она призналась ему, что свадьбы с Борисом никогда не будет, что они разошлись окончательно. Владимиру казалось, что этот вечер полон одних приятных неожиданностей: выступление Прудова и Лебедевой, разоблачение Пчелкина, и вот последняя новость о разрыве Люси с Борисом. Он не мог скрыть своей радости, да и не хотел. Пусть знает, что он ее по-прежнему любит.

Вечерняя Москва сверкала, искрилась и глухо гудела, а двое старых друзей не замечали ни людского потока на тротуарах, ни зеленых и красных огней светофоров, ни свистков милиционеров. Они шли не спеша и говорили не спеша, и слова их были бессвязными, но это были понятные только для них двоих и самые нужные на этот раз слова, которыми выражают не мысли, а чувства.

У Кировских ворот он сказал:

— Вот здесь года три тому назад мы простились с Борисом как соперники. Помните мимозы?

— Это был конец зимы. А сейчас лето.

— Вы любили Бориса?

— Пыталась. А любила другого.

— А сейчас?

— Сейчас мне никто не мешает его любить.

— Бориса?

— Другого ..

У метро «Лермонтовская» он сказал:

— Здесь мы дважды прощались «навсегда».

Она ответила с доверительной улыбкой, вскинув голову к темному звездному небу:

— Тогда здесь не было этих высотных зданий. И площадь Лермонтова называлась по-другому.

— А помните, когда закладывали высотные здания?

— Седьмого сентября сорок седьмого года. В день вашего рождения. Вы на меня тогда очень обиделись. Я была просто глупой девчонкой, которую следовало высечь. К сожалению, этого не сделали ни мои родители, ни вы.

— А по какому праву я?

— По праву самого близкого друга.

На Комсомольской площади, недалеко от Люсиного дома, они задержались.

— Уже поздно, до завтра,— сказала она, но уходить ей не хотелось и она не выпускала его руки. Он с трепетом ощущал прикосновение ее рук, прислушивался к ее неровному учащенному дыханию и был счастлив. А она спрашивала:

— Неужели вам не хотелось взглянуть на свою лучшую картину?

— Хотелось. И сейчас бы не прочь.

— Сейчас поздно. Потерпите до завтра. Вы очень терпеливы. Мне сейчас подумалось: сколько я вам страданий принесла. Забыть их нельзя, я это знаю. А вот простить, сможете ли вы простить меня когда-нибудь?

— В старину говорились: бог простит. А нам самим эти вопросы решать приходится.

Давно не видела Валентина Ивановна таким счастливым своего сына. Счастье было написано на его лице, искрилось в синих глазах, как-то по-особому потемневших и возбужденных. Валентина Ивановна не спала, она ждала его, чтобы сообщить важную весть.

— Звонили от академика Камышева, просили непременно позвонить. Вот телефон...

Конечно, она могла все это написать ему в записке и лечь спать, но разве можно уснуть, не дождавшись сына, которого ночью разыскивает известный академик!

Владимир взглянул на часы — удобно ли беспокоить старика? Мать, видя его нерешительность, сказала:

— Обязательно просили позвонить.

К телефону подошел Камышев, сказал с деланным укором:

— Допоздна, милый, по ресторанам засиживаешься!

— Я не был в ресторане, Михаил Герасимович. Собрание-то какое было! Тут о еде и вовсе забудешь.

— А ты ко мне приезжай, вместе и поужинаем.

Хорошо ехать ночью по свободным, просторным магистральям Москвы!

В пути Владимир гадал: «Зачем все-таки я ему понадобился? Наверно, гости собрались у старика. Может быть, день рождения или золотая свадьба. Тогда как-то неудобно без подарка..»

Михаил Герасимович сам открыл ему дверь и сказал у порога:

— Один? А я думал, притащишь солдат из своего войска.

— Каких солдат?

— Да воинов нашего реалистического фронта. Ну хоть Еременку, Окуневу, Вартаняна да искусствоведку, как ее? Журавлеву или Лебедеву? Оказывается, толковая девица!

Не поймешь его, издевается, что ли? Хотя не похоже — голос мягкий, ласковый, с какими-то теплыми отеческими нотками, в усталых блеклых глазах светится доброта.

В доме тишина. Прошли в мастерскую — и там безлюдно. Значит, никакого веселья? Глаза Владимира разбежались по эскизам, этюдам, незаконченным и законченным картинам. В каждой вещи чувствовалась уверенная рука талантливого живописца. Вот лагерь Емельяна Пугачева, а вот Ломоносов в родной деревне, Пушкин в Оренбурге, русская тройка, а вот горят помещичьи усадьбы. Владимир повернулся в другую сторону. Ленин среди рабочих, цветущий луг у Волги, старинный шлях. От восхищения Владимир расширил глаза и мысленно произнес: «Тут русский дух, тут Русью пахнет»

Старик сел в кресло у круглого столика, на котором — две бутылки, холодная осетрина, ветчина, соленые огурцы и отварная картошка, сказал ласково:

— Смотреть потом будешь, садись перекуси, да и поговорим.

Он пододвинул Владимиру тарелку, а себе достал сочный крупный огурец, разрезал пополам и начал есть с аппетитом, звучно похрустывая. Выпили по рюмке.

— Я собирался выступить ближе к концу, да видишь, как дело обернулось.— В глазах Камышева заиграли веселые искорки.— Пчелкин-то сбежал. Ах, прохвост! Это вы его ловко поймали. Молодцы, ребята! Сегодняшним днем я доволен. За вас рад. умеете постоять за себя. За правду драться умеете. А это не так просто. Ложь, она хитра, коварна и норовит нарядиться в чужую одежду. Слышал, они тоже за социалистический реализм, за его неограниченное многообразие, за свободу творчества! Знаю я, какой они свободы хотят! Им нужна свобода расправы над инакомыслящими, свобода командования искусством, чтобы они могли изготавливать всякую стряпню и выдавать за шедевры, создавать своих «гениев» и «классиков». Им нужна свобода на запрещение социалистического реализма в искусстве. Понимаешь? Свобода на запрещение! Мы не дадим им этой свободы. Партия не позволит. В искусстве идет борьба. Она то затихает, то вскипает с новой силой.

— Трудно нам, Михаил Герасимович, и больно.

— Я тебя понимаю. Я тоже когда-то был молодым и таким же горячим, как ты. И тоже трудно было и больно, когда кругом тебя галдела всякая сволочь — кубисты, модернисты, футуристы, экспрессионисты.

— Раньше вам легче было, потому что все эти «исты» выступали под собственными знаменами и не выдавали себя за реалистов,— вставил Владимир

— Да, но тогда они выдавали себя за революционеров, за представителей нового, прогрессивного и даже пролетарского искусства.— Голос у старика мягкий, певучий, отчего речь кажется медленной, вдумчивой. В зубах — погасшая трубка.— Хотя и теперь много кричат о новом,— продолжал Камышев,— «новая обстановка», «новая ориентация», «переоценка ценностей»...

— Прибавьте к этому «реванш»,— вставил Владимир, но Камышев продолжал свою мысль: видно, очень ему хотелось отвести душу.

— В одном журнале статейку напечатали: требуют открыть в Москве музей так называемого нового западного искусства, то есть музей эстетско-формалистического кривлянья. В свое время в Москве был такой,— пояснил Камышев.— Снобствующий купчишка Щукин открыл. А зачем нам такой музей? В Москве еще нет музея советского искусства. В Третьяковке теснимся.

Все это, говорят, нужно молодежи: дескать, пусть знакомится с прошлым, поскольку формализм — это уже история и никакой тут борьбы не должно быть. Какая трогательная забота о художественной молодежи! Я знаю, это идея Барселонского, он давно с ней носит как с писаной торбой. Предлагает поставить этот вопрос на президиуме академии. Вот я и думаю: ну, дадим им эту «свободу», откроем музей Синьяка и Сезанна, а ты думаешь, они успокоятся? Палец дашь — руку откусят. Третьяковку, может, и не рискнут закрыть, зато Шишкина и многих других народных художников из залов повыбросят. По-ихнему, это уже не искусство. Им только дай волю, они и Художественный театр закроют, чтобы чеховским да горьковским духом не пахло. Уже и теперь на сцену МХАТа тянут всякую пошлятину. Смотреть противно. Ты читал их статьи о театре? Мол, МХАТ — не Горького, не Станиславского, не Чехова, а Виктора Франка. Слышал такого драматурга? Тоже наследник мхатовских традиций. Традиции растерять легко, особенно если к этому стремишься.

Он замолчал, нахмурился, глаза вдруг сделались сердитыми, брови сошлись в одну линию, на лицо точно туча нашла:

— Переоценка ценностей, реванш. И переоценивают везде, где только можно. Даже в Большой энциклопедии.

— Выходит, вы согласны со мной, что трудно нам? — спросил Владимир.

Не ответив Владимиру, Камышев продолжал:

— Дряни всякой много в ногах путается. Народ оценит, всех на свое место поставит. У народа глаз правильный. Время — самый справедливый судья. В жизни ведь разное бывает: бездари и авантюристы могут при жизни в гениях ходить, даже не подозревая, что эдак лет через пять их имена забудутся и не вспомнятся.

— Но для этого нужно, чтобы «глаз народа» мог увидеть хорошие произведения, — возразил Владимир. — Сколько тратится сил на борьбу с этой дрянью, чтобы пробиться на суд народа! Я говорю о молодежи, о первых ее шагах. Потом-то бывает легче.

— Легче? Нет, и потом не бывает легче. Ты думаешь, меня не трогают?

— Вас они боятся.

— Боятся? Не очень. Анонимками одолели. Куда только не пишут и чего только не сочиняют! И пьяница, и развратник, и вор, и убийца, и бог знает кто я и что. А все с той поры, как была напечатана в «Правде» моя статья против эстетов и космополитов. Тогда и начали пускать сплетни, анекдоты, сочинять небылицы. А до статьи я был всем хорош, фирмам курили, пятки лизали. А чего греха таить, мы это любим, есть у нас такая слабость.

Старик, словом, разоткровенничался. Он смотрел на Владимира доверительными глазами, в которых светилось нечто озорное и залихватское.

— Подумайте, Михаил Герасимович,— заклинал его Владимир,— речь ведь идет о судьбе искусства! Подумайте, в какое время мы живем. Мне иногда кажется, что многие не понимают опасности, которую представляют эстетство и формализм. Кто они такие эти эстеты? Что они дали нашему искусству? Ни одного подлинного таланта. Все поддельное, выдуманное, раздутое. Чьи имена написаны на их знамени?

Поймав на себе добродушную, снисходительную улыбку Камышева, Владимир обидчиво замолчал. А старик, положив ему на плечо свою крепкую мужицкую руку, сказал:

— Это ты правильно подметил: советское реалистическое искусство они не любят, боятся его. Их тянет к космополитизму, к тому, что без национального запаха и вкуса, без цвета и без души. Вот тебе наглядный пример: сравни творчество Пластова и Барселонского. Я не поклонник таланта Пластова. Неровный он. Но художник большой, с душой, и народ его понимает. А почему? Потому что и Пластов понимает народ. Умеет передать мир таким, каким чувствует и воспринимает его русская душа. А картины Барселонского простой человек не понимает; в них души нет. А уж на что Барселонский старается быть ни на кого не похожим! Мудрствует, подделывается под народ. Но подделка ведь называется фальшивкой!

— Услыхал бы вас Барселонский!

— Его излюбленный лозунг: «Искусство не знает границ». Лозунг верный, только Барселонский понимает его неправильно. Не знает границ только национальное искусство. Интернациональным оно становится благодаря

национальным достоинствам. А Барселонский и его единомышленники думают, что интернациональное — значит вненациональное. Они убеждены, что английскую действительность, например, могут с равным успехом изображать китайцы, китайскую — немцы или англичане, индийскую — французы, русскую — турки... Ералаш, чепуха! Это уже не искусство, а то, что немцы называют — эрзац

— Именно Эрзац! — в негодовании воскликнул Владимир.

Камышев посмотрел на него с дружеским участием.

— Мне нравится, милый, твой пыл. Только горячиться нужно в меру. Ты одно твердо помни... какие бы штормы ни бушевали в нашем море, партия коммунистов никогда не отдаст искусство в руки эстетов, никогда! В этом я могу заверить тебя, как старый коммунист. Ты в каком году родился? В двадцать первом? Вот видишь, ты родился, а я в это время в партию вступил. Я, милый, имел счастье Владимира Ильича с натуры рисовать.

Владимир знал об этом и попросил:

— Расскажите о нем, Михаил Герасимович...

Камышев поднялся, тяжелою, устало взял небольшой портрет Ленина, приставил к мольберту, сказал:

— Вот мой рассказ. Я тридцать лет вынашивал этот образ. И, знаешь, по секрету тебе скажу: боялся умереть, не закончив его — Камышев вздохнул. — Возраст, милый, от этого никуда не уйдешь.. А вот твои внуки, наверно, будут за сто лет жить...

Он прикрыл глаза, будто припоминая что-то очень большое и значительное, и уже через минуту заговорил:

— Между прочим, у Ленина есть очень глубокое, очень мудрое замечание о том, что искусство принадлежит народу, что оно должно быть понятно и любимо широкими массами. Оська тоже иногда цитирует эти слова, только начало фразы. А конец опускает. Потому что искусство, которое они отстаивают и создают, не понятно массам и не любимо ими. Есть у нас писатели, художники, композиторы, которые в классиках ходят, а произведения их народ не понимает и не любит. Под народом Ильич подразумевал широкие массы трудящихся, а не всяких ~~ш~~тыщей и тунеядцев.

Разговор продолжался всю ночь. Владимира подмывало спросить: «Почему же вы, Михаил Герасимович, все-таки не выступили на дискуссии? Почему не изложите с присущей вам прямоотой свою точку зрения на эстетов «в верхах», где, как казалось Владимиру, не дают себе ясного отчета в серьезности положения, в котором оказывается наше искусство?»

Но он так и не отважился на этот вопрос. Он с воодушевлением рассказал Камышеву о своей встрече с инструктором ЦК Козловым и о том, что Козлов правильно понимает обстановку.

— Козлов — человек верный, партийный и дело знающий, — подтвердил Камышев — Да только еще и Варягов есть.

Владимир слышал о Варягове много нехорошего и все же решил спросить:

— А кто он такой, этот Варягов?

— Так себе, никто. Ловкий приспособленец. Неглупый, хитрый, вышколенный демагог, конъюнктурщик и карьерист. Цитаты знает, говорить и писать красиво умеет. Что еще о нем можно сказать? Обожает Барселонского и ненавидит Репина.

Владимир задумался. Тяжелыми камнями падали прямо в душу эти резкие откровенные слова народного художника

— Вот тут и борись с Барселонским, — с тяжелой грустью молвил Машков.

— О-о-о, милый, да ты в самом деле нос вешаешь. Варягова испугался Варягов сегодня есть, а завтра его может и не быть. Такие недолго держатся. А бороться с ними надо не столько статьями в печати, сколько картинами. Чтобы народ мог видеть и сравнивать твое творчество и Барселонского. А народ разбирается, он понимает, его не купишь дешевым фокусом. Он разберется, где настоящее искусство, а где подделка.

Камышев показал Машкову книжицу с автобиографией Барселонского. Тот прочитал, вытаращил глаза от удивления и не мог слова сказать.

— Да, вот так, — начал Камышев — Ежели, скажем, я, ты или кто-нибудь из не угодных Барселонскому людей когда-нибудь сделает пустяковый грешок, сгоряча не то слово скажет, — это ляжет пятном на всю жизнь. Уж



Оська раздует пожар на всю вселенную, тут они постараются сделать из тебя изверга рода человеческого. Так запятнают и выпачкают, что до самой смерти не отмоешься. Всюду будут кричать: «Смотрите, это Машков, это он гениального Барселонского өслоm обозвал!»

— Словом, сделают одиозной личностью, — подсказал Владимир — Экстримистом обзовут.

— Именно, именно одиозной Это их любимое слово. А сами? Ого-го-о! Попробуй напomini им старые, да даже и совсем новые, свежие грехи — на весь мир завопят. «Нас вытесняют, нам не доверяют, дискриминируют. Мы давно раскаялись» Они только и делают, что грешат и каются. Грешат от души, по убеждению, а каются для видимости. Ты думаешь, только у Барселонского такая биография? Да на том же Оське чистого места нет, пробы ставить негде. И с эсерами, и с троцкистами, и с кем только он не якшался. А Оське хоть бы что Он живет, здравствует, процветает и делает свое грязное дело. Вот так-то, милый. Борьба с ними была и будет нелегкой, потому как живем мы в очень сложной международной обстановке Тревожное время. А они пользуются этим. И кричат: «Консолидация! Существование в идеологии!» А на какой основе консолидация, извольте их спросить? С какой идеологией сосуществовать?

Начали прощаться. Михаил Герасимович порылся в книжном шкафу, достал несколько томиков Ромен Роллана, подал Владимиру:

— Вот возьми, почитай, когда на душе будет тяжело. Помогает Нам надо быть сильными.

— «Жан-Кристоф»? Читал когда-то... — но книжки взял.

Расстались они на рассвете Владимир чувствовал, что обрел себе большого и прекрасного учителя. «У меня есть учитель», — с гордостью повторял он про себя эти слова.

Дома сон не приходил, и усталости не чувствовалось. Лег на диван, головой к раскрытому окну, взял первый попавшийся том «Жана-Кристофа» и начал листать. Книга была зачитана, на полях пестрели пометки, сделанные ногтем. Владимир стал читать отмеченные места.

«. В противоположность Кристофу Леви-Кэр представлял дух иронии и разложения, дух, который мягко, вежливо, исподтишка подкапывался под все великое, что было в умиравшем старом обществе: под семью, брак, религию, родину, в искусстве — под все мужественное, чистое, здоровое, народное, под всякую веру в идеи, чувства, в великих людей, в человека. В основе всего мышления этих людей лежало лишь то чисто механическое удовольствие, которое получают они от анализа ради анализа, — какая-то животная потребность подтачивает мысль, какой-то инстинкт могильного червя. И наряду с этим идеалом грызуна на ниве культуры — чувственность проститутки и синего чулка одновременно, ибо у него все было или становилось литературой...»

«...Не один Люсьен Леви-Кэр подтачивал социализм. Социалистические газеты кишели этими писателишками, представителями искусства для искусства, салонными анархистами, захватившими все дороги, ведущие к успеху. Они преграждали путь другим и заполняли своими декадентскими подделками под мысль и своим *struggle for life*<sup>1</sup> газеты, именовавшие себя рупором народа. Они не довольствовались доходными местечками: им требовалась слава. Нигде еще не воздвигали столько статуй, и с такой поспешностью никогда еще не раздавалось столько речей у подножия глиняных гениев...»

Пометки были во всех томах, но Владимир не стал сейчас их читать. Он был изумлен и ошарашен прочитанным. Как он раньше не заметил этих мест в романе?

«Но кто делал эти пометки? Камышев? А может, и не он. Хотя какое это имеет значение!»

Он положил раскрытую книгу себе на грудь и прикрыл глаза, вспоминая откровенные и крепкие слова Камышева.

Он сказал что-то о чечевичной похлебке... В связи с чем? Ах, да, Пчелкин... «Такие продадут за чечевичную похлебку и свою совесть, и социалистический реализм. А, впрочем, какие идеалы у Пчелкина? Беспринципность».

Вспомнился последний разговор с Пчелкиным.

---

<sup>1</sup> Борьбой за жизнь (англ.).

«Ты говоришь, что «их вера — деньги», — энергично наступал Пчелкин на Машкова. — Тогда непонятно, ради чего они проповедуют искусство, которое ты решительно называешь эстетским. Эстетство у нас неденежно, сам знаешь, и довольно хлопотно».

Кругленькие крапистые глазки Николая Николаевича торжествовали. Он заранее подготовил этот, как ему казалось, каверзный вопрос и теперь с удовлетворением, словно капкан, набросил его на Владимира. Он ожидал, что тот ответит. «На международный капитал работают». Но Владимир сказал неожиданно совсем другое:

«Ты помнишь того американского осла, который хвостом писал картины? «Живопись» его мало отличалась от живописи некоторых эстетствующих снобов».

«Что ты этим хочешь сказать?» — настороженно спросил Пчелкин.

«А то, что в таком «искусстве» совсем не трудно осла выдать за гения. А для Осипа Давыдовича именно это и важно. Искусство реализма он отвергает не потому, что принципиально не хочет писать так, а потому, что его единомышленники не могут так писать по причине отсутствия таланта».

«Не согласен, — решительно замотал головой Пчелкин. — Среди так называемых эстетов много одаренных людей». Теперь он к слову «эстеты» непременно прибавлял «так называемые».

«А в сущности он просто-напросто трус, — думалось теперь о Пчелкине. — Испугался Осипа Давыдовича и его машины, которая может или раздавить или вознести. Пчелкин предпочел второе. Но какой ценой?»

Искусство не прощает ренегатства: все это со временем скажется и на творчестве Пчелкина, непременно скажется. С кем поведешься, от того и наберешься. История знает немало таких примеров.

Пчелкин говорит, что народу надо помочь понимать Барселонского. А Барселонский говорит, что картины Репина — это раскрашенные фотографии. Так неужто мы зачеркнем Репина и Шишкина и на их место поставим Барселонского и Юлина? По Пчелкину выходит, если народ не понимает эстетов, не восторгается их мазней, то нужно внушить ему, что он — народ —

дикарь, и заставить его видеть то, чего нет, и не видеть то, что есть

Владимир поднялся и босиком, чтобы не шуметь, вышел в ванную принять холодный душ. Когда вернулся в комнату, мать была уже одетой. Она смотрела на сына внимательным взглядом, пытаясь проникнуть ему в душу. Материнским сердцем она угадывала настроение сына даже тогда, когда он старался скрыть от нее свою душевную боль. Она не любопытствовала, зачем приглашал его академик, должно быть, догадывалась, что ничего особенного не случилось. Лишь спросила:

— Ты поздно приехал? Уснуть не удалось?

Он улыбнулся и покачал головой.

— Что ж не ложишься? Поспал бы часок,— заботливо предложила она

— Не хочется, мама. А ты что так рано поднялась? Сегодня ведь воскресенье. Наверно, я разбудил?

— Да нет, Володя, мне что-то плохо спится. На сердце беспокойство какое-то. Будь осторожен, сынок, на рожон зря не лезь.

Владимир не умел быть осторожным и отлично понимал это. В борьбе он не умел и не хотел ни ловчить, ни изворачиваться. Он хотел бороться открытыми, честными приемами.

«Бойтся за меня, переживает»,— подумал он, глядя в испещренное уже далеко не мелкими морщинами лицо матери. Вспомнил, что вчера вечером убежал из дому, так и не успев ей ни о чем рассказать, и как-то стало неловко за свою невнимательность. «А ведь она волнуется, живет моими заботами и страдает вместе со мной»

Он взял ее руки, грубые, мозолистые руки труженицы, каждую морщинку которых он знал на память, и поднес к своей горячей щеке

— Эх, мама, родная моя, знала бы ты, какая это ночь была и вчерашний вечер! Такие в жизни бывают очень-очень редко.

— О чем ты с ним говорил? — спросила мать, имея в виду Камышева.

— С ним? Не только с ним. Это было уже потом. А сначала другое. С обсуждения все началось.

— Вы победили? — спрашивала она нетерпеливо.

— Не совсем. Они не победили. А мы научились бо-

роться. Силу свою почувствовали. Ты присядь и слушай. Начну по порядку.

Мать присела на край дивана, слушала подробный рассказ сына о том, как происходило обсуждение выставки. Когда же Владимир дошел до выступления Люси, он поднялся, остановился посредине комнаты и, подкрепляя слова свои сильными убедительными жестами, говорил с необычайным воодушевлением:

— Это было вообще самое интересное и самое умное выступление (Владимиру по крайней мере так казалось). А финал его прозвучал, как взрыв атомной бомбы. Они не ожидали, растерялись. И крыть было нечем. Нет, ты понимаешь, мама, какая она молодчина! Настоящий борец. Все наши ребята восхищались ею. Я даже не ожидал от Люси такого. Все-таки она настоящая. Ты просто ее не знаешь.

— А разве я что говорю,— точно в чем-то оправдываясь, но все же несколько сухо вато заметила мать.

— Я же знаю, мама, ты ее почему-то недолюбливаешь. Тут какое-то недоразумение. Она славная.

— Может быть, сынок. Я же ее совсем не знаю, что она за человек. Я за тебя боялась: доверчивый ты очень, характер у тебя прямой. Простой ты, бесхитростный. А люди всякие бывают. Вон вишь, какой он, оказывается, Николай Николаевич, и не подумаешь. А со стороны — душа человек, вежливый такой, культурный, ручки целует, здоровьем интересуется. Внимательный. И что ему только надо, зачем он с такими подлыми людьми дружбу водит? Купили они его, может?

— Запугали,— коротко ответил Владимир, не желая вдаваться в подробности.

— Честного человека не запугаешь. Ты сам же говоришь: Камышева как уж пугали, а он все одно не дает им спуску.

— Камышев, мама, могучий человек. Если бы не такие, как он,— трудновато бы нашему искусству доставалось. Ведь он всю эту компанию барселонских насквозь видит. Они его ненавидят и боятся. А вот сидел у него, слушал его взволнованные, тревожные слова, смотрел его работы и все время ловил себя на мысли, что я нахожусь у Репина, у огромнейшего русского художника и человека. Какой человек, какой сильный и

мудрый! Вот говоришь с ним — и веришь: никогда никаким барселонским не убить, не уничтожить национальной культуры народа, большого или маленького, не оторвать искусства от партии, не увести художников от жизни, не развратить народ наш эстетской стряпней.

Валентина Ивановна слушала сына и чувствовала, как в душе ее вместо неясной тревоги рождается чувство гордости и радости.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Подлость последовательна. Речи, как мед, а дела, как полынь,

*В. Гюго*

Подмосковье в начале весны напоминало огромную с лесистыми островами реку в канун ледохода. Таял снег. Туманились поля. В ложбинах под сугробами робко журчали ручьи, их голоса с каждым днем становились все слышнее, нетерпеливее, приглушенный ропот под снегом сменялся бойким говорком на поверхности. Со всех сторон теперь бежали ручейки к реке Москве, и она под напором внешних вод разбухала, тяжело вздрагивала, раздавался глухой треск.

Люди стояли на берегу в настороженном ожидании. Они слушали, как трещит лед, и этот треск отзывался в душе радостным эхом. Люди знали, что лед скоро тронется и начнется могучий паводок, который унесет с собой все ненужное, случайное и дрянное, что скопилось за зиму на поверхности, очистит луга, а после первого грома пойдут теплые дожди, напоят землю живительной влагой, от которой сочно зазеленеют деревья и травы, свежо и ярко распустятся цветы.

За рекой, на теплой даче, будто прячась от простудной весны, дозимовывал Лев Михайлович Барселонский. Одетый в легкую, на гагачьем пуху, шубу с бобровым воротником, он степенно расхаживал по очищенной от снега дорожке и посасывал погасшую трубку, сосредоточенно думал.

В собачьей будке, высунув на снег передние лапы и положив на них тупую, обрубленную морду, насторожен-

но дремал рыжий боксер Граф Серая здоровенная овчарка по кличке Князь шла следом за хозяином на расстоянии четырех-пяти шагов, прилежно выполняя обязанности телохранителя.

За забором глухо хлопнула дверь автомобиля. Граф с сильным лаем бросился к калитке. Князь подал голос, но от хозяина не отошел: должно быть, не имел права оставлять свой пост без особого на то приказа. Плотный приземистый мужчина в бобрах размашисто переступил порог. Недоверчивый Граф бесцеремонно обнюхал его, затем приветливо вильнул куцым хвостом и снова с деловым видом забрался в будку: вошедший был свой человек.

Лев Михайлович ждал Осипа Давыдовича именно в это время и по важному делу. Они обменялись понимающими улыбками

— Хорошая погода,— сказал Иванов-Петренко, энергично подавая Барселонскому теплую руку. Вид у него был бодрый и решительный.— Оттепель!

— Хорошая оттепель,— подтвердил Лев Михайлович, испытующе посмотрев собеседнику в глаза. Осипу Давыдовичу был знаком этот внимательный, выматывающий душу взгляд, но он всякий раз терялся в догадках, чего именно ждет от него мудрый Лев, и, желая угодить ему, Осип Давыдович пообещал:

— Завтра зарвавшийся гений получит хороший подзатыльник ..

Барселонский понял, что речь идет о Камышеве, но отнесся к этому пренебрежительно. Он поморщился и вяло, словно отстраняя обещание Осипа Давыдовича, промолвил:

— Камышева можно теперь оставить в покое. Не это сейчас главное. А потом, откровенно говоря, он почти неуязвим и все ваши сплетни о нем не действуют, гаснут, как спички на ветру.

«Ваши сплетни»? Это обидело Осипа Давыдовича. А разве он, Лев Барселонский, не участвует в травле Камышева, Машкова, Еременки? Разве не от него исходят все замыслы? Почему же он хочет отмежеваться?

Барселонский понял свою оплошность, но слово — не воробей. Он взял гостя под руку и с нарочитой заботливостью сказал:

— Погода действительно стоит отменная. И напрас-

но вы глотаете газы в Москве Сидели бы на даче. Скучно? В таком случае перебирайтесь ко мне. Здесь воздух целебный.

— А дела московские? Ради них есть смысл жертвовать и воздухом.

— Да, конечно, жертвовать сегодня, чтобы иметь его завтра и навсегда, этот чистый здоровый воздух,— согласился Барселонский.

Они хорошо понимали друг друга. Здесь они были взаимно откровенны и могли называть вещи своими именами.

Сделав неторопливый круг по сосновой аллее, они вошли в дом.

Двухэтажная смолисто-пахучая дача Барселонского была построена в прошлом году по проекту самого Льва Михайловича. Нижний этаж занимала большая гостиная, отгороженная от столовой легкой раздвижной перегородкой. В гостиной все предметы, все до единого, были сделаны из дерева. Замысловатая люстра, сработанная искусным мастером, представляла собой дубовую ветку, украшенную желудями-лампочками. Два деревянных бра имели вид овсяных стебельков с колосьями. Даже камин с витыми дубовыми колоннами, вмонтированный в книжный шкаф, был облицован не мрамором, не керамикой или майоликой, а самым настоящим мореным дубом.

Сосновые, гладкотесанные, пахнущие смолой стены сплошь увешаны картинами в нарочито простеньких деревянных рамках без позолоты. Репродукций и копий не было — все подлинники, большей частью нерусских художников, многие с дарственными надписями.

В гостиной было сумеречно, но Лев Михайлович света не включал. Сняв шубу, он зажег в камине заранее приготовленные прислужой дрова и опустился тут же в кресло, подставляя огню слегка замерзшие руки. Осип Давыдович сел напротив. Собеседников разделял круглый, невысокий, но довольно массивный столик, заваленный газетами и журналами, которые в большом изобилии шли к Барселонскому по подписке из-за рубежа.

— Много интересного пишут. — Барселонский кивнул головой на столик, не переставая глядеть на веселые космы огня в камине. Дряблое лицо его багрово



светилось, покрылось розовыми пятнами.— Много справедливого и дельного. Я уже не говорю о французских коллегах. Посмотрите польскую, венгерскую печать. Вот статья Тадеуша Кавалькевича, называется «Посмертная трагедия Станиславского». Убедительно? Очень. Станиславский и его эпигоны превратили театр в храм служения культу Сталина, культу Горького и даже культу Станиславского. Спасти театр может только освобождение его от оков так называемого социалистического реализма. Другого выхода нет. Впрочем, это касается всей культуры. Наши зарубежные друзья — молодцы: они сразу взяли правильный темп и верный курс.

Осип Давыдович умел слушать «самого Льва» не перебивая, с острым вниманием. Барселонский сделал длинную паузу и, не говоря ни слова, порылся в газетах, быстро нашел нужный номер и протянул гостю. Осип Давыдович развернул газету, но читать не стал.

— Я не знаю языка. В чем смысл этой статьи?

— Смысла не много. Но есть один пикантный тезис — о несостоятельности теории соцреализма как творческого метода. Короче, это звучит так: соцреализм — выдумка Сталина, Жданова и Горького; как творческий метод он себя не оправдал на практике; весь так называемый расцвет советской литературы и искусства на поверку оказался блефом, ибо они служили только культу Сталина.

— М-да, смело, очень смело, я бы даже сказал — отчаянно, — покачал тяжелой головой Осип Давыдович. — Хотя и далеко не бесспорно.

— Смело с точки зрения вчерашнего дня. А сегодня это уже обычно, в порядке вещей. Времена меняются, любезный друг. Медлить преступно. И не мы с вами сочинили мудрый девиз: куй железо, пока горячо. Нужно добиваться пересмотра партийных решений о литературе и искусстве. Это раз — Лев Михайлович нахмурился, точно для отражения удара выставил вперед узкий в морщинках лоб, оттопырил нижнюю губу, умолк, выжидая, когда закрепятся в памяти собеседника сказанные им слова, прикрыл глаза дряблыми веками в синих прожилках. Посмотрел в глаза Осипа Давыдовича и с доверительной прямоотой продолжал:

— Соцреализм надо серьезно подправить, во всяком случае расширить его границы до Фалька и дальше.

И вообще, соцреализм — это не метод, это скорее, мировоззрение.

Осип Давыдович запоминал установки Барселонского, изредка косясь на собаку, вытянувшуюся у ног хозяина. По лестнице спустился в гостиную здоровый мордастый парень Жора — шофер Барселонского. Он без слов кивнул Осипу Давыдовичу и вышел в сад.

Барселонский подложил в камин еще три сухих березовых полена и, выждав, когда с веселым шумом, ежась и завиваясь, вспыхнула береста, продолжал, раскуривая трубку:

— Нужно смелее идти к вузовской молодежи. Именно к ней.

Борис Юлин сидел в своей просторной мастерской и нетерпеливо поглядывал на большие старинные часы с мелодичным боем. Мягкий процеженный свет падал сверху из большого стеклянного фонаря на два мольберта, стоявшие посередине мастерской.

Стены увешаны цветами и натюрмортами юлинской работы (чужих работ, кроме некоторых нужных ему репродукций, Борис не терпел). Свои же пестрые этюды висели у него на московской квартире, и на подмосковной даче, и на второй даче Юлиных в Сухуми, недавно построенной и записанной на имя жены Бориса — Нины. В мастерской же, подальше от глаз жены, висели две пикантные картины. На одной из них изображалась обнаженная белокурая девица. Она стояла во весь рост, беспечно улыбаясь, и мохнатым полотенцем вытирала розовое, распаренное ванной, упругое тело. Борис писал ее с натуры в ванной своей мастерской, писал долго... Он звал ее Наденькой, ей было девятнадцать лет, она училась на первом курсе какого-то института. А может, и не училась...

Борису нравилась эта картина не меньше, чем сама натурщица, теперь уже вышедшая замуж. Он верил: когда-нибудь картина эта украсит залы Третьяковки, а может, и Лувра.

На второй картине перед развалившимся на тахте пьяным гитлеровским офицером стояла со связанными за спиной руками девушка, брюнетка, лет двадцати. Темные, как ночь, волосы ее растрепаны, большие черные глаза

извергают ненависть и презрение к насильнику. Девушка была в одной сорочке, сползшей с плеч и обнажившей юную грудь. Лицо овальное, с тонкими правильными чертами. О, эта натурщица стоила Борису недешево, но зато какая память!

Борис теперь ждал Аллочку, с которой познакомился позавчера, а вчера уже начал писать ее портрет. Она приглянулась ему на стадионе в Лужниках в послематчевой сутолоке. Ах, какая это прелесть, свежесть, небесное создание!

— Простите, пожалуйста,— заискивающе, с деланной робостью пролепетал Борис, остановив немножко смущившуюся девушку,— простите, что я вынужден к вам обратиться вот так.. Я художник, пишу сейчас большую картину о молодежи. И мне очень хотелось бы написать вас, ваше лицо...

Он обрывал фразу, строил глаза, полные восторга и мольбы. И стоило девушке лишь открыть рот, как он стремительно перебивал, пытаясь обезоружить ее:

— Ну что вам стоит — два-три сеанса по два часа? Получите свой портрет.

Девушка сначала краснела, отказывалась, правда, нерешительно, смущенно, но соблазн увидеть себя на картине и получить свой живописный портрет был столь велик, что она наконец согласилась. Борис записал ее телефон. Заманил к себе в мастерскую, но был отменно корректен и ласков при первом сеансе. Так было сперва и с Наденькой, и с Нелли, и другими. А эту звали Аллочка. В награду за первый сеанс он уговорил ее принять подарок — дорогие духи и набор шоколадных конфет.

И вот, Аллочка пришла на второй сеанс. Юлин обрадовался, усадил ее, взялся за палитру, но вскоре пожаловался.

— Не в ажуре я сегодня, Аллочка. Такое у художников иногда случается.— И с преувеличенным огорчением отложил в сторону палитру и кисти.— Напишем, времени у нас пропасть. В самом деле, зачем вам на год искать работу? Приходите ко мне в мастерскую, я буду вас писать, вы будете готовиться к экзаменам в институт. Здесь, в мастерской, есть все условия. Больше вы не работаете, чем я вам буду платить. Тысячу в месяц хотите?

Она улыбнулась и отрицательно качала пышной короной русых волос. Подумав, сказала:

— Весь год на один портрет?— голос мелодичный, задушевный.

— Зачем один? В разных вариантах И ростовой, и в другом платье, в другой позе.

— Это неинтересно Вам скоро надоест.

— Ну, что вы, Аллочка Вам этого не понять.— Он со значением вздохнул. Затем, решив приближаться к делу, сказал:

— Заниматься можете на антресолях. Там у меня библиотека Или еще лучше — в комнате отдыха. Я вам не показывал — у меня здесь есть комната отдыха. Посмотрите, пожалуйста.

Он открыл дверь, ведущую в небольшую комнатку без окон. Там стояла широкая тахта-лира изделия рижских мебельщиков, на полу — мягкий китайский ковер. Небольшой столик, на котором стояла бронзовая лампа с шелковым абажуром, увенчан хрустальной вазой с фруктами и бутылкой «Хванчкары».

На стенах — цветные фоторепродукции обнаженных женщин «Даная» Рембрандта, «Венера» Джорджоне, рубенсовская «Сусанна», брюлловская «Вирсавия» и, конечно, ренуаровская молодая дама, сидящая спиной к зрителю с мягким поворотом головы.

В углу комнаты стоял телевизор, ни сколько не нарушая интимного уюта этого «укромного убежища художника», как любил выражаться Борис.

Усадив девушку на тахту, Юлин налил вино в рюмки и негромко, проникновенно предложил:

— За нашу встречу, Аллочка.

Он глядел на девушку недобрый, бесстыжим взглядом, изучал ее. Аллочка отпила глоток, вино понравилось, и она допила до дна. Он снова наполнил бокалы. В большой комнате звонил телефон. Борис не подходил, точно не слышал.

— Там звонят, — напомнила Аллочка.

— И пусть. Нас ничто не должно тревожить. Правда?

Сидя рядом с ней на тахте, он пробовал взять ее руку. Она не позволила. Спокойно, не выходя из глубокой задумчивости, сказала:

— Не надо, Борис Маркович, не забывайтесь.

Ему хотелось знать, где сейчас бродят ее мысли, чем заняты. Он предложил выпить за счастье. Она улыб-

нулась и отказалась: должно быть, не верила в счастье, которое предлагал ей самодовольный художник

— Вот как раньше могли писать. Условия были, — пожаловался Борис, указывая глазами на репродукции обнаженных женщин. Она смущенно молчала. — Теперь так не могут. Тренировка нужна. А где сейчас найдешь у нас девушку, которая согласилась бы позировать вот в таком виде?

— Однако вы находите, — Алла резко поднялась, кольнула его презрительным взглядом и, ничего не сказав, покинула мастерскую.

«Сорвалось! Какая досада», — Борис поморщился. Он вернулся в свой укромный уголок.

Недопитое вино и фрукты в хрустальной с серебряной оправой вазе казались неуместными. В памяти искрой сверкнуло сожаление о парфюмерном и шоколадном наборах. Фу, какая чепуха. Он не настолько мелочен, чтоб жалеть о скромном подарке, истраченном понапрасну. Он никогда не отличался расчетливостью — так ему не однажды говорил отец. Упорхнула птичка — вот что возмущало и злило Юлина.

Он вошел в зал и с шумом открыл окно. На дворе было тепло.

Горечь и разочарование, вызванные вероломством Алочки, Борис Юлин попытался загладить приятными воспоминаниями о плавании вокруг Европы минувшим летом. Мысли его потревожил телефон, звонок был длинный, как обычно звонит междугородная. Он взял трубку. Звонила жена

— Где ты был? Тебя с утра разыскивает Осип Давыдович. Что-то важное, — сообщила Нина.

— Меня не было в мастерской, — солгал Борис — Я позвоню ему.

— Его сейчас нет дома. Он просит тебя заехать к нему домой к шести часам. Вечером я буду ждать тебя у папы.

— А если я задержусь у Осипа?

— Все равно я буду ждать тебя. Обязательно заезжай за мной

Борис Юлин женился на Ниночке не зря. Девушка обладала многими достоинствами. В ней ему нравилась не только привлекательная внешность. Нина была наде-

лена тонким умом и мягким, податливым характером. Она получила хорошее воспитание. Как-никак, отец — профессор, мать — в прошлом преподавательница музыки. Старший брат Нины погиб на фронте, средний — летчик, лейтенант, служит на Дальнем Востоке. Ниночка, восторженная, романтически настроенная девушка, любила в Борисе прежде всего художника. Она считала большим счастьем выйти замуж за деятеля искусства. Заветная мечта сбылась, муж оказался художником, да еще и знаменитым. В талант его она верила преданно и слепо. Боря не может быть посредственным, Боря необыкновенный, Боря — самородок. Во всяком случае так говорили люди, понимающие толк в живописи, даже такие бесспорные авторитеты, как Барселонский, Пчелкин, Иванов-Петренко.

Нина боготворила Бориса. О его изменах она даже не подозревала. Это было вначале. А потом? Потом она делала вид, что ничего не подозревает. Так было спокойней. А покой семейной жизни — это не так уж мало. После окончания университета она год «отдыхала». Затем ее устроили на работу на радио. Нина была довольна — работа интересная, тоже связанная с искусством.

Нина часто навещала своих одиноких стариков, живших в новой квартире на Ленинских горах. Она даже подумывала перебраться к ним вместе с мужем, но в таком случае вставал неприятный вопрос: а как быть со своей отдельной двухкомнатной квартирой, полученной совсем недавно и с большим трудом? Делать обмен Борис не хотел: у тестя есть наследник — сын.

Нина приехала в квартиру отца вечером после работы. Профессор только что вернулся из университета и был чем-то недоволен, к огорчению дочери.

Борис был в мире и дружбе с жениными родителями. Его здесь всегда встречали, как родного. Он заехал за Ниной в десятом часу. Его ждали к чаю, не сажись за стол. Зять от чая отказался.

В машине Нина приласкалась к Борису и поцеловала его.

— Скажи мне спасибо: я устроила радиопередачу о Генке Репине. Прямо из его мастерской. — Борис благодарно кивнул и дал себя поцеловать еще раз. Нина зашебетала: — Нам предлагали передачу об Исааке Бродском и Якове Канцеле, говорят, был такой скульптор.

— Ни в коем случае,— сурово возразил Борис.— Исаак Бродский был первым служителем культа Сталина. Это не художник, а ничтожество

— Хорошо, хорошо, Боренька, мы это поломаем. А Яков Канцель?

Пухлая физиономия Юлина брезгливо скривилась:

— Ну, с какой стати вспоминать о нем? А за Гену еще раз спасибо. Ты у меня умница, Нинок.

И Нинок, обладавшая слабой волей и сильными страстями, прильнула к нему, вовсе не догадываясь, что за бурной деятельностью мужа скрывается натура хищника.

Сегодня Борис был радостно возбужден, и восторг свой ему хотелось с кем-то разделить: хотелось говорить, спорить, доказывать. Нина для этого случая не годилась — она не умела с ним спорить, всегда соглашалась, а он жаждал острого разговора, чтобы выплеснуть все, что бурлило и клокотало в нем. И он снова обратился к тестю:

— А вы читали в «Новом мире» роман «Чей хлеб едим мы»? Нет? Грандиозно, черт побери! Журнал нельзя нигде достать!

— О чем роман? — полюбопытствовал профессор.

— Об одном изыскателе, — живо ответил Борис. — Но дело даже не в нем, а вообще... в более широком плане, в системе взглядов.

— Ну и что ж утверждает автор? Он отвечает на вопрос, чей хлеб едите?

— Да дело ж не в том, — недовольно поморщился Юлин — Хлеб мы, в общем-то, свой едим.

— В общем-то, да, конечно, — в тон вставил тесть.

— Это только начало! — патетически воскликнул зять.

— Начало чего?

— Новой литературы и вообще нового духа

— Не всякое начало есть начало, — философически заметил тесть — Бывает, что в самом начале и конец заложен. Начало и конец.

— Ну, нет. «Новый мир» оправдывает свое название. Вот погодите, ягодки еще впереди. Опубликуют новый роман Пастернака, который потрясет!.. Это будет бомбочка!..

— И что ж он потрясет? Какие основы? — подначивал тесть,

— Все! — Увлечшийся зять не хотел понимать иронию оппонента.

— Пастернак? Травка такая, вроде петрушки? Не может быть. Фамилия-то уж больно никчемная. Когда-то поэт был такой, вирши заумные сочинял.

— Он самый — Борис Леонидович Пастернак.

— Вон оно что! Оказывается, жив еще И даже роман сочинил. Стишки бросил, на прозу перешел. Ну, если тот, то не страшно, не потрясет. Силенок не хватит.

— Да вы знаете, что это величайший поэт эпохи? — горячился Борис. — Его имя произносят стоя поклонники его.

— Как гимн?

— Да, если хотите, стихи его — это гимн нашей поэзии

— А может, вы доставите мне удовольствие, споете этот, ну как его... гимн вашей поэзии? Или прочтете?

— Я понимаю, вы смеетесь. Смеетесь потому, что не знаете его поэзии.

— Хочу знать, Боренька, жажду. Я вас слушаю.

— Слушаете? Пожалуйста:

Пью горечь тубероз, небес осенних горечь,  
И в них твоих измен горящую струю.  
Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ,  
Рыдающей строфы скупую горечь пью.

— Тубероз? Это что ж такое? — перебил профессор — Измен горящая струя. Почему именно горящая? С таким же успехом могла быть болящая, молящая, летящая, гнетущая, светящая, свистящая, цветущая, весенняя, осенняя, еловая, сосновая, дубовая. Смысла все равно никакого.

— Да как вы можете иронизировать! Это кощунство! — кричал Борис, мечась по комнате. — Это понять надо! Это гениально!

Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет,  
У которой суставы в запястьях хрустят,  
Той, что пальцы ломает и бросить не хочет,  
У которой гостят и гостят и грустят...

Прочитав эти строки, Борис сделал паузу, блаженно закатил глаза и произнес эффектным полупшепотом: — Это музыка слов, волнующая...



— А чего тут волноваться?— перебил его пафос тессть.— Живет с карточкой и пусть живет, если это доставляет ему удовольствие. Кому нравится поп, а кому... карточка. Нет; Боря, не волнует меня гимн вашей поэзии. Петь его при народе даже и неприлично. А не то что стоя. Нет, разве что лежа.

Борис не выдержал такого «кощунства» и, не желая спорить больше, ушел в комнату жены.

На другой день в тесном коридоре Московского союза художников Карен Вартанян встретился с Борисом Юлиным. На полном гладком лице Бориса — праздник и ликование. Он первым окликнул Карена торжествующей фразой вместо обычного приветствия:

— Это здорово, старик!

— Что именно? — настороженно спросил Карен.

— Ты газеты читаешь?

— Читаю. А ты, собственно, что имеешь в виду?

— Появляются неплохие статьи о свободе творчества.

— Не понимаю.

— Видишь ли, Каренчик, церковь, как известно, у нас отделена от государства. А искусство — оно тоже вроде храма божьего. Недаром говорят: святое искусство, — начал Юлин не слишком мудреными загадками, но Карен хотел заставить его высказаться до конца.

— Я что-то не совсем понимаю тебя.

— У Ленина есть замечательные высказывания о свободе творчества, о внимательном, бережном отношении к художнику. Творчество — дело тонкое, и любое постороннее вмешательство наносит только вред.

— А-а, вот ты о чем. Тогда изволь тебе напомнить о том, что у Ленина есть замечательные слова о партийности искусства. Долой сверхчеловеков! Это, кажется, Ленин сказал.

Не понравился Юлину ответ Карена, в котором он тщетно надеялся найти союзника. Нахмурился Борис и поспешил проститься. А Карен, повстречав Владимира в тот же день и рассказав ему о коротком разговоре с Юлиным, возмущался:

— Нет, ты понимаешь, наглость какая! Он радуется! Видишь ли, праздник. Что это? недомыслие, политическая слепота или... хуже?

— Да, Карен, радуются, — с горечью отвечал Маш-

ков.— Они отлично понимают смысл происходящего Барселонский недавно вернулся из заграницы Он выступал там перед интеллигенцией и достаточно подлил масла в ревизионистский костер. Говорят, он сказал там, что решения нашей партии по идеологическим вопросам были неправильными...

Сообщение это ошеломило Карена:

— Я ничего не понимаю.. Советский художник, наконец советский человек' выступает за рубежом и льет воду на чужую мельницу!

— Какой он советский? — тихо произнес Владимир.— Что в нем советского, кроме паспорта?

Карен не мог успокоиться и слов не находил в себе, чтобы выразить негодование по адресу эстетов и ревизионистов. Только глаза, черные как угли, метали злой огонь.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

« Вне народности ни художества, ни жизни, ничего нет».

*И С. Тургенев*

Владимир Машков поселился в квартире своей тещи Лидии Константиновны после того, как Василий Лебедев — отец Люси — умер внезапно от кровоизлияния в мозг. Люся мужественно перенесла этот удар. Она очень любила отца, но со всей силой убедилась в этом, когда его не стало. В курчавой, заметно поредевшей, испорченной перманентами шевелюре Люси появилось много седых волос. А когда-то нежное с тонкими чертами лицо утратило свежесть и белизну, стало резким и желтовато-смуглым. Люся работала теперь в Академии художеств В ней бурно пробудились дремавшие под спудом силы, и она работала много, без усталости

Жить они стали скромнее. Расходы с рождением ребенка прибавились, а заработки Владимира сократились. Деньги, полученные за его старые картины, растаяли. Пейзажи на продажу он делал нечасто, заказы на портреты выполнял с неохотой. Все свое время он отдавал двум большим картинам.

Первую картину Машков назвал «Русская весна». На косогоре — избы с блеклой соломой на крышах, сараи, плетни с горшками на кольях. За околицей — узкие пестрые полосы — поля, окаймленные синей далью лесов. На переднем плане стоит тощая лошаденка, впряженная в соху, и, понуро опустив голову, щиплет из-под ног молодую зеленую травку, пробившуюся сквозь прошлогоднюю. Над свежими бороздами с криком вьются грачи и вороны. Русский крестьянин в рубаше без пояса и в лаптях стоит у сохи, протянув корявые руки к Ленину. Владимир Ильич — простой, знакомый и до боли близкий — стоит, приласкав рукой белоголового босоногого мальчика, принесшего завтрак отцу, и внимательно слушает «сеятеля и хранителя» земли русской. И, кажется, Ленин уже видит в весенней дали тысячи тракторов, вышедших на безбрежные просторы России, чтобы переделать крестьянскую жизнь.

Вторая картина называлась «Рождение человека». Как-то Машков делал иллюстрации к рассказам Горького. Он дошел до рассказа «Рождение человека» и вдруг понял, что перед ним большая глубокая философская тема. Владимир сделал несколько эскизов и наконец нашел композицию всей картины. Южнорусская степь, бескрайняя, звонкая, разбежалась к Черному морю и вдруг застопорилась у крутого берега. Вдоль берега вьется дорога широкая, пыльная, убегающая в неведомую даль горизонта, куда-то на восток к тихому Дону. Дорога делит картину на две почти равные части. Справа, под обрывом — море, не спокойно-лазурное, а синее, с белой стружкой волн вдали, с пенистой бахромой у берега, с искристым золотым пятном посередине, брошенным солнечным лучом, пробившим тучи. Слева — степь, рыжая, опаленная. Над степью и морем — мятежное небо с облаками и тучей, пронизанной лучами. И небо, и море, и земля будто насторожились в ожидании. На переднем плане у самой дороги над морем полулежит баба, мать, ослабевшая после родов, и рукой поправляет юбку, прикрывая наготу своего тела. На ее скуластом лице, иссеченном ветрами, пылью и зноем, — следы недавней мучительной боли, а в глазах, широко открытых, отразились одновременно и удивление, и испуг, и радость матери. Перед ней на дороге, широко и неуклюже расставив длинные ноги в походных истоп-

танных салогах, стоит высокий гривастый парень с широким лицом и добрыми смущенными глазами: в могучих руках его, приподнятых кверху, кричит маленький розовый человечек, кричит на весь мир о своем рождении на этой широкой, пыльной и нелегкой дороге жизни

Обе картины далеки еще от завершения. Владимир работал над ними, за неимением мастерской, в квартире своей матери, ушедшей на пенсию. Мать в душе была даже рада тому, что сыну не дали мастерской, и он, как и раньше, до женитьбы, целыми днями находился с ней и только к вечеру да по воскресным дням уходил к своей семье. Матери было бы трудно расстаться с мольбертом, холстами, запахом масляных красок и скипидара, без которых она уже не представляла своей скромной квартиры в стареньком доме.

В последнее время имя Владимира Машкова стало все чаще появляться в печати. Его не столько критиковали, сколько попутно ругали, называя то лакировщиком, то матерым натуралистом, хотя ни тем, ни другим он никогда не был. Должно быть, Осип Давыдович знал, что для честного человека самое страшное — незаслуженная обида, циничная клевета, злой вымысел, глупые инсинуации. Они, как едкий дым, выползали из «салона» и распространялись среди людей с невероятной быстротой, сопровождаясь зловещим шипением клеветников: «Слыхали о Машкове? Нет? Ну-у, что же вы! Такой подлец, такой негодяй оказался, что вы себе представить не можете. Агентом Берия работал, доносы на честных людей сочинял. Да-да, это уже установленный факт, из авторитетных источников». Клеветали и на Еременку: «А Еременко-то каков! Вот так гусь, и не подумаешь. Разложившийся развратник».

Некий Филипп Головков, как чаток армейской жизни и батальной живописи, писал о картинах Петра Еременки: «Бескрылые, похожие на цветную кинохронику, они ничего общего с искусством социалистического реализма не имеют». И хотя военные художники и даже академик Камышев говорили, что Еременко продолжает традиции Верещагина и Грекова, их сильные, но немногочисленные голоса тонули в фальшивом, но многоголосом хоре подпевал Барселонского.

Владимир нервничал, горячился. Люся это видела и понимала: муж стал раздражительным, взвинченным,

глубоко переживал дела, которые, казалось бы, лично его не касались. Он не мог, не умел закрывать глаза на то, что творилось вокруг, как это делали некоторые, более толстокожие и пассивные художники. Иногда фельетон в газете о безнаказанных безобразиях каких-нибудь паразитов или жуликов, очередная вылазка «ивановых-петренко» в печати, на выставке или на собрании выбивали его из рабочей колеи.

Не лишенная практической жилки, Люся постоянно учила Владимира «смотреть на вещи проще», относиться ко всему хладнокровней.

— Поджигатель ты мой родной,— говорила она ласково, целуя его усталые большие с беспокойным блеском глаза.— Сам горишь и других зажигаешь. Не надо так, Володенька. Пощади ты себя хоть ради семьи. Посмотри, на кого стал похож. Ты должен быть здоровым, мой славный.— Она крепко прижимала его к себе, обвивала руками и снова целовала, украдкой косясь на дверь, за которой играл трехлетний сын Славик.— Боже мой, да ты весь высох. Что с тобой происходит? Не заболел ли ты? Может тебе уехать в санаторий хотя бы на две недели и выключиться из всего, ничего не делать, ни о чем не думать. Просто дышать воздухом, спать, принимать радоновые ванны: говорят, это помогает, укрепляет нервы.

— Это невозможно, Люсенька. Легко сказать — ни о чем не думать. А в санаторий вместе поедem, когда тебе отпуск дадут.

Он гладил ее волосы, распрямлял завитки на висках, смотрел на нее так же влюбленно, как смотрел десять лет тому назад, шептал тихо и проникновенно: «Какая ты у меня хорошая, Люсик»,— и думал о тех безалаберных годах, когда они были рядом и все же далеки друг от друга. Казалось Владимиру, что теперь Люся старается вознаградить его за прошлые обиды, которые нанесла она ему, быть может сама того не желая.

Семейная жизнь Машковых протекала ровным, нешумным ручьем. Молодым супругам верилось, что никто не сможет замутировать их прозрачный ручей. Они хорошо знали себя, чувствовали, понимали и верили друг другу беспредельно. Старые обиды забылись навсегда. И когда однажды Лидия Константиновна как бы невзначай намекнула Люсе, что Володя мог бы зарабатывать

больше, что он непрактичен и не умеет «организовать себя», Люся посмотрела осуждающе и сказала:

— Я прошу тебя, мама, ни мне, ни тем более кому-нибудь другому подобных вещей никогда не говорить

— Я же мать, я имею право,— попыталась возразить Лидия Константиновна. Люся, перебив ее, продолжала с такой решительностью, что сомневаться в серьезности ее слов нельзя было.

— ...Иначе мы с Володей вынуждены будем уехать отсюда и жить отдельно.

Перспектива жить одной не устраивала Лидию Константиновну, и она приумолкла, не вмешиваясь в семейные дела дочери, довольствуясь тем, что ей доверили воспитывать Славика, на которого она и направила всю свою любовь и заботы. Ей было не очень приятно, когда Владимир раз или два в неделю, уходя работать, забирал с собой сына, и мальчик тогда целый день гостил у другой бабушки, доставляя немало радости Валентине Ивановне. Свекровь и теща в душе недолюбливали друг друга, но внешне соблюдали все нормы приличия и учтивости, не высказывая ни детям, ни близким знакомым своих антипатий.

Утром Владимир проснулся вялый, как будто вовсе не спал. Славик, синеглазый, худенький мальчик, подошел к его постели с книжкой в руках.

— Папочка, почитай сказку. Вот эту.

— Почему именно эту, а не ту?

— Та малюсенькая, а эта во какая длинная.

«Три годика, а уже хитрит. Ишь, какой воробей!» — улыбнулся отец. Он стал читать сказку лежа, не вдумываясь в слова, произносимые вяло. Мысли где-то бродили в других временах, отнюдь не сказочных. Славик, должно быть, недоумевал, почему папа сегодня читает так неинтересно.

— Папочка, ты лучше радио включи. Скоро для дошкольников сказки будут рассказывать.

— Еще рано.

— Нет, папочка, сначала ритилитурная передача, а потом для дошкольников.

Славик картаво, смешно выговаривал это длинное слово — «ритилитурная». Отец машинально включил приемник. Вместо литературной передачи передавали радиорепортаж из Киева — дневник искусств. «Наш кор-

респондент побывал в мастерской художника Геннадия Репина Молодой украинский мастер кисти стоял у мольберта, продолжая работать над большой картиной, о которой мы расскажем немногим позже, и был недоволен нашим неожиданным вторжением...» Дальше до слуха Владимира долетал самодовольный гнусавый голос дельца

«Но почему об этом выскочке передача, с какой стати? — недоумевал Владимир. — Что все это значит? Ну, предположим, передали бы репортаж о выставке Камышева и Канцеля — это было бы естественно: все-таки юбилей И Камышев — художник всемирно известный. Но о нем ни слова. А о самозванце — целая передача. Что все это значит? А, ясно, чья это работа. И понятно, зачем все это устроено...»

Он вспомнил, как открывалась позавчера выставка картин Камышева и скульптур Канцеля в залах Академии художеств. После приветственных речей от Министерства культуры и академии предоставили слово Борису Юлину. Самоуверенный, важный Борис неторопливо поправил свой пестрый галстук и, подражая Барселонскому, начал снисходительно-усталым голосом, в котором явно проскальзывали нотки иронии и лицемерия:

— Дорогой Михаил Герасимович! Московский Союз художников приветствует и поздравляет вас в день вашего семидесятилетия. Полвека жизни вы отдали нашему искусству, создав немало великолепных произведений. Московские художники ценят в вас не только старейшего живописца, но и одного из активных общественно-политических деятелей, много потрудившегося на пользу искусства. Разрешите пожелать вам, дорогой Михаил Герасимович, здоровья, бодрости и новых творческих успехов

Борис соорудил кисельную улыбочку, поджав уголки пухлых губ, и, протянув вперед руку, сделал красивый артистический поворот в сторону юбиляра. Но в этот самый момент плотный, еще крепкий и подвижной Камышев сделал столь же быстрый поворот в обратную сторону и заговорил о чем-то с заместителем министра культуры. Получилось у него это очень естественно, без тени нарочитости. Протянутая розовая рука Юлина неловко повисла в воздухе немногим ниже поясницы юби-

ляра, который точно вовсе не слышал или позабыл, что его приветствует представитель МОСХа. Под веселые улыбки публики Юлин конфузливо отошел в сторону. Он чувствовал себя глубоко оскорбленным и тут же покинул выставочные залы.

Зато в это время начинали разворачивать бурную деятельность в залах выставки «люди» Осипа Давыдовича. Первым делом они устроили осаду книги отзывов, изощряясь в остроумии. Затем молодые люди — хотя были среди них и неопределенного возраста, — одетые пестро, кричаще, со вкусом дикарей, группами по три-четыре человека переходили от одной картины к другой и вслух глумились над ними. В глазах этих кликуш, пустых и блуждающих, отплясывало безумство, а слова, полунистерические, с шипящими и свистящими до хрипоты звуками, дышали слепой и бессильной ненавистью.

У самого выхода, там, где стоит столик с книгой отзывов, внимание Машкова привлекло полумягкое с красным бархатом кресло. За столом сидел человек, должно быть просто любопытствующий, и листал книгу довольно-таки быстро, наверно, спешил. В сторонке стояли две девицы и говорили о чем-то весьма далеко от искусства, судя по долетавшим до слуха Машкова фразам. Владимир сел в свободное кресло. Человек за столом торопливо перевернул еще несколько страниц и тут же любезно предложил:

— Вам книгу? Пожалуйста

Владимир кивнул в знак благодарности и, пересев за стол, стал читать отзывы. Он отлично знал, что книги эти часто бывают очень похожими на чеховскую жалобную книгу: чего там только нет! Перед глазами мелькали разные почерки, торопливые, неразборчивые подписи:

«Настоящая выставка — лебединая песня Камышева. И слава богу. Студент такой-то»

«Не понимаем, почему Камышев и Канцель? Что общего между ними? Служение культу? А вообще выставка произвела на нас удручающее впечатление. Глядя на все это ремесленничество, невольно думаешь: как хорошо, что есть у нас все-таки и замечательные художники, такие, как Л. Барселонский, Н. Пчелкин и Б. Юлин».

«Дорогой Михаил Герасимович, спасибо Вам за то наслаждение, которое Вы доставили мне. Смотришь на Ваши чудесные картины, пейзажи и точно вся наша



Родина встает перед глазами. Вы очень русский, насквозь русский художник, и потому все ваши картины так крепко берут за душу. Еще раз спасибо. Генерал А. Романенко».

«Никогда не суди о том, чего не понимаешь».

«Уважаемый тов. Канцель! Очень хорошие у вас скульптуры, особенно Маяковского, Н. Островского и девочки с котенком. Желаю Вам дальнейших успехов и здоровья. В. Лойко».

«Кретин! Канцель давно умер».

«Что ни говорите, а до Корина всем вам далеко Вот это мастер!.. П. Синцов, пенсионер».

«Согласен с вышестоящей записью Только хочу добавить еще к Корину А. Пластова, В. Машкова, П. Еременку, К. Вартаняна и П. Окунева. М. Сбойчаков — учитель».

«Бедные ученики!..»

Больно и горько было вспоминать об этом теперь, слушая по радио панегирик в адрес бездарного живописца Г. Репина

Машков быстро умылся, оделся, но завтракать не стал. Он поспешно ушел из дому, точно старался убежать от преследовавшей его радиопередачи, устроенной покровителями крикунов, которые вчера на выставке глумились над Камышевым. Владимир еще не знал, куда и зачем пойдет. Просто на улице дышалось лучше. У Казанского вокзала, несмотря на утренний час, — толчея. В метро, наверное, тоже. Лучше пройти пешком до площади Лермонтова...

Лидия Константиновна позвонила Люсе на работу: — Володя ушел без завтрака. Сказал — не хочет. Быстро оделся и ушел, а куда — не знаю.

Люся звонила Валентине Ивановне:

— Не приходил Володя?

— Нет еще.

— Когда придет, попросите его, пожалуйста, мне позвонить

Когда Владимир пришел, мать посмотрела на него пристально и настороженно. Он поймал этот взгляд и понял: «Хочет отгадать, что делается у меня на душе. Не надо, мама, не волнуй себя. Это все сложно для тебя. Такова жизнь, борьба. Хорошо сказал Островский: жить — значит бороться. А борьба связана с жертвами,

она — не шлях, устланный коврами, не аллея, увешанная лаврами. Борьба — это испытание нервов, сердца, разума, воли».

Позвонила Люся, беспокоилась:

— Почему ты ушел без завтрака? Плохо себя чувствуешь? Володенька, милый, у тебя утром был нехороший вид. Я прошу тебя: сходи к врачу.

— Врач мне не поможет: я здоров. Так, должно быть, немножко устал. Прогулялся по воздуху, а сейчас буду работать, дописывать «Русскую весну». Пока, Люся, будь здорова.

Пожелал ей здоровья, а о себе подумал. «Не слечь бы.. До выставки осталось мало времени. Нужно писать ежедневно. Никуда не ходить, ни с кем не встречаться. Люся права — не заглядывать в газеты и не включать радио с передачами о лже-Репиных».

Владимир надел халат, надавил краски из тюбиков на палитру. Краски показались ему какими-то тусклыми. Взглянул на картину и удивился: черт возьми, почему все как в тумане и какое-то темное пятно, точно заслонка? Что случилось с красками, почему они почернели?

— Мама, ты здесь ничего не делала?

— Нет, все как было. Я даже не притронулась. А ты что-нибудь потерял?

«Потерял» — говорит она и смотрит на него как-то странно. Он подошел к зеркалу: лицо серое — это потому, что не побрился с утра, прибавилось несколько белых волос — тоже естественно. А вот галстук, лиловый с сильным отливом галстук, почему-то потемнел...

Он подошел снова к мольберту. Картина как будто потускнела, совсем нет живописи. Взглянул на картины, висящие на стене. Что это? И они потемнели, краски как-то неестественно слились, выступила чернота, густая, неприятная. Что за пакость такая?

«Спокойно, Владимир Иванович, без паники, товарищ Машков. Все надо выяснить, изучить. И главное — не волноваться», — уговаривал он себя.

В дверь позвонили два раза.

— Кто-то к нам? — сказала Валентина Ивановна.

— Я открою, мама, — стремительно встал Владимир.

Молодой человек в заснеженной ушанке стоял у порога и улыбался смущенно, обрадованно и с выражением детской робости на лице.

— Алеша, дорогой Алеша, как я рад! Мама, ты смотри, кто приехал — Алешка Щербаков из Павловки! Какой ты стал, настоящий мужчина.

Владимир стащил с него грубошерстный пиджак с цигейковым воротником, проводил в комнату и не мог нагладеться. Как изменился парень: в плечах раздался, васильковые глаза потемнели и посуровели, взгляд стал сдержанным, у рта появились морщинки иронии! Время делало свое дело. Время или жизнь? Посмотрел на его руки — большие, крепкие, по-прежнему в ссадинах, как у Коли Ильина. Теперь они больше шли к его возмужавшему лицу и фигуре.

Алексей сначала передал приветы от Аркадия, от Вали, от старика Вишнякова — от всех колхозников. Машкова помнят в Павловке, добрым словом вспоминают, в гости зовут. А новости? Много новостей. И самая главная — Валя вышла замуж за Аркадия.

— Вам Аркадий Николаевич, наверно, пишет? — спросил Алексей, чтобы легче рассказывать.

— Пишет иногда. Ну как они там?

— Кажется, хорошо. Валя довольна, сама говорила мне.

Владимир спросил и о стариках: Сергее Карповиче Вишнякове и Михаиле Васильевиче Щербакове.

— Отец помер. Совсем и не болел, а просто от старости. Умирал тихо, очень спокойно. Меня позвал: ну, говорит, Леша, я свое отжил. Пора прощаться. Даю, говорит, тебе три завета: люби землю свою русскую — она нам все дает, она и нас к себе берет. Все мы из нее выходим и в нее возвращаемся. Она одна вечная. Это первый завет. Второй — люби, говорит, жену свою и детей, воспитывай их так, чтобы они людьми были, настоящими людьми. А третий завет, говорит, — люби правду народную, бейся за нее.

Алексей переждал немного, проглотил комок, сказал бойчее:

— А дед, — так в Павловке звали Вишнякова, — дед живет. Не работает только и книжек не читает: глаза не видят. Он теперь на радио перешел. Приемник, можно сказать, с утра до вечера не выключает.

«Глаза?» — молнией промелькнуло в мозгу Владимира. Он поднял голову, взглянул на картины. Они были все те же — темные и странные. Чтобы отогнать тревож-

ные мысли, Владимир стал снова расспрашивать. Оказывается, Алексей приехал в Москву по делу. Дело, конечно, личное, не очень большое, о нем можно было и не говорить, но Алексей не умел ничего скрывать и прежде чем рассказывать о нем, спросил:

— Вы знаете Викторину Гомельскую?

— Не знаю,— категорически ответил Владимир и, пытаясь что-то припомнить, спросил: — А она кто такая?

— Разве не слышали? Русский ансамбль под управлением Викторины Гомельской.

— А-а, где-то видел. Очевидно, на афишах. Да, именно на афишах, по всем заборах этикие метровые буквы — и не хочешь, да запомнишь.

— Так вот этот самый ансамбль давал концерты в нашей дивизии, месяца за два до моей демобилизации. Я в самодеятельности участвовал со своими песнями. Ноты выучил и могу теперь сам записывать мелодию. Меня и представили Викторине Гомельской. Худенькая такая, смазливенькая, быстрая, как сорока. Посмотрела мои песенки, проиграла на пианино, сказала: «Любопытно» — и попросила дать ей все, что я написал. Я обрадовался, собрал все, что у меня было, наверно песен двадцать, и притащил ей, нате, говорю, смотрите. Она все это забрала и потом, через день мне вернула: «Понимаете, говорит, все это чрезвычайно интересно, но беда наша в отсутствии музыкальной культуры. Все это, говорит, пока сырье и сделать из него вряд ли что можно. Вы, говорит, неоригинальны, у вас много чужих мелодий». Словом, раскритиковала меня в пух и прах. А потом уже для успокоения, что ли, говорит: «Дело это вы не бросайте, со временем может выйти толк, я о вас поговорю в Москве. Вот вам мой адрес, пишите мне, присылайте новые песенки, может, лучшие из них пристроим». Так и сказала: пристроим. И улыбнулась так трогательно, обещающе. Не знаю, где и что она пристраивала, только однажды, уже когда я демобилизовался из армии и в Павловку приехал, слышу по радио: мою песенку поют. И голос знакомый, ее голос, Викторинин, тонкий такой, писклявый. Я очень обрадовался, сразу же написал ей письмо, но ответа не дождался: может, ансамбль в отъезде и она не получила моего письма. Но это не важно. Главное, что поют, мою песню поют по радио. Может, с моей стороны оно и нескромно, но как-то при-

ятно, Владимир Иванович, что у нас так здорово поставлено: простой человек, обыкновенный колхозник сочинил песню, и ее поют на всю страну, если она понравилась. А значит, понравилась, раз поют. Так что вы меня поздравить можете.

Владимир хотел сказать: «Поздравлять, Лешенька, рано», но промолчал, участливо кивнул и затем тут же спросил:

— И ты, значит, решил встретиться с ней?

— Хочу побывать на ее концерте, послушать свою песенку, предложить ей новую. Я вот еще две сочинил.

На концерт ансамбля Вики Гомельской Алексею Щербакову пришлось идти одному. Владимир после обеда почувствовал себя плохо — сильно разболелась голова, что, между прочим, случалось у него очень редко, разболелась до такой степени, что он не находил себе места. Работать в этот день так и не пришлось. От матери он поехал к себе домой вместе с Алексеем, билет на концерт купили по пути, в метро, и теперь ждали Люсю. Оба пригласили Алексея приходить после концерта ужинать. Когда Алексей ушел, Владимир проводил Славика в комнату бабушки, подозвал к себе жену и, стараясь говорить как можно спокойней, сказал:

— У меня, Люсенька, что-то с глазами неладное.

Люся быстро повернулась к нему, посмотрела в глаза глубоко и тревожно. Владимир понял ее настороженность и продолжал с поддельной беспечностью:

— Понимаешь, туманность какая-то. Цвета как-то сливаются и темнеют.

Он поднял глаза на картину «В загсе», когда-то яркую, солнечную, но и она теперь показалась тусклой.

— Ты просто устал, изнервничался. Тебе надо серьезно отдохнуть. Не хочешь в санаторий — поезжай в деревню. Только без палитры, без карандаша. Хорошо? Будешь на лыжах ходить, и обязательно в темных очках. Ну, хочешь, вдвоем поедем? Я попрошу отпуск за свой счет.

«Она, пожалуй, права, — подумал Владимир, — отдохнуть не мешало бы». Он прилег на тахту, взял газету и стал читать. Шрифт мелкий, но он разбирал его без труда, почти так же ясно, как и прежде. Но почему же цвета он неявно различает? Что все это значит?

— Газету читаю, ничего. А картину...

— Завтра пойдешь к врачу,— решительно сказала Люся — Или я вызову на дом из платной поликлиники. Это даже лучше.

Он взял ее руку, теплую, родную, прижал к своим губам. А в голове звенела назойливая мысль: «Только бы не слечь, не заболеть бы. Не сейчас, если это уже так неизбежно, лучше потом, когда закончу две эти картины: «Русскую весну» и «Рождение человека». На них он возлагал большие надежды, в них он хотел вложить всю душу свою, весь талант художника и страсть борца и человека. Ради этих картин стоило жить... Люся, конечно, права — нужно посоветоваться с врачом. А сейчас об этом лучше не думать, лучше поговорить о другом. И он сказал:

— По радио сегодня рекламировали Репина-второго.

— Киевского? — переспросила Люся.

Разговор о Геннадии Репине ничуть не успокаивал Владимира. Люся спросила, как дела в Павловке, что интересного рассказал Алексей. Цель приезда Алексея в Москву не меньше волновала Владимира, но он помалкивал и ждал возвращения Щербакова с концерта с недобрим предчувствием. Оно так и случилось: Алексей пришел подавленный, угрюмый. Владимир, забыв обо всем на свете, набросился на него:

— Рассказывай! Только все по порядку.

Алексей молчал, губы его шевелились, а рот был зажат, точно он боялся, что вместо слов вырвется стон. И первое, что он сказал, было слово «гадюка».

— Гадюка подколодная...

И замолчал снова, сиюсь совладать с собой. Владимир догадывался, что произошло, он слишком хорошо знал мир Осипа Давыдовича — мир стяжателей, которые подвизались на ниве культуры.

— Ты с ней говорил? — спросил Владимир, подошел к Алексею вплотную и посмотрел в его растерянные, мечущиеся глаза с суровым, мужественным участием.

— Говорил. Но это было уже потом, после концерта. А сначала я слушал. Сначала ждал, когда занавес откроют, глаз не спускал, не дышал. Объявили первый номер. Вышел мужчина, похожий на грача, и сказал «Родина» — музыка Вики Гомельской, слова Ефима Яковлева». Заиграли. А у меня мурашки по всему телу побежали, верчусь, как будто на горячих углях сижу.

Мотив-то мой, моей песни, давнишней, той, которую я еще вам в Павловке пел, помните: «Не роняй ты, белая береза, кудри серебристые свои»? Все точь-в-точь, как у меня. Только слова другие, немножко переделали.

Алексей умолк, нахмурился, хотел припомнить слова, сочиненные Ефимом Яковлевым, и не мог, не зацепились они в памяти, скользкие были, в одно ухо вошли, в другое — вышли. Резко поднял голову, сказал, прося участия:

— Да хотя бы одну только эту. А то еще три моих песни и даже ту, что я потом посылал ей. Ну как это называется, посудите сами?

Теперь он смотрел на Люсю доверчиво, откровенно. И Люся ответила:

— Грабеж называется, воровство, а по-научному — плагиат.

— Нет, Люсенька, какой же это плагиат. Именно грабеж, бандитизм чистейшей воды. К тебе ворвались в дом, ограбили и будь здоров, — заговорил Владимир.

— Самое обидно, что я после концерта побежал к ней объясняться: мол, как же так все получается?.. Так что вы думаете? Она не признала меня. Посмотрела пустыми глазами, буркнула сквозь зубы: «Что-то не припоминаю», — и отвернулась. А меня попросили удалиться. Еще милицией пригрозили. Вот, значит, как оно получается.

— Вот так и получается, — в тон повторил Владимир.

— Посоветуйте, что мне теперь делать. Я это так не оставлю. Буду жаловаться, — говорил Алексей.

— Жаловаться бесполезно и некому, — через силу выдавил Владимир, расхаживая по комнате. — Ты ей ничего не сделаешь, потому что она не просто Вика, а частица целой группы, цепкой и сильной, с которой одному бороться очень трудно.

— Так она же украла! — не веря словам Владимира, воскликнул Алексей. Движения у него стали порывисты, мускулистые руки напряжены.

— Украла, правильно. А чем ты докажешь, если все ей отдал?

— Я и колхозников, и сослуживцев, и участников самодеятельности призову в свидетели, — решил Алексей.

— Пригласи, может, добьешься, что и тебя признают автором, но обработка останется все же за ними, — поддержала его Людмила Васильевна.

И я хочу, чтоб у моей страны были ярко-выраженные национальные качества, ощутимые другими народами, — вот тогда будет настоящий интернационализм, а не скопище, не мировой винегрет.

РОБЕРТ ФРОСТ

Петр Еременко нес свою статью «Творить для народа» в третью редакцию. В двух редакциях статью поддержали по две недели и не напечатали. В одной редакции темноволосая узколицая дамочка сказала отчужденным голосом:

— На эту тему у нас уже заказана статья одному искусствоведе. — И подала Еременко его рукопись.

Она лгала — никакому искусствоведе редакция не заказывала такой статьи. Это была довольно обычная и очень удобная отговорка: поди, проверь! Еременко ничего не оставалось делать, как уйти несолоно хлебавши. В другой редакции с ним разговаривал пожилой мужчина, похожий на старого ворона:

— Статья ваша, Петр Александрович, интересная. Но, понимаете какая штука, на редколлегии высказали такое мнение. наша газета решила пока что не выступать по вопросам изобразительного искусства.

Это тоже была отговорка: никто из членов редколлегии статьи не читал.

Петр ушел. Сгоряча он хотел было послать статью в ЦК, но затем передумал: «Попробую еще раз, в третью газету». Статью отнес сам, сдав в отдел литературы и искусства. Через неделю просили зайти или лучше позвонить. Он пошел без звонка. В большом кабинете стояло три стола. За двумя сидели девушки, склоняясь над рукописями, за третьим восседал мужчина с квадратным лицом и очень тяжелым подбородком и, развалившись в кресле, с кем-то говорил по телефону. Голос у него самоуверенный, тон поучающий, с нотками покровительственной снисходительности.

— Ай, да что ты мне говоришь! Все ерунда. Да кто с ним станет считаться. Так вы сделаете? Не подведете? То-то. И, пожалуйста, без этих самых... Да, вот именно.



Я гарантирую. Можете положиться. Ну, я же сказал. Вы талант, я не спорю. Заходите, всегда рад. Привет.

Еременко узнал старого знакомого Кирилла Юлина. Он поднял ленивый короткий взгляд на Петра, потом на сотрудницу, которая тотчас же ответила:

— Это к вам, Кирилл Маркович, художник Еременко.

— А, садитесь,— небрежно кивнул он на стул и полез в ящик стола.— Прочитали вашу статью, обсудили, и она нам не понравилась. Вы читали статью «Поговорим о живописи» Осипа Иванова-Петренки? Ваша статья идет вразрез с ней.

— Ну и что же? — Петр решил на этот раз быть настойчивым — А почему она не должна идти вразрез с той статьей?

— Осип Давыдович — признанный авторитет. Его статья убедительна. А у вас общеизвестные истины, слова. Дух не тот, понимаете? Вы не учитываете изменений во времени. Так, как пишете вы, можно было писать в сорок девятом году. Теперь не то. И цитаты Репина сейчас неуместны. Поверьте мне. Знаете ли, «чужаки России», «ни крошки патриотизма» — не звучит сегодня. У Репина есть другие слова. А потом, это избито. Возьмите лучше Валентина Серова — там есть неплохие мысли.

У Кирилла Юлина твердый холодный тон, выражение лица наглое, облаченное в маску победителя, в глазах, круглых, птичьих, сухо поблескивали издевка и торжество. Сильно развитые челюсти задвигались и затем крепко сжались. Еременко и Юлин отлично понимали друг друга.

Сдерживая гнев, Петр глухо — даже сам удивился своему голосу — выдавил.

— Статья моя правильна, и я буду отстаивать ее

Он пошел к главному редактору. Тот был беспристрастно любезен и обходителен. Статью стал читать тут же, не откладывая в долгий ящик. «Человек дела», — решил Петр. Пока главный читал, Еременко обдумывал, как поступать, если и он откажет. Но ничего дельного придумать не мог. А тот вдруг взял телефонную трубку и позвонил:

— Кирилл Маркович, вы читали статью товарища Еременки?

Была долгая пауза. Затем из телефона до слуха Пет-

ра долетел непонятный тревожный голос Юлина-старшего, и только одну фразу он смог разобрать: «Мы влипнем с этой статьей»

Главный редактор, окончив разговор по телефону, уже другим, опасливым, тоном сказал автору.

— У вас тут крайне специфичные вопросы. Этой статьей должна бы заинтересоваться скорее «Советская культура». А мы так ограничены газетной площадью, что даже о жизни рабочего класса не всегда удается помещать обстоятельные материалы.

Сказано вежливо, мягко, даже с сочувствием.

— А разве рабочий класс безразличен к судьбе своего искусства?

Брови главного нахмурились, с лица исчезла любезность, голос стал сух.

— Да, но мы не можем выступать с дискуссионными статьями по вопросам, не имеющим прямого отношения к нашей газете. Я же вам сказал: для этого есть «Советская культура». Хотите я позвоню редактору?

— Благодарю вас, не нужно

— Что ж, тогда я вам ничем не могу помочь.

Еременко забрал статью и вышел на улицу. Из автоматной будки он позвонил Владимиру и попросил у него номер телефона инструктора ЦК Козлова. Но Козлов, оказывается, уехал в командировку. Еременко решил обратиться в Министерство культуры к Варягову.

Варягов принял Еременко с подчеркнуто официальной любезностью и позволил себе прочитать статью тотчас же в присутствии автора. Пока он читал, Петр украдкой изучал Варягова, которого видел впервые. На холодном чисто выбритом лице сидели маленькие круглые и тоже холодные какого-то неопределенного цвета глаза, сидели до неприятного близко друг к другу у самой переносицы, так что Еременке неожиданно подумалось: «Портрет писать с такого невероятно трудно»

— Что ж, статья как статья,— сказал Варягов, перевернув последнюю страницу, и упрямо уставился на Еременку — Ничего в ней плохого или предосудительного нет. Кроме одного...

Он сделал паузу, не сводя с Еременки острого, гипнотизирующего взгляда. Еременко ждал молча, терпеливо. Пауза оказалась нарочито затянутой.

— Кроме критики Барселонского,— произнес нако-

нец Варягов Нельзя так резко писать о Барселонском.

— Почему? Объясните, пожалуйста? — коротко попросил Еременко

— Это художник с международным именем, и мы не можем позволить какой бы то ни было критики в его адрес.

— Даже если он того заслужил? — перебил Еременко.

— Он этого не заслуживает, — категорически заметил Варягов.

— Тогда скажите, пожалуйста, как нужно расценивать недавнее ревизионистское выступление Барселонского за границей?

— Это его личное мнение. Человек он беспартийный, несколько своеобразный по характеру. Мы не можем не считаться с мнением прогрессивной общественности за рубежом. А там его знают и высоко ценят.

— А я полагал, что в первую очередь надо считаться с мнением своего народа, который не понимает, не принимает и вовсе не ценит Барселонского, — сказал Еременко, чувствуя, что все в нем начинает восставать и против Варягова.

— В данном случае вы неправы, — очень спокойно возразил Варягов, и ни один мускул не дрогнул на его грубоватом остроносом лице. — Наш народ, во всяком случае передовая часть его, любит Барселонского. Согласен, есть и такие, которые не понимают его творчества. Но их надо воспитывать, поднимать. Придет время — и те поймут.

— Через сто лет? — иронически вставил Еременко.

— Настоящее искусство не стареет.

— Безусловно. Но ведь и современники прекрасно понимали Рафаэля.

— Кто знает, — миролюбиво усомнился Варягов, — быть может, наиболее отсталые в культурном отношении оставались и тогда равнодушны к Сикстинской Мадонне — И другим тоном, уже не допускающим возражений, заключил — Я считаю, что вам надо изъять из статьи все, что касается Барселонского, затем — некоторые резкости в адрес наших отдельных критиков. Все это не нужно. — Варягов поморщился, тонкие пальцы зашевелились, забегали по столу и уцепились за карандаш. — Получается критиканство вместо делового разговора. —

Зачем это вам? Исправьте статью и несите в «Советскую культуру». Я думаю, что они напечатают ее. Уверен, что напечатают. Если хотите, я позвоню.

Еременко понял, что спорить здесь бесполезно. Он лишь сказал.

— Благодарю вас, но с такими поправками я не согласен.

И ушел.

Дышать Владимиру было тяжело. Ему казалось, что он куда-то проваливается, ноги и руки стыли, деревенел язык, слабость обессилила все тело. Только сознание оставалось светлым, и он этим сознанием старался сохранить, насколько это было возможно, спокойствие, понимая, что именно душевный покой сейчас для него самое лучшее лекарство. Лишь однажды мозг его пронзила страшная мысль: а может, это конец, может, с ним делается то самое, что принято называть инфарктом? Он хотел было сказать Люсе о чем-то очень важном... да, о незаконченных картинах «Русская весна» и «Рождение человека»: пусть попросит Петю и Пашу — они допишут. Но посмотрел на Люсю, на ее большие, испуганные, блестящие от слез глаза, и понял, что подобная просьба сейчас принесет ей еще большие страдания, и как знать — выдержит ли она? Сказать бы ей что-либо ободряющее, но язык почти не повиновался, и он только взглядом пригласил ее, суетящуюся с холодными компрессами, сесть подле него. Она положила мокрое прохладное полотенце ему на грудь, а руку свою, влажную и тоже холодную от воды, — на лоб. Рука ее успокаивала.

Врач-терапевт, пожилая женщина, приехавшая к Машкову по вызову, была чем-то недовольна. Она делала все небрежно, эта работа ей осточертела и только «служба» заставляет ее ездить к больным, из которых добрая половина совсем не находится в том состоянии, когда нужно вызывать неотложную помощь. Нехотя проверила пульс, посмотрела на Люсю подозрительным взглядом, в котором промелькнуло нечто осуждающее, и бесцеремонно спросила:

— Поскандалили?

— Это как так? — опешила Люся.

— Волнения из-за чего произошли? Случилось что-нибудь?

— Ах, вон оно что,— обозлилась Люся.— Волнения, доктор, к вашему сведению, бывают не только в результате семейных скандалов.

А недружелюбно настроенный врач уже командовала:

— Грелки на ноги и на руки. Выпейте капли. Вот рецепт, будете принимать по три раза в день. Не получается — обратитесь к лечащему врачу. Сделайте электрокардиограмму. Сердце у вас неважное. И нервы никуда не годятся. Как расстроенная гитара,— при этих словах впервые улыбнулась.— Серьезной опасности пока не вижу. Особенно волноваться нечего. Всего хорошего.

И уехала. Из всего запомнилось одно, удивившее Владимира,— сердце неважное. С каких это пор? Еще два-три года тому назад врач говорил ему: «Ну, батенька, сердце у вас — дай бог каждому». Вот уж действительно — сердце не камень. Впрочем, и камни подвластны времени и другим разрушительным силам. И все-таки женщина-врач из «скорой помощи» не понравилась. «План выполняет, что ли?» — неприязненно думалось о ней.

Ночью он спал хорошо и даже без одолевавших его сновидений. Утром дышалось нормально, только слабость сохранилась прежняя. Люсю он уговорил идти на работу, утверждая, что почти совсем здоров и к обеду встанет. Люся поддалась настойчивым просьбам, предупредила лишь, что сегодня придет врач-окулист.

— Пусть окулист, только бы не женщина,— шутливо заметил он.

Но часа через два пришел окулист, и им оказалась именно женщина — Екатерина Федоровна, довольно еще молодая, в пределах тридцати с небольшим лет, статная, мелколицая, серьезная дама. Она подошла к больному с заранее приготовленной лукавой улыбкой, оттененной неподдельным смущением, просто взяла его руку и спросила с большой душевной теплотой:

— Что с тобой, Володя, стряслось?

— Катя! Ты окулист? Вот это номер! — Владимир от неожиданной встречи даже привстал.

— Ты лежи, лежи,— жестом предупредила она, дотронувшись до его плеча.— Ты даже не знал, что я врач-окулист? Хотя сколько мы с тобой не виделись? Лет

десять, нет, даже больше. Как десятилетку окончили, так и расстались

Он возразил.

— Зачем же, встречались и потом, во время войны, ты уже в институте училась. Помнишь, за тобой лысый доцент ухаживал, нигде покоя не давал. Помнишь? Интересно, чем кончилась его настойчивость?

— Законным браком,— не сгоняя мягкой, но грустной улыбки, ответила Катя,— а потом и разводом.

— Вот как! — Владимир посмотрел на нее участливо

Катя и Владимир Машков учились в одной школе, он — тремя классами старше, жили когда-то в одном доме и в школьные годы дружили. Ребята с их двора были убеждены, что «Володька влюблен в Катьку до смерти, а Катька не может без Володьки жить». Да, Машков любил черноволосую стройную резвушку Катюшу первой юношеской любовью. Но «Катька все-таки смогла жить без Володьки», — говорили потом ребята. Правда, жизнь ей не улыбнулась, но в этом Катя винила только себя. Будучи честной, скромной, порядочной девушкой, Катя оказалась непрактичной и бесхитростной в житейских делах женщиной. И жизнь ее не щадила, вернее — люди, на которых она или не умела или не хотела быть похожей, и даже муж, предпочитавший, несмотря на свою раннюю лысину, настойчиво ухаживать за другими женщинами, более близкими ему по духу и морали.

И вот, друзья юности встретились так, нечаянно, и оба обрадовались, разговорились. Им не хотелось касаться такой неприятной темы, как болезнь, и они старались оттянуть этот разговор.

Лидия Константиновна, обеспокоенная столь долгим визитом врача, сначала только заглядывала в комнату, а затем прочно обосновалась на стуле и начала рассказывать Кате о том, что случилось с зятем вчерашним вечером и как все перепугались...

Катя внимательно осмотрела Владимира и не скрывала своих затруднений в определении диагноза болезни глаз. Больной сперва путал цвета: синий ему казался зеленым, желтый — голубым или еще каким-нибудь в этом роде. Это явление в медицинской практике известное и не так уж редкое. Называется — цветоаномалия. Обычно это врожденный дефект зрения, обостряющийся и

развивающийся к старости У Владимира ничего подобного не было никогда. Цветоаномалист не мог быть живописцем. А Машков был живописцем и притом незаурядным

«Быть может, это особый случай цветоаномалии, вызванный каким-нибудь нервным потрясением или общим расстройством нервной системы, не имеющий наследственного происхождения? — про себя размышляла Катя — Но тут выяснилась еще одна особенность: больной Машков теперь не только путает цвета, он их уже не различает, вернее, он ясно видит лишь два цвета — черный и белый, а остальные — туманно. Трагедия живописца. Да, конечно, ужасная трагедия, бедный Володя...» Катя знала и любила его картины, в душе радовалась за него и в чем-то тихо укоряла себя. Но сейчас не об этом думы. Перед ней был необычный случай заболевания глаз. Нужно тщательное исследование, совершенно необходим консилиум крупнейших специалистов. Екатерина Федоровна пообещала все это сделать сама. Когда Лидия Константиновна вышла, она положила свою маленькую беспокойную руку на его плечо и сказала искренне и трогательно:

— Я обещаю тебе, Володя, сделать все возможное, чтобы ты смог видеть, как раньше. Я давно мечтала — пусть это тебе не покажется странным — сделать для тебя что-то очень хорошее в память о самой лучшей, самой счастливой поре в моей жизни. Ты помнишь наш выпускной вечер? Ты тогда в суриковском учился. Этого никогда не забыть. — Катя не умела притворяться, Владимир это знал и крепко пожал ей руку и, глядя в ее влажные, но как и в юности, серые, искристые и улыбчивые глаза, в которых уже не было прежней манящей таинственности, сказал негромко и проникновенно:

— Спасибо, Катюша, спасибо, друг.

Друзья навещали больного. Первыми пришли Павел Окунев и Карен Вартанян. Они были настроены слишком оптимистично — сговорились между собой не вести никаких неприятных разговоров. Рассказывали смешные и веселые анекдоты, были и небылицы. Уверяли, что главный эпизод скоро пройдет, что такое со многими случалось и что Володя в крайнем случае может заниматься графикой

В Московском союзе художников проходило общее

собрание, посвященное выборам делегатов на съезд. На дворе морозило, люди заходили в зал розоволицые, довольно потирали руки, здоровались друг с другом

Вокруг Бориса Юлина то и дело собирались группы художников.

Карен Вартанян увидел Петра Еременку и рассказал ему о несчастье с Машковым. Не преминул Карен рассказать и об истории с Алексеем Щербаковым, которого так грубо и цинично обворовала Вика Гомельская, с которой Еременко однажды встречался у Осипа Давыдовича. Все это произвело на Петра тягостное впечатление. Он намеревался было сейчас же взять такси и уехать к Владимиру. Карен удержал его:

— Зачем спешить? Съездишь после собрания, расскажешь, как оно прошло, кого выбрали на съезд.

Еременко согласился. Пока они разговаривали, стоя в проходе, большинство мест было занято, и им пришлось устраиваться каждому в отдельности. Впрочем, для Карена придержал место Павел Окунев.

Председательское место за столом президиума занял Осип Давыдович. Всматриваясь в зал острым ястребиным глазом, он сразу и точно оценил настроение собрания. Все шло так, как и было задумано и подготовлено. Сначала выдвигали кандидатов: первым — Барселонского, вторым — Пчелкина, затем — Иванова-Петренку, Юлина и т. д. Выдвинули кандидатуру Машкова, Вартаняна, Еременки, Окунева, Камышева. Потом «подвели черту» и стали обсуждать, кого оставить в списке для тайного голосования, а кого отвести. Председательствующий читал:

— Лев Михайлович Барселонский!

— Оставить! — горланило сразу несколько глоток под аплодисменты.

— Николай Николаевич Пчелкин!

— Оставить! — кричали те же, но без аплодисментов.

Наконец дошла очередь до Камышева Михаила Герасимовича. По залу прокатился говорок, потом кто-то крикнул:

— Даю отвод! — Поднялся черноголовый человек с покрашенной тушью лысиной и, поднявшись на трибуну, продолжал: — Камышев — основоположник лжереа-



лизм, служитель культа, один из зачинателей парадного искусства. Он не может представлять на съезде настоящих художников По этим мотивам я даю ему отвод

— Это безобразие! Камышев один из зачинателей социалистического реализма! — как-то невольно вскричал Еременко. Подавленный болезнью Владимира, он утратил выдержку и ощущение окружающей его атмосферы Многие повернули в его сторону осуждающие, недовольные лица, а чей-то надтреснутый бас прогорланил:

— Голосуй, чего там рассуждать!

Именно этого клича, точно сигнала, и ожидал Осип Давыдович. Он был уверен в голосовании. И действительно, организованное им надежное «большинство» проголосовало против Камышева.

Назвали имя Владимира Машкова. Слово взял Семен Винокуров Он вышел на трибуну уверенно и не спеша, учтиво покашлял в кулак, заискивающе улыбнулся в зал тонкими губами и сказал, без надобности растягивая слова:

— Я предлагаю не включать в список Машкова. И вот почему. Мы знаем этого художника как одного из типичных представителей натурализма, того самого направления, которое загубило наше искусство, свело его до уровня цветной фотографии. Притом Машков — воинственный натуралист. Все помнят его выступления против настоящих мастеров кисти...

И зал загудел:

— Голосуй!

И Машкова «прокатили».

— Следующий — Еременко Петр Александрович, — отчетливо произнес Иванов-Петренко

— Адвокат Камышева! — крикнули из зала.

Осип Давыдович постучал по столу.

— Минуточку внимания. Слово даю товарищу Юлину.

Борис, не выходя на трибуну — он был в президиуме, — мрачно посмотрел в зал, сделал долгую паузу и затем заговорил с неестественным бесстрашием:

— В правление МОСХа поступило заявление на художника Еременку, где ему предъявляются серьезные обвинения в морально-бытовом смысле. Правда, мы еще

не успели проверить факты, изложенные в заявлении, но у нас нет оснований не верить заявителю. Поэтому я предлагаю воздержаться от включения Еременки в список для тайного голосования.

— Погодите, это же несправедливо, так нельзя,— начал было Карен, но голос его утонул в шуме, покрываемом все тем же басом:

— Голосуй!

Дольше Еременко не мог оставаться в зале. Под шум и гиканье он, как слепой, пробирался к выходу. Рядом вдогонку ему кто-то злорадно шипел:

— Вот оно, торжество подлинной демократии!

Эта фраза и визжащий со злобным надрывом голос еще долго преследовали Петра и на улице. В зале он как-то уж очень явственно увидел машину Иванова-Петренки в действии. Мысли его лихорадочно кружились. «Вот остановить сейчас прохожих, рассказать, что творится в том зале, и мне не поверят, скажут — я пьян».

С этими мыслями Еременко пришел к Машкову. Он сел на стул возле тахты, на которой полулежал Владимир, и взволнованно стал рассказывать ему о собрании художников, глумлении эстетов и формалистов над Камышевым и его молодыми последователями. Слушая друга и молча сдерживая боль, вызванную его рассказом, Владимир держал перед собой лист картона и углем рисовал портрет возбужденного Еременки. Машков хотел не столько убедить Петра и Люсю, сколько самого себя, что он как художник еще не погиб, что если болезнь его глаз окажется неизлечимой и ему придется распрощаться с любимой живописью, он все равно будет рисовать, заниматься графикой, останется в строю.

Портрет давался не сразу, и все потому, что Петр был сегодня каким-то другим, в его чертах появилось нечто новое. Слабо очерченная линия бровей стала спокойной, взгляд опечаленных глаз обострился, ожесточился, и вместе с тем глаза его излучали ясный ум. Владимир пытался прочитать в его глазах затаенные думы, сопоставлял свои наблюдения с теми словами, которые Еременко, стараясь не волновать больного друга, произносил ровным спокойным голосом, полным затаенной горечи.

— Как видишь, Володя, съезд художников будет

проходить без лучших художников. Не о нас с тобой речь. Я о таких, как Михаил Герасимович. А борьба с Барселонским, как я убедился, бессмысленна, это донкихотство, как говорят наши противники. Тебя они доканали, теперь за мной очередь. Работать не дают, а время идет, здоровье тает. Стенку головой не прошибешь. Ты что головой трясешь, не согласен со мной?

— Нет! — ответил Владимир. — Нет и нет. Барселонские не имеют почвы в народе

— А им плевать на эту почву. Они укоренились не своими, а чужими корнями. Барселонский сумел породниться не только с Пчелкиным, но и с Варяговым, и кое с кем повыше. А это уже сила! Они, эти поклонники и покровители Барселонского, в обиду его не дадут, поверь мне, никогда не дадут.

— Покровители невечны, да народ бессмертен, — сказал Владимир. — Народ, партия поддержат нас, а не барселонских

Машков изучающе и тревожно глядел на Еременку, ловил его странный взгляд, то нежный, то гневный, то полурастерянный. Владимир, как художник, запечатлевал эти резкие перемены в психологическом облике друга, и рисунок получался очень живым, глубоким.

Петр открыл книгу на заложенной линейкой странице, прочитал вслух кем-то подчеркнутую фразу. «...без веры, без глубокой и сильной веры не стоит жить — гадко жить» Еременко поднял удивленные глаза сначала на Владимира, затем на Люсю и сказал, точно чему-то обрадовавшись:

— Ух, как здорово сказано! — Но тут же, потушив огонь в глазах, грустно признался: — А у меня уже нет веры, этой самой глубокой и сильной. Честное слово, иссякла вся до капельки. Потому как никакого просвета не вижу

— Ну что ты, Петя, вздор какой говоришь, — перебила Люся — Крикунов каких-то испугался. Никогда не надо воспринимать жизнь трагически

Он взглянул на нее с горьким укором

— Нет, Люся, не то. Я никого не испугался. Обидно, что среди крикунов есть и честные художники, не очень одаренные, не классики, но порядочные люди. Они-то понимают, что такое Барселонский и Юлин. Так почему же они дали себя обмануть?

— Видишь ли, — заговорил задумчиво Владимир, — были у нас в годы культа личности и ненормальности, которые раздражали художников, в том числе и тебя и меня. Конъюнктурщики, спекулянты на актуальной теме занимали монопольное положение в искусстве, превращались в хапуг, напускали на себя барство. Я, конечно, против уравниловки, но чего греха таить, были среди этих привилегированных служителей культа и посредственные, а то и просто бездарные люди. Вот это-то больше всего и возмущало честных художников. А Барселонский с Юлиным подливают масло в огонь, хотя для себя пользу извлечь.

Машков передохнул и продолжал с неожиданной силой:

— Но ведь не надо забывать, Петр, кому на руку этот огонь, раздуваемый поджигателями. Надо же думать о судьбе народа. Это главное, это превыше всего. Барселонскому-то наплевать на нашу страну — у него там родина, где деньги. А нам с тобой и всем честным художникам, даже тем, которые сегодня послушно голосуют вслед за Юлиным и Пчелкиным, хотя и знают им подлинную цену, надо, в первую очередь, думать о судьбах своей страны, Советской России...

На бледном лице больного заметнее стали морщинки — следы душевной усталости. Она чувствовалась и в напряженных, проникнутых мыслями словах, которыми он подбадривал друга, в каждом звуке его тихого голоса, но он скрывал и усталость, и личную драму, скрывал ради ободрения друга и соратника и призывал его:

— Надо бороться, Петр. Я уверен, что обстановка изменится к лучшему, и тогда мы напомним ревизионистам о советском патриотизме.

— Но Барселонский останется прежним. Он только маску сменит и на словах станет горячим советским патриотом, — усмехнулся Еременко. — Ведь слова для Барселонского — пустые и очень удобные звуки.

Машков был озабочен: что это с Петей? В душе у него что-то недоброе. Владимир думал и соображал, чем же еще развлечь тягостные мысли друга, разогнать серые тучи с его души. А в Пете вдруг пробудились безудержные чувства, он делался необыкновенно нежен

к друзьям, брал Люсину руку, белую, с голубыми жилками, и просил умоляюще:

— Береги Володю, он у тебя очень хороший.

— Я это знаю, Петя, — тихо улыбнулась Люся, удивленная такой резкой переменой в настроении Еременки. — Ты какой-то странный сегодня. Расстроился очень? Не надо, Петюша, все близко к сердцу принимать, видишь, чем это кончается, — показала она глазами на мужа.

— Вижу, — ответил Еременко, думая о чем-то другом. Это было какое-то цепенеющее раздумье. — Ничего, все утрясется со временем. А мне отдохнуть надо. Зверски устал. Планы, мечты, все разрушено. Хочется уехать куда-нибудь в деревню, где нет Осипа Давыдовича и его подголосков. В такое бы место, где кругом только родная земля, цветы, поляны, луга и небо с облаками. Я так и не научился хорошо облака писать. А Володька может, он мастер, он все может. Представьте, облака журавлиные плывут, плывут без конца. Как на картине Рылова «В голубом просторе». Только не над морем плывут, а над лугом, где девический смех звенит и пахнет свежим сеном — дыши не надышишься.

Люся встряхнула седеющими кудрями, сказала бойко:

— Хватит хандрить! Почему бы вам не поехать сейчас за город, на лыжах не походить? Мороз, снег, в поле белым — бело.

— Нет, не бело. Сейчас в лесу зимняя сказка, — мечтательно возразил Петя, — сказка, сотканная из тонких красок, оттенков и переливов: одни исчезают, другие на их месте вспыхивают. Идешь, бывало, по лыжне, а лес будто в кружевах хрустальных стоит, очарованный собственной красотой, такой удивительно свежий и ясный. Каждый кусточек, каждое деревце в свой наряд убрано. Калина-то на весеннюю яблоню похожа, стоит как в цвету. Тишина совсем не лесная, не настороженная, а благодатная, как в сказке.

Никогда прежде так не говорил Еременко о природе. В душе восторгался, а вслух никогда.

Владимир закончил рисунок и не удержался — показал Люсе и Петру. Те были удивлены.

— Необыкновенно, — совершенно искренне и как-то

очень естественно обронила Люся. — Это лучший из твоих рисунков.

Еременко долго глядел на свой портрет, точно это был кто-то другой, смотрел строго, без улыбки, как беспристрастный-судья. И потом заключил:

— Ты все понял, Володя, все прочитал. Дай напишу.

Взял из рук Владимира картон, написал внизу у самого обреза лицевой стороны: «Дорогим и, пожалуй, единственным моим друзьям — Володе и Люсе Машковым. Роллан, наверное, был прав, когда говорил, что «жизнь — это то, что происходит внутри нас». К раскрытию этой жизни всегда стремились лучшие художники всех времен и народов. П. Еременко».

Люся вставила портрет в обрамленную золотом паспарту, повесила на стене рядом с фотографией Владимира.

Петя заметил между прочим:

— Золото надо бы закрасить жженой костью, оно здесь ни к чему. — Затем поднялся, не глядя на часы, сказал: — Мне пора. Поправляйся, выздоравливай. Дай я тебя поцелую. — Обнял Владимира и поцеловал сухими губами, потом и Люсю, смущаясь, робко и неумело поцеловал в лоб. И ушел. Слышно было, как в тишине хлопнула за ним входная дверь, и в тот же миг Владимир почувствовал, как екнуло сердце его и затем заныло, а в голове засновали тревожные мысли, точно стрижи осенью, перед отлетом. Хотелось вернуть Петра, что-то сказать и посоветовать, о чем-то спросить.

Петр вышел на Рязанскую улицу и остановился, точно соображая, куда ему повернуть — направо или налево. Роковое, трагическое решение, которое зрело в нем уже не один день, а долго, постепенно, поколебалось в нем, после этой, казалось ему, прощальной, но теперь отнюдь не последней беседы с друзьями. Он вышел на привокзальную улицу, где всегда сутолочно и людно, глубоко вдохнул морозный воздух и зашагал домой, обдумывая письмо. Если и это не поможет, тогда... незачем жить

Дома Еременко побрился, подтянулся весь внешне и внутренне. Первые два слова сами легли на бумагу:

«Дорогие товарищи!»

А дальше не знал, как продолжать. Слишком много

мыслей собралось в голове. Они сбились в толпу и все лезли вперед, мешая друг другу.

«У каждого народа, большого или малого, есть своя душа, свой национальный характер, как и у каждого человека. Искусству каждого народа присущи свои национальные черты, в которых и кроется его интернациональная сущность. Пушкин мог выйти только из русского народа, так же как Тарас Шевченко — из украинского; Адам Мицкевич не мог быть китайцем, а Лу Синь — англичанином, Тагор не мог быть немцем, а Шекспир — японцем. Нас пленяют и очаровывают индийские мотивы и в литературе, в музыке, и в живописи. Но попробуйте их «офранцузить» или «онемечить» — и исчезнет самое главное — душа данного народа. Разговоры космополитов об «общечеловеческом» едином искусстве — не просто чепуха, это попытка унифицировать, убить искусство. Барселонские пытаются собственноручно «делать» искусство для всех народов. Они думают, что в состоянии выразить душу любого народа, и занимаются подделками. Иногда эти подделки, выхваляемые критикой и Варяговым, бывают более или менее удачными и вводят в заблуждение легковерных. Но народ не пользуется этими фальшивками и выбрасывает их на мусорную свалку.

Мы любим индийские песни и фильмы, мы видим в них индийский народ, его душу, его нравы и быт. Но мы не станем петь свои песни на индийский лад, не станем делать свои фильмы по-индийски. Хотя.. хотя о наших фильмах лучше молчать. Некоторые кинокартины, поставленные в Москве, Алма-Ате, Минске, Киеве и в столицах других наших союзных республик, часто ничем друг от друга не отличаются, так как делают их одни и те же люди.

Мы не навязываем своих форм культуры никакому народу. Мы за культуру национальную по форме и социалистическую по содержанию. Как это глубоко и верно! Как справедливо и дальновидно! Национальные культуры обогащаются новым социалистическим содержанием, и расцвет их возможен только на национальной основе. Придет время, «когда народы распри позабыв, в великую семью соединятся» и, очевидно будут разговаривать на каком-то одном языке, но и в той будущей культуре навечно сохранятся национальные оттенки...»

Строки торопливо ложились на бумагу, еле успевая за скачущими галопом мыслями. Он приводил факты и примеры (не забыл и Алексея Щербакова), называл имена халтурщиков и дельцов, разоблачал их приемы и махинации.

«Не позволяйте всяким проходимцам плевать в душу нашего народа». Этими словами Еременко закончил свое письмо. Запечатал в большой белый конверт и написал адрес: «В ЦК КПСС».

Он уже не чувствовал себя надломленным и одиноким

В усталой и вялой памяти вереницей понеслись воспоминания о недолгой и трудной жизни, обо всем прожитом за сорок лет: детские годы беспризорного, голодного скитания по грязным, неуютным вокзалам, казалось, уже позабытые, теперь встали и приблизились так, что их можно было разглядеть, как свои руки. И суровые картины великой войны. Эти картины висели на стенах его комнаты. Они писаны кровью его сердца, и теперь, когда он окинул их взглядом, ему почудилось, что изображенные на полотнах, опаленные в боях солдаты зашевелились и повернули на него свои взгляды, полные укора...

Еременко вздрогнул: в парадном звонили. Кто бы это мог быть?

— Отворяйте, не заперто! — раздраженно крикнул он.

В прихожей послышались мягкие, скользящие шаги, потом слабый шорох: кто-то раздевался.

Еременко ждал. Он как сидел на стуле, так и продолжал сидеть, точно прикованный, повернувшись вполупорот к двери. «Кто же, кто? Кому еще я понадобился?» Наконец дверь осторожно отворилась, и в комнату вкатился Николай Николаевич Пчелкин.

Еще не поздоровавшись, он оценивающе осмотрел стены, увешанные картинами и этюдами, бросил критический взгляд на дешевую люстру и уж после этого, приняв внушительную осанку, сказал, протягивая руку:

— Неуютно, дорогой, живешь, нескладно. Так нельзя.

— Хорошо, больше не буду, — серьезно сказал Еременко.



Неожиданный визит Пчелкина разжег в нем любопытство. «Зачем пришел?»

— Необщительный ты человек, замкнутый, — снова заговорил Пчелкин после паузы. — Зачем людей чужаешься? Чего тебе от друзей прятаться?

«Гляди-ка, — изумлялся Петр про себя, — в друзья напрашивается! К чему бы это?» Но молчал и ждал.

А Николай Николаевич молчать не умел, равно как и сидеть спокойно не мог. Волчком двигаясь по комнате, отдуваясь, он заговорил снова — теперь уже в полушутливом тоне:

— Жена тебя бросила, уехала... Жениться тебе надо. Женись, брат, пока не поздно.

— Невесты нет, — не в шутку ответил Еременко, продолжая следить за Пчелкиным

— Невесту найдем, — не замечая необычно-напряженного состояния Петра, подхватил Пчелкин в прежнем тоне. — Хочешь с композиторшей познакомлю? Викочка, исполнительница лирических песенок, руководитель Русского ансамбля. Обаятельна, черт возьми! Да ты ее знаешь! Помнишь, у Иванова-Петренки по любви тосковала? Кто бы тогда мог подумать, что она станет выгодной невестой! Миллионерша!

— Почему же она не женила на себе Алексея Щербакова?

— А он кто такой, этот Щербаков?

— Деревенский композитор, которго она обворовала.

— Не слышал. Должно быть, сплетня.

— Хотя, я понимаю ее: не хотела других обворованных обижать, за всех ведь замуж не выйдешь, — зло сказал Петр, не обращая внимания на слова Пчелкина.

Тот сообразил, что разговор начат неудачно, и поэтому решил «переменить пластинку»:

— Видишь, дорогой, что получается. Ты на выставке Камышева был? На собрании в МОСХе был? — И, не дождавшись ответа, продолжал: — Лед наконец тронулся. Помнишь, как вы меня с Машковым тогда? А разве неправ я был, когда писал об искренности художника? Теперь это всем ясно. Свобода творчества — первое условие успеха!

— А скажи, — перебил его Петр, — много за последние годы создали шедевров «свободные» художники на Западе?

— Не в том суть, совсем не в том, — затараторил Пчелкин. — Я говорю о свободе у нас. Что получилось? Ерунда получилась. Началась расплата за прошлое служение культу личности. Жестокая, не всегда разумная, но.. кое в чем и справедливая. Я против крайностей. Нехорошо, что многих крупных художников на съезд не избрали, да ведь что поделаешь, такова воля собрания. В искусстве, дорогой мой, нельзя командовать. Проголосовали — изволь подчиняться большинству.

Петр неотступно следил за его взглядом, читая в нем больше, чем в словах, которыми Пчелкин щедро сорил. Впиваясь подозрительным взглядом в смеющиеся глаза Пчелкина, Еременко хотел понять одно: зачем тот пожаловал, чего домогается?

— Какому большинству? — спросил Петр сквозь зубы и, устремив на Пчелкина безумный взгляд, поднялся, напряженный, нацелившийся. Руки его сжались в кулаки и медленно разжались.

Пчелкин взглянул на него и напугался, оторопело попятился к дивану. Еременко наступал, тяжело дыша.

— Петя, Петя, что с тобой, опомнись! — забормотал Пчелкин. — Выпей воды.

— Ах ты, душонка продажная! Вон, мерзавец! Убейся, подлая тварь! — И, должно быть, не отдавая себе отчета в поступках, схватил Пчелкина за воротник пиджака и, сильно встряхнув, вышвырнул его за дверь.

— Нет! — закричал он в открытую дверь. — Нет, ничего у вас не выйдет! Черта с два! Мы еще поборемся! Нас много! Я на войне пуль не боялся, а тут... а вас... В ярости он бросился на тахту.

— Идиот! Трус! Дезертир! — это уже он ругал себя. — Кого напугался! Тли напугался! Размазня! Да ты не использовал и сотой доли своих возможностей!

Порывистым движением он схватил со стола заготовленный пакет и опрометью выбежал из комнаты, забыв закрыть за собой дверь.

Весной московские художники организовали в один из воскресных дней коллективный выезд за город на пикник. Готовилось это, по замыслу Варягова, Барселонского и Пчелкина, в целях консолидации художников различных творческих направлений и настроений.

День выдался чудесным. Недалеко от Сенежского озера образовался целый табор из «Волг», «Побед», «Москвичей» и одного автобуса. Центром табора был «автобуфет»: организаторы пикника позаботились не только о духовной пище для художников

И вдруг кто-то из опоздавших привез сенсационную новость:

— Вы слышали? — таинственно и тревожно спрашивал Винокуров Бориса Юлина и Осипа Давыдовича. — Варягова сняли.

— Ф-и-у, — просвистал Борис. Лицо его сделалось озадаченным. В глазах вдруг сверкнул луч слабой надежды — А может, с повышением?

— С повышением не снимают, — вставил Осип Давыдович. — А кто же будет вместо него?

Семен Семенович пожал плечами.

Об этой новости среди друзей Осипа Давыдовича говорили как о несчастье и грозном предзнаменовании. Кто-то из них доверительно сообщил Пчелкину, а тот — уже Владимиру Машкову, но другим, почти веселым тоном:

— Слыхал? Варягова выставили.

И уже тихим, вкрадчивым, но боязливым голосом заговорил:

— Кто-то из вашего брата — уж не Еременко ли? — такое письмо настрочил в ЦК, что там заговорили о нем.

Люсю компания Юлина и Иванова-Петренки подчеркнуто игнорировала. С ней не здоровались, ее просто не замечали. В их глазах она была предателем.

— Не обращай на них внимания, — советовал Люсе Владимир. — Что они для тебя?

Люся виновато улыбнулась.

— Несостоявшиеся родственники... — И предложила. — А не лучше ли нам куда-нибудь уйти?

Это было то, что хотел предложить Владимир. Но обоюдному желанию не суждено было осуществиться. В полдень подул западный ветер. Сначала потемнел горизонт, затем выползла огромная синяя туча. Она все росла и росла и двигалась на восток с угрожающей быстротой. Засверкали молнии, раскатисто загрохотал гром. Надвигалась гроза. Вот-вот хлынет ливень.

Недалеко от необычного табора художников на поле

виднелись зеленые валы клевера, скошенного на подкормку скоту. Приближение грозы вызвало беспокойство среди колхозников. Все, от мала до велика, бросились на луг складывать клевер в копны. Художники стали группироваться вокруг своих машин и автобуса. Буфетчицы поспешно свертывали свое хозяйство.

В это время от колхозников прибежала молоденькая запыхавшаяся девушка. Смущаясь, она спросила:

— Кто тут старший?

Пчелкин вышел вперед:

— В чем дело?

— Ливень будет, а у нас — клевер. Видите? Мы просим вас помочь нам копнить, — скороговоркой выпалила девушка.

— Пошли, товарищи, — вдруг сказала Таня Окунева и первая двинулась на клеверище. За ней пошли Павел, Петр Еременко, Владимир с Люсей и еще несколько художников. Люся растерянно шептала Владимиру:

— А что мы там должны делать? Я же не умею, мне никогда не приходилось.

— Ничего, научишься, — дружески успокоил он.

Пчелкин, осмотрел полководческим взглядом весь табор, спросил, обращаясь к художникам:

— Ну как, товарищи, поможем сельскому хозяйству?

Борис Юлин сказал без тени стыда.

— Сами справятся. Подумаешь, велика беда — сено намочит! Мы же художники, а не колхозники! — И решительно пошел к своей машине, сел за руль и включил мотор. За ним последовали Барселонский с молодой женой, Иванов-Петренко с дочерью и зятем, Винокуров с племянником и еще с десяток человек.

Пчелкин растерянно стоял среди блестящих машин, которые, казалось, смотрели на него ветровыми стеклами и фарами насмешливо, с издевкой, и говорил уныло:

— Так как, товарищи? Нехорошо получается: одни пошли туда, другие — сюда ..

— Оставьте это, Николай Николаевич! — крикнул ему из машины Осип Давыдович — Лучше идите-ка к нам в машину, пока не поздно

Пчелкин стоял в нерешительности. Первой рванулась машина Юлина, за ней — Барселонского, потом — Иванова-Петренки и Винокурова. Пчелкин остался один. Но скоро он сообразил, что оставаться одному неудоб-

но, и медленно-медленно, чтобы поспеть к «шапочному разбору», побрел на клеверище, где кипела работа. На полпути его застал дождь. Николай Николаевич растерянно оглянулся: бежать до автобуса далеко, все равно вымокнешь до нитки... И тут его взгляд наткнулся на могучий дуб, стоявший в какой-нибудь сотне метров. Дуб с его мощной кроной показался единственным спасением от ливня, и Пчелкин кинулся к нему. Поливаемый дождем, он бежал изо всех сил, так резво, как не бегал, наверное, и в детстве.

И в тот момент, когда он очутился под кроной, перед его лицом сверкнула ослепительная молния и что-то страшно ухнуло и сбило Николая Николаевича с ног. Он упал лицом на мокрую землю и в то же мгновение получил удар пониже спины. Объятый ужасом, он долго лежал с закрытыми глазами и ждал смерти.

Колхозники вместе с художниками прятались от дождя под только что сложенными копнами клевера. Они видели, как молния ударила в дуб, отколов от него здоровенный сук, как упал Пчелкин и как его ударило большой щепкой. Владимир, Петр и Павел вскочили и бросились к дубу. Первым добежал Владимир. Пчелкин только что поднялся и стоял, растопырив руки, грязный, мертвенно бледный и ничего не соображающий. Вид у него был ошалелый, жалкий и отвратительный. Заикаясь, он стал объяснять:

— Вы понимаете, молния в спину как саданет, ну я и не удержался на ногах...

— Это тебя суком накрыло уже лежащего,— сдерживая смех, пояснил Владимир. Николай Николаевич, сообразив, что он остался цел и невредим, хорохористо ругнулся в сторону своих друзей, умчавшихся на машинах:

— Жалкие трусы!

— Жаль, их грозой не накрыло,— пожалел Владимир и вместе с Люсей направился к озеру, откуда шел весь измокший, но весьма довольный удачной работой Карен Вартанян

Владимир и Люся замедлили шаг. Люся приблизилась к мужу, взяла его руку и сказала очень просто, сердечно:

— Какой сегодня большой и славный день, Володя.

Посмотри кругом: уже чисто, ясно и дышать легко после весеннего грома.

— И нет ни Осипа Давыдовича, ни Пчелкина, ни «Ненастья», ни «Катастрофы», — подсказал он в тон, беспечно улыбаясь. Потом нахмурился, заговорил сурово и озабоченно.

— К сожалению, все это иллюзии. А на самом деле гроза их миновала. Пчелкин же поменяет штаны и будет выдавать себя за героя дня, а Семен Винокуров поможет ему, прославит на весь Союз. И Осип Давыдович, наверное, уже где-то в Москве расписывает, как они спасли колхозный клевер, так сказать, общались с народом, непосредственно погружаясь в гущу жизни.

Люся не сдержала улыбки, то ли вспомнив Пчелкина под дубом, то ли представив себе Винокурова, призывающего художников «консолидироваться, стать ближе к жизни, к народу».

Они поднимались на зеленый бугор, усыпанный алмазами дождевых капель. Алмазы играли и переливались на солнце; от земли поднимался и таял, сверкая в лучах, теплый пар; густые запахи пьянили и возбуждали. А кругом лежал зеленовато-синий простор перелесков, лесов и полей, и чем выше поднимались они на бугор, тем шире открывала земля подмосковная свои неоглядные дали. Владимир придержал Люсю за руку, остановил.

— погоди, Люсенька. Давай постоим. Ух, какая ширь и благодать после весеннего грома! Вот это надо написать.

## Эпилог

Без искусства и вне искусства мы не достигнем красоты и величия наших идей.

*В. И. Ленин*

Шли годы. Много изменилось в жизни наших героев. Постарел Лев Барселонский. Отяжелел Пчелкин, обзавелся рыхлым животом, солидным баском, внушительной лысиной и почетными званиями народного художника и академика живописи. Членом-корреспондентом и влиятельным человеком в Союзе художников стал Борис Юлин. Не узнать его теперь — могучего, широкоплечего, самоуверенного деятеля, знающего себе цену, — и еще труднее узнать его палитру. С нее исчезли яркие мажорные краски, остались темно-синие тона и грязно-серые полутона. Ими он пишет мрачные грубые лица своих современников, пишет небрежно, не заботясь о рисунке, пишет так, чтобы хоть чем-нибудь походить на своих западных коллег. Короче говоря, он из всех сил старается идти в ногу с веком, создавая «новый стиль». У него теперь есть ученики и последователи среди молодых, которые в смысле «новаторства» уже переплюнули своего учителя, в совершенстве овладев нехитрыми приемами модернистов и абстракционистов. Для них уже и Лев Барселонский — старомодный реалист. Правда, на всесоюзные и иные выставки их пока еще не пускают — не все сразу, — пока что им приходится устраивать выставки своих «шедевров» на квартире Вики Гомельской и Ефима Яковлева, которые наконец-то соединились в законном браке. Об этих выставках ничего не пишут в советской прессе, но это не беда: зато о них шумит западная буржуазная печать.

А как живут Машков, Еременко, Окунев, Вартанян? Да все так же. Много разъезжают по стране, по селам, заводам и стройкам. Пишут в старой манере, которая не приносит им ни шумной славы, ни денег. Но они, упрямы, остаются верными самим себе и своим зрителям — миллионам простых смертных тружеников, которые еще

не научились понимать «новое» искусство. Но ничего, это вопрос времени. Винокуров и Иванов-Петренко их научат и воспитают. Они уже выпустили по несколько книг о современном западном искусстве, о новых тенденциях в советской живописи. В том числе их перу принадлежат довольно солидные монографии о жизни и творчестве Барселонского, Пчелкина, Бориса Юлина и даже Геннадия Репина. Впрочем, «Нашиздат», которым командует тесть Пчелкина, выпустил в свет три тома мемуаров Льва Барселонского, том теоретических исследований Н. Н. Пчелкина, книгу зарубежных впечатлений Бориса Юлина. И по-прежнему существует «салон» Осипа Давыдовича. Его обитатели много разъезжали по заграницам, пропагандировали там советское искусство (Пчелкин — Барселонского, Барселонский — Юлина, Юлин — Г. Репина). А из-за рубежа как подарки привозили теории мирного сосуществования в идеологии, конфликта отцов и детей.

А Линочка, милая, очаровательная жена Пчелкина? Где она и что с ней? Полный порядок, как и у ее родителей в «Нашиздате». Она не стала ни писателем, ни композитором, ни руководителем ансамбля терских казаков. Она не сделалась даже искусствоведкой и критикессой. Она навечно осталась в прежней должности — любимой и обожаемой супруги Николая Николаевича и матери его наследников. Правда, годы сделали дело свое, наложив безжалостно отпечаток и на лицо и на талию бывшей московской красавицы. Но это не имеет никакого значения, ибо для Николая Николаевича нет женщины, кроме Лины, а он — ее верный слуга. Почти как в Коране нет бога, кроме Аллаха, а Магомед — его пророк.

Вот, кажется, и все.

Да, а ведь мы забыли старика Камышева, милого, умного Михаила Герасимовича, одно имя которого вызывало ураган ненависти в «салоне» Осипа Давыдовича, художника, о котором буржуазная пресса не может говорить без раздражения.

Что ж, старик сдал. Не сдался, нет — просто сдал. Не дымит уже трубка его — бросил курить. Некогда пышную черную шевелюру густо посеребрил иней времени, а лицо покрылось вдоль и поперек несметным числом морщинок, стало каким-то сухоньким, мелким, на



нем прочно поселились усталость и тоска. Плохо видят глаза, поблекли, затуманились, затаили в себе холодные блески скептицизма и душевной боли. Походка стада нетвердой, подкашиваются ноги, и в руках появилась предательская дрожь. Мягче и тише стал голос.

Старость — не радость, и никуда от нее ты не спрячешься, разве что преждевременно оставишь этот мир. Но Камышев не спешил уходить туда, откуда еще никто не возвращался, кроме, конечно, Теркина. Хотя сведущие люди говорят, что на том свете был совсем не тот Василий Теркин, а его однофамилец. Но это к делу не относится: Камышев, как и настоящий Теркин, был неисправимый жизнелюб. Долго и успешно прятался от старости, обводил ее вокруг пальца этот хитрый русский мужик. Приходила она к нему в шестьдесят пять лет — в первый раз. Не пустил, даже разговаривать не стал. Постояла у калитки, потопталась и ушла. С досады увела с собой молоденьких натурщиц. Художник хорохорился: подумаешь, счастье какое! Не видал, что ли? Как будто без них жить нельзя!

После этого целых пять лет не беспокоила старость, в семьдесят лет снова явилась. Поздним августовским вечером под окошко пришла. Видит, полон дом гостей. Веселыми голосами песни орут. И его, Камышева, голос слышнее всех. Не подпевалой, а запевалой служит в этом могучем хоре — вот ведь в чем штука-то! «Вниз по матушке по Волге». Да как пойдет-пойдет, да под самого Федора Ивановича Шаляпина. Эх, черт! Да так, что люстра под потолком качается и лампочки подмигивают друг дружке: то ли от восторга, то ли из боязни погаснуть.

Постояла, послушала. Голос-то какой, любо-дорого! Нет, думает, пусть еще попоет. И снова на пять лет скрылась. А потом пришла как-то ночью. А он не спит — занемог. Сердце жмет, и воздуха не хватает. Хворь откуда-то свалилась. Увидал он непрошенную гостью, спросил страдальчески: «Ну, что тебе от меня надо?.. Отвяжись. Некогда мне и не время: вишь, картина стоит незаконченная. Двадцать пять лет над ней тружусь. Вот закончу, тогда приходи, поговорим».

И действительно, большая картина, уже в раму дубовую втиснутая, стоит на мольберте, стоит в мастерской тут же перед занедужившим художником и не во-

время явившейся старостью. А на картине — раненый Ленин и Дзержинский.

Старость — она ведь не смерть, она старуха добрая и терпеливая: смотрит на художника снисходительно, даже доброжелательно (не в пример критикам типа Иванова-Петренки и Винокурова), скрестив жилистые руки на груди, и тихо добродушно улыбается, а глаза будто спрашивают: «Сам-то ты бодрисься потому, что душа у тебя молодая, ну, а сердце? Болит ведь?» Понял Михаил Герасимович бессловесный вопрос ее, осерчал: «Опять ты свое заладила, ну, сказал же тебе, и будя! Кто лучше знает мое сердце — ты или я?» Встал, подошел к шкафчику, достал бутылку армянского коньяку три звездочки, налил граммов пятьдесят, не больше, выпил. Легче стало, отпустило. На сон только потянуло. Значит, к лучшему. Проснулся в полдень и как ни в чем не бывало — за работу.

Картину закончил в тот же год. Трудно досталась она ему, долго вынашивал. Разные варианты строил. Несколько эскизов лежат на стеллажах, каждый сам по себе интересен. На одном — Каплан стреляет в Ленина, на другом — Дзержинский допрашивает Каплан. Остановился на третьем — Дзержинский у раненого Ленина. Закончил, а тут как раз юбилейная выставка московских художников подоспела. Он ее туда предложил. И вдруг — не приняли, отклонили на выставке. Старик опешил. Всякое за свою жизнь видывал. Но такого... Друзья успокаивали: стоит ли удивляться. Иванов-Петренко вместе с Юлиным формируют выставку, предпочтение отдают «новому стилю» и старым формалистическим «модернягам». Многим реалистам не повезло и даже уже покойным классикам: Грекову, Сварогу, Савицкому. Когда назвали эти имена, Камышев еще больше расстроился. И однажды, схватившись за сердце, упал у себя в мастерской.

Инфаркт. К счастью, не очень глубокий. Через два месяца Камышева привезли из больницы. Врачи разрешили ходить по дому, читать и даже немного работать. Вот на этот раз пришла к нему старость уже навсегда.

Хочешь не хочешь, а приходится терпеть: не теща — не выгонишь, не жена — не уйдешь. И вот сидит теперь Михаил Герасимович в своей мастерской в старом кресле, то ли полудремлет, то ли думу невеселую думает.

А за большим окном декабрьский вечер сгущает синеву. В мастерской сумрачно и тоскливо. Надо бы свет зажечь, да лень подниматься. А думать в полутьме, пожалуй, лучше. И он думает. Все о том же. «Не приняли картину на выставку: мол, без Камышева обойдемся, «новый стиль» теперь. Говорят, формалистическую мазню Фалька и Штернберга из подвалов вытащили и шумят оголтело: вот, мол, подлинные шедевры. Что ж, теперь очередь за отцами абстракционизма Кандинским и Малевичем. И тогда все, полный порядок. Чем не Франция?..»

— Нет, не бывать такому, не бывать! — уверенно решает Камышев.

Входит дочь.

— Ты не спишь, папа?

— Нет, зажги свет.

Пятисотсвечовая лампа ярко освещает две картины: Дзержинского с Лениным и другую, давнишнюю, которая «Русский дух» называется. Вся какая-то чистая, целомудренная, пышущая молодостью и здоровьем. Зима, иней на березах, синий снег. Угол русской деревенской бани. Из оконца голубой пар курится. А на снегу балуются только что выскочившие из парной разгоряченные девушки. Залихватская удаль, озорство, молодость и сила, могучий дух русского человека!

Картину эту когда-то хотели купить у Камышева для Третьяковки — не отдал тогда, жалко было расставаться. Лет через десять сам предложил закупочной комиссии — не взяли. Ну, и черт с вами, пусть стоит в мастерской, есть она не просит. Придет время — возьмут.

Как-то перед самой болезнью наведаясь к нему посол одной западной державы: хотел заказать портрет своей дочери знаменитому художнику. Увидел картину «Русский дух», ахнул от удовольствия — больно понравилась. Пристал: продай, да и все. Пятьдесят тысяч долларов давал. Камышев улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Тогда называйте свою цену, — сказал посол. — Хоть в рублях, хоть в долларах. Могу и в швейцарский банк, как будет угодно».

— Дело не в цене. Просто моя картина не продается, — категорически отказал художник.

— Она может украсить наш национальный музей, — настаивал посол.

Но Михаил Герасимович смотрел сейчас не на эту картину, а на вторую, ту, которую не допустили на московскую выставку, и, наверно, в сотый раз спрашивал: почему? Как всегда собранный, рыцарь революции Феликс Дзержинский сидит в полупрофиль напротив Ильича и рассказывает, как готовилось это чудовищное преступление против человечества — выстрел Фанни Каплан, выстрел в самое сердце революции. Он сообщает Ильичу, что по первоначальному плану в него должен был стрелять профессиональный убийца, нанятый уголовник. Но не поднялась рука, отказался. Вторым был белогвардеец. Тоже не смог. У Каплан рука не дрогнула. Это была ядовитая змея, скользкая и зловонная, враг жизни, сеятель смерти.

Камышев смотрит на Ленина, Ленин — на Дзержинского, а может, на самого художника. Взгляд Ильича сосредоточенный, глубокий, пронизывающий толщу грядущих лет. Кажется, Ленин предвидит новые выстрелы — в Кирова, в Тельмана, в Патриса Лумумбу, и пули, отравленные ядом цинизма, лицемерия и ненависти к человеку. И предостерегает. будьте бдительны!

Что это? Как будто звонок в парадном? Или ему показалось? Пусть, там откроют.

И вот они врываются, не входят, а именно врываются в его мастерскую — художники, картины которых тоже не приняли на московскую выставку: Владимир Машков, Петр Еременко, Карен Вартамян и Павел Окунев. Вчетвером. Шумно, гулко, возбужденно и весело. И с ходу, не сказав даже «Здравствуйте», почти хором:

— Победа! .

— Победа, Михаил Герасимович!

— Полный разгром формалистов и абстракционистов!

А он поднялся, тоже подоженный, насторожился вопросительно

— Сейчас в Манеже выставку посетили руководители партии и правительства, — торопливо сообщил Карен.

— Ну и ? — Камышев ждет. А у тех весенние лица и глаза сияют радостью и восторгом.

— Досталось формалистам и абстракционистам... — сказал Машков.

— Но самое интересное, — заговорил весь багровый

Еременко,— что как-то по-новому, свежо прозвучали там слова Владимира Ильича о том, что искусство принадлежит народу, что оно должно быть понятно широким массам.

Лицо Камышева вдруг стало ясным, даже как будто морщинки исчезли. Предложил всем сесть и сам осторожно опустился в кресло. Заговорил уже спокойно и бодро: — А что Ленина в Манеже вспомнили — это отлично. Живет он, живет и партия его. И никому не позволит.. никаким растлителям... Нет, я верил, знал.

Наперебой ему рассказывали в деталях, что происходило сейчас в Манеже. Он слушал внимательно, широко раскрыв горящие глаза. И вдруг синие губы его дрогнули, глаза стали влажными. Не выдержал. Но это уже были слезы радости.

*Иван Михайлович Шевцов*

**Т Л Я**

Редактор Д. А. Смирнов

Художник К. А. Павлинов

Художественный редактор Э. А. Розен

Технический редактор Т. Ф. Клапцова

Корректоры Т. Б. Самойлова и В. Л. Данилова

Сдано в набор 11 II 64 г. Подписано к печати  
12 VI 64 г. Формат бум.  $84 \times 108^{1/32}$ . Физ печ л.  
9,0 Усл печ л. 15,12 Уч-изд л 15,26 Изд инд.  
ХЛ-718. А04029 Тираж 100 000 экз Цена 61 коп.  
в переплете. Дополнение к тем. плану 1964 г. № 31.

Издательство «Советская Россия», Москва, проезд  
Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома  
Государственного комитета Совета Министров  
РСФСР по печати.  
Г. Электросталь, ул Школьная, 25. Заказ № 100.

**К ЧИТАТЕЛЯМ!**

*Издательство просит отзывы об этой  
книге и пожелания присылать по ад-  
ресу Москва, проезд Сапунова, 13/15;  
издательство «Советская Россия»*

**Вышли в свет  
и поступили в продажу  
книги  
ИЗДАТЕЛЬСТВА  
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»**

**1. Фатуев Р. Кавказские повести и рассказы. 286 стр., цена 60 к.**

Повести и рассказы проникнуты дружбой между народами, товариществом и братством, воспевают нравственную красоту человеческого подвига.

**2. Воробьев К. У кого поселяются аисты. 382 стр., цена 77 коп.**

Увлекательные повести и рассказы о тревожных годах гражданской войны и начале коллективизации в нашей стране, о людях, сильных духом и влюбленных в жизнь.

Константин Воробьев дает галерею художественных образов с необычайной полнотой восприятия жизни и понимания того, что счастье само не приходит. Человек счастлив тогда, когда ищет, достигает своей цели, совершенствуется, когда его жизнь озарена мечтой.

**Книги продаются в магазинах Книготорга и потребительской кооперации, а также в киосках Союзпечати.**



## **ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»**

**В ближайшее время выйдет в свет и поступит в продажу новая книга Н. Бирюкова «Воды Нарына». 386 стр., цена 1 р. 05 к.**

Роман, посвященный подвигу советского народа, построившего в невиданно короткий срок Большой Ферганский канал. На строительстве этого канала соединились трудовые усилия трех народов — узбекского, таджикского и русского. Гигантская стройка стала великой школой коммунистического воспитания трудящихся. Через весь роман проходит образ обновленной земли, преобразуемой человеком.

**Книгу можно приобрести в магазинах Книготорга и в киосках Союзпечати.**

61 коп.



БЛ

ИВАН ШЕВЦОВ